

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Зрячий посох  
Виктор Петрович Астафьев

В основе повести «Зрячий посох» лежит переписка автора с известным критиком А. Н. Макаровым. Это произведение о времени и о себе, здесь нашли место заметки В. Астафьева о своем творчестве, о творчестве товарищей по перу.

Виктор Петрович Астафьев

Зрячий посох

Мокро, снежно было, когда я провожал в последний путь своего старшего друга, и все повторялась и повторялась в моей голове поговорка кафров, которые, прощаясь, говорят: «Отныне у каждого из нас будет одним другом меньше».

Я давно заметил, когда хоронят славного, доброго человека – испортится погода: метет, крутит – не то скорбит природа, не то она хочет, чтобы похороны были трудными, надолго запомнились бы и помаяли душу остающихся жить.

Мокро, снежно и сейчас, когда я в деревеньке Быковке начинаю писать о покойном друге, не решаясь поставить слово «воспоминания». Никогда и никаких воспоминаний я не писал, точнее, таких вот скорбных воспоминаний, когда надо ставить: «был», «жил», «говорил», потому как ни память, ни сердце не мирятся с утратой и кажется, что может произойти чудо – на заснеженной дороге появится моя маленькая жена с огромным рюкзаком на спине, принесет хлеба, почту, и, быстро перебрав письма, я найду конверт, на котором ученической ручкой будет написан полностью – обязательно полностью – обратный московский адрес, и в уголке конверта как-то застенчиво и скромно будет стоять знакомая фамилия. И я прочту письмо, обязательно большое, обязательно с юмором, обязательно теплое и умное, написанное бегучим и в то же время аккуратным, будто бы ученическим почерком..

Но дует ветер, хлещет мокрый снег – пришел циклон откуда-то с востока. Вчера и позавчера он дул с севера – никакие циклоны не минуют Урал, они, как беды, все вокруг него кружат, все по нему дуют и шарят, и весна никак не может наступить, а уж начало апреля.

Сию я в деревушке Быковке, на Урале, посредине России, в избушке, занесенной до застрехи, смотрю на дома с дымом. Безлюдье-то какое! Об этой деревушке, побывавши здесь, один знакомый поэт написал пронзительные строки:

Деревня Быковка. Россия.  
Двадцатого века печаль...

Сию я в этой деревне, где бывал накоротке мой друг, и так ему тут все поглянулось, что мечтал он приехать сюда еще раз и на больший срок, подышать тишиной, побродить по окрестным лесам, насладиться безлюдьем и поработать в уединении.

Не довелось ему еще раз побывать в моей сирой, забытой Богом и людьми деревушке. Не досмотрел, не доработал, не дожил, не отдохнул, отправился туда, где «нет ни снов, ни стонов, ни болезней, а жизнь бесконечна».

Как все-таки несправедливо устроена эта самая наша небесконечная жизнь. Сколько бесполезных, никому не нужных людей живет на свете, недоумков, хамов, убийц, воров, дармоедов, рвачей, а хорошего человека вот нашла смерть, измучила болезнью, иссушила в нем соки, истерзала страданием и убила. Неужто это по-божески? – святой должен страдать за грешных, и грешные, видя муки святого, должны терзаться и обретать его облик? Но что-то много страдают мученики и мало действуют их страдания на человеческий мусор. Он чем был, тем и остался...

С чего же и как все-таки начать?

Пожалуй, обычно – со знакомства. И не стану я бояться обыкновенных, простых слов. Ведь он был (был! – как все-таки нелепо это!) – обыкновенным и необыкновенно простым человеком. С этого и знакомство наше началось. Этим он и покорила меня, это и сдружило нас.

Я учился на Высших литературных курсах в Москве и однажды, выйдя на перерыв покурить, увидел среди оживленно и даже возбужденно беседующих курсантов с поэтического семинара очень смуглого, мягкогубого человека с пронизательными и живыми глазами. Он торопливо курил папироску и говорил одному из курсантов:

– Ну зачем это тебе? Зачем? Ты же не прокламацию пишешь, а стихи!

Поэт хмуро и упрямо что-то возражал. Смуглый человек дотянул папироску, поискал глазами урну, швырнул в нее окурки и, как-то разом опечалившись, сказал как бы уже сам себе, а не поэту, курившему табак с ним вместе:

– И вообще крики в литературе, битие себя в грудь и заверения в том, что ты вот любишь родину, но другие вроде бы уж и не любят ее и не умеют любить, свойственны больше нашим литвождям. Отвратительная черта! Ее не было ни в какой литературе, в прежней, в русской тем более. И вам не надо бы вовсе лезть в московскую кашу, время только и нервы потратите. Вам надобно учиться, во многом разобраться... Ну, пойдете в аудиторию, там продолжим. Звонок был. – Он как-то тепло и чуть виновато улыбнулся, дескать, вообще-то все это слова, слова...

– Кто это? – спросил я у одного из наших сокурсников.

– Макаров. Семинар поэтический ведет. Мировой мужик. Я с ним на одном совещании познакомился.

Не знаю, свела ли бы нас судьба с Александром Николаевичем Макаровым, не услышь я этого коридорного разговора. Я уже заканчивал курсы, успел осмотреться в Москве и обколотить с себя немножко периферийную штукатурку. Среди всего прочего успел я заметить и эту самую «отвратительную черту» в характере иных, как правило, бездарных московских писателей. Поглядишь, послушаешь иногo деятеля – парнишка как парнишка, стишата пишет так себе, книжки его шумны, броски, но нет в них еще никакого основания провозглашать себя витией. Ан нет, все повадки, вся осанка, весь напор в нем вождистские. А еще, узнавши, что перед ним провинциал, он и вообще начинает не говорить вещать, провозглашая: «Вы там сидите, а мы тут боремся...»

Я мог бы назвать десятки «провинциалов», на которых «борцы» сии подействовали и действуют самым наихудшим образом. Наслушается такой вот периферийшик «борцов» и тоже начинает рубаху на себе драть и пуп царапать, выдавая схваченные в столице верхушки за откровение и единственную истину, утрачивая при этом свой дар, попускаясь убеждениями своими, думая, что они пустяковые и сам он дерьмо, а вот там, в столице...

Очень и очень умеют и любят столичные крикуны внушить, что ты сир, отстал и вообще с суконным рылом забрался в калашный ряд.

Повторяю, я уже заканчивал курсы, за два года наслушался всякой всячины и заметил: уж если «борец» орет слова «Россия!» «Родина!» и т. д. и т. п., значит, поблизости есть кто-то из тех, кому это услышать надлежит, кто может за эти патриотические крики заплатить рублишко, напечатать подборку стихов, увеличить тираж книги и даже ввести в какую ни на есть редколлегию.

Нет выпячивающих себя и свое слово бескорыстных витий в нашей литературе. Бескорыстные, как правило, талантливы, им кричать не надо, за них говорят стихи, книги, перо – словом, их уединенный, тяжкий труд, в тяжком же труде не до суеты.

«Была в нем (Макарове) еще одна несовременность, – писал в статье к семидесятилетию Александра Николаевича Макарова критик Аннинский, о котором еще будет разговор впереди, в письмах критика ко мне, – он был вне групп. Как критик, он не размежевывал, не расчленил, не делил и не считался силами – он силы собирал... Он воистину был настроен на ритм всей нашей литературы: от поэзии

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
до очерка и от Москвы, как говорится, до самых до окраин».

Это очень важное и своевременное высказывание я не случайно цитирую в самом начале книги о критике А. Макарове. Высказывание это избавляет меня от многословных объяснений и растолковываний, хотя сами читатели убедятся в том, о чем говорил сейчас критик Аннинский, по письмам Александра Николаевича, и уяснят, что делению он все же подвергал нашу литературу, но делению открытому, естественному, без уловок и заячьих скидок. Он делил литературу на плохую и хорошую, писателей – на талантливых и бездарных, коих подвизалось и подвизается в нашей литературе и по сию пору предостаточно.

Несколько раз я еще видел на курсах Александра Николаевича и всегда старался быть поближе к поэтам, с которыми он разговаривал. Держался он с ними по-товарищески просто и сам был предельно прост, а я уже знал, что был он и редактором журнала, и зам. редактора «Лит. газеты», что член он многих органов, что и критик он не последнего десятка.

Мне хотелось познакомиться с ним, поговорить, но...

Но в детдоме, где я жил в детстве, работал одно время заведующим Василий Иванович Соколов – старый, образованный человек, и среди немногого, что вколотил он в меня, закрепились во мне две морали: навязчивость – одна из самых отвратительных черт в характере человека, обязательность – одна из самых хороших.

Словом, не решался я подойти к Александру Николаевичу и поговорить с ним, но забыть его почему-то не мог и, порядочное время спустя после курсов, взял и отправил ему только что вышедшую в «Молодой гвардии» книгу повестей и рассказов «Звездопад» – первую свою «толстую» столичную книжку.

Не знал я тогда, как загружен критик и как много посылают ему книг с надеждой, что он прочтет и напишет отклик. Я не думал ни о каком отклике и подпись на книге сделал ни к чему не обязывающую, и это-то как раз и послужило, как со смехом рассказывал потом Александр Николаевич, тому, что захотелось ему прочесть книгу, неизвестно откуда и кем посланную.

А когда он прочитывал книгу и она ему нравилась, Александр Николаевич обязательно находил время сказать добрые слова автору. На плохие книги он редко откликался, махал на них рукою, – много их, плохих-то, говорил, все «не охватишь»!

Вот что писал он мне в своем первом письме.

Уважаемый Виктор Петрович!

Большое спасибо Вам за книжку и, право же, не заслуженную подпись. Вы простите, что отвечаю Вам чуть не через полгода. Но писать просто благодарственное письмо не хотелось, пока не прочел книжки. А тут подошло лето, уехал в деревню и в сборах да впопыхах книжку оставил на столе. Книгуто я нашел и в нашей районной библиотеке, да адрес-то оставил дома...

Так велик поток книг, что прочесть все не успеваешь и за этим «всем» часто пропускаешь и самое необходимое. Прочесть Вас еще в апреле, до получения книжки, мне советовал И. Л. Гринберг и очень Вас хваливал, но както несколько общо. А Вы ведь поразительно «свойский», круто посоленный. Читал я Вас с наслаждением, вдыхая запахи пряные и смолистые, любясь людскими узловатыми характерами, экзотической силой жизни, так и бьющей русскими, обжигающими родниками. Многое мне напомнило мое детство и своих мужиков; знакомый быт, хотя у нас, не в Сибири, все это не столь густо, опреснено, более акварельно, что ли.

Аннотация к Вашей книге ужасна. А вот, кстати, и пример под руки подвернулся – аннотация Даниеля Дефо, сделанная самим автором к роману «Молль Флендерс», и редактора книги, изданной в самом крупном нашем издательстве «Художественная литература»: «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс, которая родилась в Ньюгетской тюрьме и в течение шести десятков лет своей разнообразной жизни (не считая детского возраста) была двенадцать раз содержанкой, пять раз замужем (из них один раз за своим братом), двенадцать лет воровкой, восемь лет ссыльной в

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Виргинии, но под конец разбогатела, стала жить честно и умерла в раскаянии. Написано по ее собственным заметкам»; и: «Роман английского писателя Даниеля Дефо (1660–1731) «Молль Флендерс» повествует о бедной девушке, которую социальные условия толкнули на путь проституции и воровства». Я вспомнил сердитые слова Сергея Антонова, который однажды, обозлившись, сказал, что удивляется способности критиков вышелушивать из произведений идею. Вот и тут, вышелушили, вернее, даже вшелушили, и эка чему обрадовались: «Село не нынче-завтра будет снесено». А вот как снести в душах то, что так безжалостно обнажается в Ваших Амосах, Исусиках, как их возвысить до Култышей и Летяг? Хотя, признаюсь, Култыш герой не моего романа. Летяга – вот это да! Может быть потому, что Култышей мне встречать в жизни как-то не приходилось. Он уж слишком судьбою индивидуален и немного благостен. Я же всю жизнь питал расположение и даже любовь к натурам озороватым, умеющим настоять на своем. И почему-то Вы мне кажетесь таким, особенно по «Звездопаду», где Вы меня так настроили на благополучный или хотя бы театральный (вдруг его убили) конец, что от Вашей правды мне выругаться захотелось. Ну что Вам, право, стоило поженить их или разлучить так с музыкой. А Вы вдруг взяли и написали как в жизни. И потому и хочется ругаться, и грустно, и, наверное, уже никогда не забудешь этого Вашего юношу. Все мы, наверное, носим в душе нечто несовершенное, что и есть самое-то дорогое.

Хороший в Вас растет писатель, характеры у Ваших героев свивоватые, столкновения и сшибки между ними по-мужицки крепкие, и ни в чем, ни в репликах, ни в передаче состояния, ни разу не ощутил я неловкости, фальши, неверной ноты. Уж на что «Солдат и мать» сложно, а веришь в мать безоговорочно. Слаба, впрочем, не то это слово, анемичнее других у Вас Лида в «Звездопаде». Здесь даже в одной реплике, мне думается, Вы сфальшивили. На стр. 237 внизу, и реплика меня покорила, и слова, и интонация какие-то старушечьи. Случай такой, что она могла не найти слов и верной интонации, но все же это не те слова, не были бы этими. Впрочем, это пустяк, пожалуй, единственное, что мне показалось огрехом в Вами вспаханном поле.

Очень мне почему-то захотелось в Ваш Чусовой. Я вот бывал когда-то в Ваших краях, где-то поблизости, тогда еще на Березникхимстрое. Впрочем, настроил не много.

Желаю Вам счастья и новых книг. Черкните, если не поленитесь, что, когда и где у вас будет? А то ведь за всем не уследишь. Мне хочется Вас почитать. Думал я, что в октябре мы увидимся на молодом совещании, а его перенесли на декабрь. А уж начали переносить, то до будущего года дотянут.

Ваш А. Макаров.

На этом работа над воспоминаниями застопорилась. Я пробовал еще писать, набрасывал куски, примерялся, прицеливался, маялся, испытывал давление со стороны супруги покойного и разных печатных органов и никак не мог подступить к материалу, «организовать» его в себе, что-то отбросить, что-то домыслить.

...Прошло более десяти лет. Я пробую снова продолжить начатую работу. Получится ли?

Жизнь состоит из встреч и разлук.

И встречи, и разлуки бывают разные, как разны и люди, с которыми встречаешься и разлучаешься.

Судьба подарила мне счастье короткое время быть знакомым и дружбою связанным с Александром Николаевичем Макаровым. Он был старше меня во всех отношениях, но он был мудр, деликатен, чист мыслями, и я в наших с ним отношениях никогда не чувствовал разницы в возрасте и подавляющего его превосходства в интеллектуальном развитии.

Мы дружили на равных, но это не мешало мне в то же время почтительно относиться к его трудным сединам, к его феноменальным познаниям. В наших отношениях младшего и старшего литератора и человека не было фамильярности, но было много теплоты и доверительности друг к другу.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Больше всего меня привлекало в Александре Николаевиче одно бесценное по нынешним временам качество – полное отсутствие вождизма, распространенной скверной болезни в нашей современной литературе, и терпимое, выкованное годами трудной его жизни отношение к людям.

За все годы нашей дружбы он ни об одном – ни об одном! – путном человеке не сказал дурно, не унизил себя поношением и бранью в адрес того или иного литератора. Если человек был ему не симпатичен, как, например, критик Ермилов, о котором речь впереди, он так и говорил, что человек этот ему не симпатичен, но никогда не навязывал мне своих симпатий и антипатий. Он доверял мне самому разобраться в людях, и рукописи, книги мои читая, тоже не был никогда категоричным в суждениях, лишь тонко, мягко подводил меня к той или иной мысли и далее пускал как бы в «самостоятельное плавание», полагая, что и сам я уже не мальчик, и веруя, что, разбираясь сам в себе и в сложных вопросах жизни, литератор большему научится и от многого избавится, многое приобретет.

Да, встреча и дружба с Александром Николаевичем Макаровым осложнила мою писательскую работу. Я стал относиться к ней строже, ответственней и на себя смотреть критичней. И по сей час каждую строку свою рассматриваю пронизательными глазами Александра Николаевича: выдержит ли она этот взгляд? Улыбчивый, чуть ироничный, как будто совершенно открытый, но с глубокой мыслью и отеческой заботой в глубине.

Я осиротел... Вторично осиротел в своей жизни: много лет назад потерял мать, теперь вот отца, отца-друга, отца-наставника, не резонера, не грузно нависшую надо мной «фигуру» старшего, – друга, до которого иногда просто хотелось дотронуться рукой и почувствовать, что он тут, он есть, и к нему можно прийти с радостью и бедой, и ничего не говорить о них, но выздороветь душой...

Я никак не привыкну к потере. Друг истинный и дружба истинная не умирают. И только сожалею я о том, что узнал Александра Николаевича поздно и мало виделся с ним оттого, что казалось, еще много встреч будет, много разговоров, много радостных дней доброго общения.

Когда встречаешь и любишь такого человека, как Александр Николаевич, мыслей о смерти не бывает, она, если и пришла бы, то показалась бы чудовищно несправедливой, неестественной.

Смерть всегда застаёт сердечную дружбу и любовь врасплох, и оттого потрясает она на долгие годы. И оттого невозможно привыкнуть к ней и смириться с нею.

Я ответил на первое письмо Александра Николаевича и поделился замыслом повести «Кража», высказал свои опасения по поводу ожидающихся в работе трудностей.

Уважаемый Виктор Петрович!

(За отчество не ручаюсь – книжка Ваша в Москве, а пишу из Тарусы, простите, если запамятовал.) Дело, которое Вы задумали – дело большое и трудное, но и достойное литературы. Пожалуй, именно на детях можно показать весь ужас былого, ужас неосознанный, казни и муки душевные, не только выдаваемые, а принимаемые за благодеяние. И у Вас наверняка получится. Вы добры к людям, как бывает добр человек, сам узнавший, почем фунт лиха. Когда и как Вы это узнали – не знаю, но в книжках Ваших это чувствуется. А посему желаю, чтобы Вам хорошо работалось. Да и поздравляю, кстати, с прошедшим праздником.

Письмо Ваше тоже дождалось меня, но, правда, не так долго, я был в Молдавии, поездил по воинским частям, по местам для меня памятным, там я служил на границе рядовым в 1940 году и, как пишется в анкетах, участвовал в освободительном походе в Бессарабию. И доселе сохранились у меня там знакомства с несколькими бессарабскими когда-то подпольщиками-комсомольцами, которым именно потому, что они были подпольщиками, пришлось довольно туго и с превеликим напряжением зарабатывать право на партийность, но все же они выдюжили и сейчас стали: один – литератором, два – профессорами, а один – таки главным архитектором республики. Чудесные, право, были ребята бендерские комсомольцы.

И так странно все, и сколько же этих памятных мест у человека! Вот Вы пишете о Березняках. А ведь я там был весной 1931 года и летом, и помню только лес, башни

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

еще не достроенные, пыльное Усолье с присадистыми домами на другом берегу да какое-то пустое помещение с деревянными верстаками и прилаженными тисками, где я и такие же, как я, выпускники ЦИТА, слесаря второго разряда, выпиливали явно никому не нужные «маяки», ибо ничего другого и делать не умели, да и прислали нас слишком рано, цеха еще не построены. Месяца через два я позорно сбежал, так и не подшебровав свое единственное изделие. А теперь страсть как хочется побывать и в этих памятных местах.

На совещании молодых Вы, несомненно, будете и, представьте себе, отнюдь не самым пожилым. Приглядываясь к составу совещания, я пришел к выводу, что наше литначальство страшно не хочет стареть, а потому всех, кому не стукнуло полвека, склонно считать литмладенцами. Ну да бог с ними, начальство начальством, а литература литературой. Главное же, что в Москву можно лишний раз заглянуть.

Ваш А. Макаров.

Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение Вашей жене и мою благодарность за ее хлопоты.

Я и в дальнейшей работе не буду исправлять и сокращать писем Александра Николаевича, пусть они говорят сами за себя и в «полный голос». Разумеется, я не со всеми письмами согласен, разумеется, мое мнение иногда расходится с мнением критика, в частности, с его безоговорочной критической оценкой фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Разумеется, мне бы хотелось кое-что и подсократить, и подправить, в особенности комплименты в мой адрес, но я этого не сделаю, во-первых: это письма и мысли покойного человека, и я обязан к ним относиться если не почтительно, то хотя бы бережно; во-вторых, надеюсь на доверие читателя и на то, что дальнейшие мои рассуждения как-то объяснят и сгладят те или иные неловкости частного и общего порядка.

В том же 1962 году от Александра Николаевича были еще две весточки, две открытки.

Дорогой Виктор Петрович!

Большое спасибо за книжку, за письмо. Прочел наугад, где развернулось, два рассказа: «Старая лошадь» и «Прахом своим» – и понял, что читать подряд не надо, не такого типа книжка, чтобы ее подряд читать. Стало как-то грустно и раздумчиво, и не хочется спугивать настроение. Как прочту, напишу об общем впечатлении.

Желаю Вам успешной работы и пахоты глубоко! Мастера-то, они, конечно, из седла выбивать мастера, ну да ведь когда выбит, берись за плуг, да покрепче, ан и опять в седле.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за новогодние пожелания! От души желаю Вам счастья и вдохновений (пусть нелегких), а все остальное приложится. Да, еще здоровья. Когда закончите повесть, может быть, стоит подумать о «Знамени». Редакция противная, выматывающая у автора кишки, но ведь журнал-то приличный.

Старый год был годом нашего заочного знакомства, дай бог в новом встретиться.

Ваш А. Макаров.

Наступил год 1963-й. Я переехал с семьей из города Чусового, где прожил восемнадцать послевоенных лет, в город Пермь, в областную «столицу», ближе к писательской организации, к издательству, к культуре, к библиотекам, к театру, и сразу же начал искать себе дом в деревушке. Ребята у меня подросли, в доме было многолюдно, квартира была на шумной улице, за тонкой стеной моего кабинета с утра до ночи играл молодой пианист, решивший поступить в аспирантуру Ленинградской консерватории. Играл он до того, что у него распухали пальцы. И я поначалу его с удовольствием слушал и говорил местным леноватым писателям: «Вот

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

у кого надо учиться работать!» Но потом или пианист заигрался, или я устал от него, но уже не мог ни работать, ни спать, иногда мне хотелось пойти и прикончить этого подслеповатого застенчивого парня, который, измучив себя, соседей, мать с отцом, так и не поступил в консерваторию, однако в леса меня выжил – и на том ему спасибо!

На берегу Камского водохранилища, верстах в восьмидесяти от Перми, находился тогда тихий и захолустный поселок под названием «Винный Завод» (в старину, при Екатерине, здесь будто бы курили вино), и жил на этом Винном Заводе человек исключительно интересный, образованный, дружески ко мне расположенный – Борис Никандрович Назаровский, превративший деревенскую баньку в тесную, но уютную «дачу», на которой бывали когда-то его друзья: Аркадий Гайдар, Василий Каменский и всякий другой известный народ. Он-то, Борис Никандрович, бывший в ту пору главным редактором Пермского книжного издательства, и посоветовал посмотреть избушку на Винном.

Избушки в ту пору свободные там были. Я посмотрел их – хорошие, старые, уютные избушки, стоявшие по красивому заливу, на красивом месте: впереди мелководный чистый пляж, сзади – сосновый бор, по широкому водохранилищу летят веселые моторки, еще редкие в ту пору, но уже начиналась туристскодачная разгульная стихия, и как я представил, что будет на этом симпатичном месте лет через пять – десять, то и спросил у Бориса Никандровича: нет ли деревушки погуще, пусть и подальше от пристаней, магазина и большой воды. Борис Никандрович ответил утвердительно и через сосновый бор, по устланной рыжей хвоей, мало хоженной тропе, увенчанной по бокам красными ягодами земляники, брусники и черно мерцающего черничника, отвел меня в деревню Быковку, где я и прожил и плодотворно проработал последующие годы, и даже переехав в Вологду, еще наведывался в тот благодатный для работы уголок.

Быковка спаслась от цивилизации и дачных варваров своей удаленностью, хотя всего она в полутора километрах от «большой воды». Где раньше текла красивая река Сылва, соединяясь с рекой Чусовой, теперь култыхалась, подмывала берега летом зацветающая, непроточная вода «рукотворного моря», как его нежно поименовали местные газеты. Да ведь и полторы версты никому неохота ходить и носить на хребте мешки с продуктами.

Быковка располагалась на холмах, среди полей и местами недорубленных лесов, по-над речкой Быковкой, холодной, прозрачной, в которой водилось тогда еще много хариуса, по перелескам и вырубкам – тьма-тьмущая дичи, в особенности тетеревов, гордо высились сосны, подпирая небо вершинами, лиственницы, ели, пихтачи, по опушкам и за стеной этих лесов бескрайно восходили осинники на старых вырубках.

Хорошо здесь жилось и работалось. Пока были молоды, сильны и здоровы, даже не очень смущало, что надо на себе таскать все необходимое для жизни, что нет в деревне электричества, что леса окрест заражены энцефалитным клещом. Жили поначалу даже несколько беспечно и потому враз заболели энцефалитом моя жена, Мария Семеновна, и ее племянник, который вырос в нашей семье. Нарвали букет купавы перед тем, как ехать в город. На пароходе племянник жены заметил клеща на цветке и сказал: «Ой, клещ! Подержите, тетя Маня, я достану спички и сожгу его». Перед этим делали ремонт в избе, руки у того и у другого были в царапинах – этого оказалось достаточно...

Жену едва спасли, и племянник был в тяжелейшем состоянии. Я так тогда пережил все это, так волновался, что меня хватил какой-то приступ, я лежал в больнице и после ездил в Ессентуки, куда пришел мне журнал «Наш современник» с изуродованным рассказом «Два солдата» (ныне он называется «Сашка Лебедев»). И я пожаловался Александру Николаевичу на этот, увы, не единственный в моей творческой жизни редакционный произвол.

Дорогой Виктор Петрович!

Ужасно обидно, что Ваше письмо я прочел только что – устроил себе гулянку, порвал с Москвой и месяца полтора не был там и слышать о ней не хотел. Помочь я Вам, конечно, не мог, а теперь уж как-то и сетовать поздно. А Вы думаете, у меня хоть одна статья появилась в том виде, в каком я ее писал? Да наши редакторы любым цензорам двадцать очков вперед дадут. Я тоже иногда вспоминаю старую эпиграмму, но не ту, а другую, поскольку пишу статьи:

Здесь над статьями совершают  
Вдвойне кошунственный обряд,  
Как православных, их крестят  
И, как евреев, обрезают.

Писателю всегда жилось трудно, таков уж его удел. Помню, в № 1 «Молодой гвардии» опубликовали мы письма Горького. И в одном из них как раз была такая фраза. Так не Горькому, а мне так влетело от одного товарища, не буду называть его фамилию, скажу только, что был он одним из «хозяев» журнала, тогда двойного подчинения, что мне сразу же после выпуска первого номера редактором быть расхотелось. И хотя второй «хозяин», к которому я, огорченный, помчался, меня нравственно поддержал, сказав: «А как же! Конечно трудно», но поддержал, так сказать, втихомолку, в личной беседе. Вот так-то. А из сборника «Серьезная жизнь» мне пришлось снять главу о «Живых и мертвых», – кое-какая критика романиста показалась не по времени. Получилось довольно смешно. Книга вышла через два года после романа, в ней есть статья: «Симонов как военный романист», а о последнем романе в статье ни слова. Кстати, то обидно, что критика-то была, видимо, в верном направлении, в «Солдатами не рождаются» К. М. не только менее анахроничен в изображении психологии, но и более тонок, на мой взгляд, и сумел показать крупные фигуры, мне кажется, удачно. Впрочем, к чему-то я вдался в воспоминания? Ах, вот к чему. – Я даже не с цензором столкнулся, а только с редакторами. Не особенно я верю в рассказ Зубавина о злоключениях Вашего рассказа – мужик он добрый и выпить любит, но как раз незадолго до этого его здорово взгнали и внимание к журналу было особо пристальное. Вот Вы и рассудите. Что же касается матери нашей цензуры, так о ней, по слухам, был разговор Твардовского аж на самом верху. Поживем – увидим. Пока же это привело лишь к тому, что журнал начал запаздывать – цензора этого редактора побаиваются, но и позиций своих не сдают. А в общем Ваше решение послать повесть именно в этот журнал, пожалуй, правильно, если она такова, как Вы мне писали. Хотя очень хотелось бы видеть вас в «Знамени». Может быть, все же подумаете? Не все мне в «Новом мире» нравится. Бондарев последний совсем не понравился, хотя я испытываю к Ю. В. большую симпатию, но Залыгин, действительно, здорово, написано хорошо. И вот удивительно, впрочем, совсем не удивительное дело, как он в последние годы расписался, ведь очень серовато, по-очерковому писал долгие годы, эта очерковость еще в «Тропах Алтая» сказывается. В том-то и проклятие самой профессии, что пишешь хорошо только тогда, когда пишешь как на духу, а там уж – в листа иль не в листа – это от времени, от обстоятельств зависит и, как ни тривиальна та истина, от международной обстановки. Насколько помню, всю жизнь так, и пока два мира существуют – аминь, ну а что касается, что Беликовы всегда находятся с их «как бы чего не вышло», – так ведь это явление, так сказать, национального характера, и во мне Беликов тоже сидит.

Впрочем, я, кажется, зарпортовался, собственные недостатки начинаю оправдывать национальным характером. А все же, как ни говори, до чего же умные были наши Чехов и Лесков, много они в нас такого подметили, что читаешь и со смеху помираешь, и плакать хочется.

Ну как же это все-таки Вы, будучи в Москве, дозвониться мне не могли? Никуда я в апреле не уезжал, дома сидел, ну, может, по утрам к телефону не подходил. Это в Вас тоже национальный характер сказался – ах, мол, не отвечает, значит, телефон не тот. Но ведь список членов союза в каждой редакции есть и там телефон этот обозначен. ДЗ-00-80 доб. 531. А у Вас, может быть, 31? А теперь добавили на коммутаторе пятерку и сами же, между прочим, на запрос 31 – такого телефона нет, хотя прекрасно знают, что это одно и то же. Тоже черточка характерная.

Ну так вот, коли доведет господь побывать в Москве, уже попытайтесь дозвониться. Лето, впрочем, высижу в Тарусе, вплоть до октября, видимо. А что Вам стоит заехать сюда? Два часа поезд до Серпухова и час автобус прямо от вокзала до Тарусы. К Паустовскому свожу. Вчера как раз встретились на улице и грустно поговорили о том, что рыба в Оке переводится – я ему – всего две уклейки поймал, а он – и то хорошо.

Полтора месяца я ездил да бездельничал, пора, наверное, и за работу приниматься. Висит на мне уж третий год книжка о Межелайтисе, договорная, а что-то нейдет она у меня, ведь литовского-то языка я не знаю, оригиналов-то не читал. Так вот дашь сдурю обязательство, а потом мучаешься, и главное не договор, конечно, а то, что Межелайтису натрепался и он еще два года назад по всем памятным местам возил и



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

коньяком поил. А я тогда, перед коньяком, конечно, написал о «Человеке», и оказалось, что смогу и книгу написать. Уж больно он как человек интересен, и поэт, конечно, своеобразный.

Не знаю, говорил ли Вам, что зимою, вдруг ни с того ни с сего для Гослита написал пять листов о Демьяне Бедном и опять мучаюсь – все кажется, что чего-то недотянул, а может быть, и перетянул. И о прошлом, оказывается, нелегко писать. Ну, куды крестьянину податься, а?

В Пермь я все же когда-нибудь тоже выберусь. Вот бы только с Межелайтисом покончить.

Ваш А. Макаров.

Но не скоро и не вдруг соберется Александр Николаевич в Пермь, однако я нет-нет да и впутывал его как местный литпатриот в наши текущие дела, загружал, и без того предельно загруженного, работой, совсем необязательной, как загружают и дергают меня самого сейчас по всякому пустяку, месяцами не давая сесть за стол и работать «на себя».

В местном издательстве началась тихая и некрасивая возня с книгой Ольги Александровны Волконской. Писательница Волконская, родственница знаменитой семьи по мужу, родилась в селе Гусевка, под Царицыном. В 1920 году ее семья эмигрировала в Турцию, затем во Францию, а после аж в Аргентину. В эмиграции и выросла Волконская, училась в Сорбонне, работала журналистской в БуэносАйресе, выпустила несколько книжек в Южной Америке и во Франции. В 1949 году переехала в Чехословакию, где работала переводчицей, преподавателем, писала статьи, рассказы. В семье Волконских царил русский дух, все члены семьи говорили на русском языке и мечтали вернуться «домой».

Вернулась в Россию в 1960 году одна лишь Ольга Александровна Волконская, остальные члены семьи умерли за границей. Поселилась и до самой смерти жила в Перми, работала в агентстве печати «Новости», была принята в Союз писателей.

Печататься Волконская начала с 1943 года. За границей у нее вышла книга «История и эволюция русской поэзии», Буэнос-Айрес, 1944 год. Там же и в том же году вышел сборник рассказов «Тени заката», а спустя три года – популярная книга «А. Пушкин. Жизнь и творчество», роман «Эмигранты». Печатала она и очерки о прибытии советских кораблей в Южную Америку – «Сахалин» и «Азербайджан».

Словом, вполне, как говорится, творчески состоятельный, патриотически настроенный человек, но ведь перестраховка-то, да еще местная! Она же вперед нас родилась, и вот, дабы «чего не вышло», решили местные издатели подстраховаться – и послали рукопись первой книги бывшей эмигрантки «наверх». Я возмутился и письмом попросил Александра Николаевича помочь автору, учитывая ее «прошлое», что она ж дитем была... и т. д. и т. п.

Но не зря говорится, что земля круглая! Рукопись Волконской уже была прочитана Александром Николаевичем Макаровым.

Дорогой Виктор Петрович!

К сожалению, Ваше письмо несколько опоздало – рецензию на книжку О. Волконской я отослал еще до Нового года. Ваше мнение для меня имеет значение, и, получи я письмо раньше, я бы, вероятно, немножко подмаслил рецензию. А так, боюсь, она скуповата: книжку, по-моему, издать надо, но в особый восторг она меня не привела. Ужасный идиотизм – эта манера посылать книжки «наверх». Чепуха какая-то! Как будто «наверху» не могут ошибаться, как будто один столичный рецензент с его субъективным вкусом только и способен решить судьбу книги. «Парижские рассказы» мне понравились меньше, аргентинские больше и, по правде говоря, меня несколько огорчила эта разномерность, да и манерничанье цветистостью. Но все это, право же, не имеет отношения к изданию книжки. И как Вы, вероятно, уже знаете, я высказался за издание. Если Вы имеете какую-то связь с издательством, то поднажмите со своей стороны, мол, конечно, рецензия требовательная и даже придирчивая, но ведь, мол, критик-то строг, как известно, и все-таки считает, что книгу надо издать. Может, даже предположить, что общий критический тон рецензии объясняется трусоватостью рецензента, мол, старался так

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

написать, чтоб обеспечить пути отхода, буде вышедшая книжка вызовет не тот реэагж. Поскольку в рецензии я сделал предположение о возможности выделить в отдельную книгу аргентинский цикл, я не писал о заглавии книги. Очень советовал бы автору изменить его, если книга будет выходить в этом виде: «фиалки и волки» – в этом есть что-то претенциозное.

Что же касается того, что происхождение и бывое автора тормозит издание книги, так это уж совсем бог знает что! На месте издательства я наоборот возрадовался бы и даже предпослал предисловие (от издательства или кого-то из писателей-пермяков, или самого автора), – вот, дескать, читайте: человек сама все видела, и не со стороны, а изнутри, и выросла там, и даже печаталась там, а вернулась на Родину, и т. д. и т. п.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович! Очень рад, что с Волконской обошлось все благополучно. Молодого совещания явно не будет, это уже и официально известно, но будет какой-то пленум, и м. б. Вы все же приедете в Москву. На «отклик» Вы не напросились. Мне шлют немало книг, но, как правило, именно на присланные-то и не откликаюсь. Так что Вы – редкое исключение, и виною не вы, а Ваша книжка. Кстати, я тут пропагандировал ее одному югославу и даже дал в инкомиссию Ваш адрес, буде им захочется связаться с Вами. В Москве эту книжку найти трудно.

Последнее время я совсем замучился от общ. работ. Перевыборы в райсовет, депутатский отчет (больше, слава богу, не буду – сослался на болезнь), сунули за каким-то чертом в «Лит. газету» на общественных началах. Словом, работы тьма, а толку нет.

Напишите мне, как будет время, когда-нибудь, просто так, о чем вздумается.

Ваш А. Макаров.

Я и впредь буду ставить письма в этой книге «порциями», но придерживаясь точной хронологии. Как мне кажется, сосредоточивая свои комментарии в одном месте, а не за каждым следующим письмом, я даю возможность больше слушать моего старого друга и обнаружить вместе со мною, что он был не просто критик, не просто ранимый и загнанный временем человек, но еще и крупный мыслитель (я знаю, Александр Николаевич воспринял бы это высокое слово по отношению к себе с иронической усмешкой), но мне и настаивать на том не надо – непредвзятый читатель сам убедится в этом, читая письма покойного. Я же все, что было памятно, постараюсь написать в конце и вставить между «зарядом» писем, не мешая им, дополню тем, что было, на мой взгляд, в наших отношениях заслуживающим внимания, что так или иначе поучительно для всех нас и по сию пору.

Дорогой Виктор Петрович!

Письмо Ваше пришло в Тарусу, а я целый месяц просидел в Москве, где меня терзали и резали «мудрые врачи». То ли от купанья, то ли еще от чего у меня была флегмона (говоря по-русски – сучье вымя) какой-то необъятной величины. Впрочем, провалялся месяц и сейчас еще не понимаю, то ли совсем прошло, то ли еще нет. Все это, конечно, пустяки. Но вот Ваша беда так беда. Но я надеюсь, что все же кончится благополучно. Очень расстроило меня Ваше письмо, и самое главное то, что бессилие, в каком иногда оказываешься, мучительней любой боли. Правда же, иногда сталкиваешься с такими явлениями, что переживаешь какое-то чувство вроде того, что охватывало тебя на московской крыше во время первых бомбежек – все видишь, а сделать ничего не можешь.

Вероятно, спасение только в одном – в работе, дык ведь вот немощи мешают.

Года три назад умер у меня флотский товарищ – журналист. При жизни он выпустил еще в 49-м году маленькую книжицу стихов в Крымиздате. А после смерти оказалось, что у него в столе лежали любопытные и оригинальные повести, и не о море, а о борьбе с басмачами в Ср. Азии, где он воевал с ними в 1931 году. Вот их хочется протолкнуть в Воениздат. Был он удивительный человечище, весь, казалось, ушедший в газетную работу (он был ответственным секретарем «Кр. черноморца»), номера не делал, а прямо-таки лепил, формовал. Детина – рост 184, лицо и фигура – хоть

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

статую высекай – идеальный боевой моряк, а вкус поэтический у него был настоящий, хотя, может быть, несколько романтически утонченный. Любил Грина. И вот эта рафинированность ума и чувств в сочетании с могучей фигурой создавали какое-то особое обаяние. И как-то очень располагали к себе. Мне не случалось встретить человека, который к нему не был бы расположен. А то, что писал не показывая – то ли из скромности, а может быть, потому, что был раним сердцем. Не знаю. Вот мне и надо написать предисловие, да так, чтобы сборнику цену почувствовали и в издательстве, где вопрос об издании еще не решен, а я вот уж несколько дней сажусь за бумагу и ни черта не выходит. Может быть, потому, что личное отношение мешает, вижу не столько материал, сколько его самого.

Спасибо за «Хлебозары». Удивительно Вы пишете, не знаю, как насчет звучания, но запахом полей, хлебов, грозы повеяло от этих страничек. Пересылаю рассказ в «Знамя» со своим всхлипом – очень мне хочется, чтоб его напечатали. Я только не давал бы этого подзаголовка – стих-ние в прозе – это ведь издатель Тургенева его выдумал... Ну, а Вам о старческом думать совсем рано.

Очень хочу, чтобы осень для Вас оказалась плодотворной, чтобы принесла она Вам, как и полагается осени, щедрые дары – и полное выздоровление близких, и творческий запал, и полные куканы хариусов. А мне уж, видно, этой осенью у Вас не побывать, куда же я, недорезанный, поеду?

Пожелайте от меня Вашей жене поскорее выздороветь окончательно.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо Вам за письмо. О своей статье говорить больше не буду, тем более что лежит на столе груды читательских писем, на которые, кажется, опять придется отвечать. А я замотался и еще не раскрыл папку с письмами при всей моей доброте, существующей в Вашем воображении. Должен был еще в декабре сдать книжку о Демьяне Бедном, маленькую, популярную, листа на четыре, и вот только что закончил ее вчерне. Работы еще на добрый месяц. От всех прячусь, никуда не хожу, изоврался сам и мои домашние: то говорят, что я в Тарусе, то, что в Калязине, а я жму. Увы, пишется не ахти, странички три-четыре в день, а наутро глядишь – бред собачий. Нет ничего хуже спешки, а мы живем только в спешке, подгоняемые то сроками, то нехваткой денег. Поверите ли, за всю зиму не вырвался за пределы Москвы, ни в лес, ни на лед, ни просто в деревню. И при всем при этом перед всеми печатными органами в неоплатном долгу, все смотрят на тебя, как на зверя, – обещал, а не написал. И в самом деле – я вконец испортился – всем обещаю и ничего не успеваю. А когда-то гордился тем, что любое обещание не только выполнял, но и в срок. Словом, охоты много, а силы не те, и никак не может с этим человек примириться.

Очень верно Вы пишете об Аннинском и Бушине. И очень они разные. Левушка Аннинский, верно, пококетничать не прочь, но литературу любит, хотя как-то погородскому, больше именно литературу, чем то, для чего она. Впрочем, это беда всех горожан, а может быть, это даже достоинство: думать, что литература и есть то, на чем свет клином сошелся. Что существует она сама по себе и для себя, но талантлив Лев Ал-дрович несомненно. Бушин же, по-моему, кроме себя, ничего не любит. Станный он какой-то. Он ведь когда-то был в семинаре у меня по Литинституту, я принял этот семинар от Веры Смирновой и года полтора вел его. На защите диплома я попытался сказать Бушину, что беда в том, что он больше любит себя, чем литературу, коей намерен заниматься. Он принял это с вежливой улыбкой и вообще мне при встрече всегда улыбается. Не читаю я его статей.

Я очень жалею, что, отказавшись от всех земных радостей, почти не следил за журналами и еще не прочел ваших рассказов в «Лит. России» и «Огоньке». Как прочту, напишу, как о «Двух солдатах», когда они появятся. И почему это Вы все шлете в «Лит. Россию» да «Огонек»? Прислали бы хоть раз в «Знамя». А, может быть, повесть показали бы, а?

Вот уж не думал, что Вас хватит инфаркт. У меня их было два. Остается утешаться тем, что «инфаркт – залог здоровья». Пить, курить не станете (разве лишь тайком), а будете только работать. Веселенькая жизнь! Иногда, честное слово, я бешусь, когда врачи меня уверяют, что мне даже есть после 7–8 часов вечера

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

поздно, а вот работать пожалуйста... Самое смешное, чем больше стареешь, тем больше хочется выкинуть нечто несусветное, в бандиты, что ли, пойти? Из дому сбежать? Поступок престарелого Толстого – это ведь юношеский поступок. Как и «Хаджи-Мурат» – юношеское произведение. А пока не спешите. Потихоньку входите в ритм. Самый страшный враг для нас с Вами не водка, а спешка, дергание.

Повесть Вы одолеете, и не одну. Это спервоначалу кажется страшно. Да, вот еще что. Как правило, после инфарктов месяцев шесть, а то и год уходит на раскачку. Так было у меня оба раза. И если увидите, что у Вас что-то плохо двигается, не пугайтесь, все пройдет.

Ваш А. Макаров.

Итак, наступил 1964 год, в который мы наконец-то встретились с Александром Николаевичем и сразу же подружились без натугов и притирок. Может, это произошло отчасти потому, что в письмах мы уже о многом переговорили, «подготовили почву» для дружеских отношений и какого-то жадного и естественного стремления в общении друг с другом.

Во всяком разе, с того, уже далекого года, я почти никогда и нигде в Москве более не останавливался, а только у Макаровых, – да и не отпускал меня Александр Николаевич. «Успеете еще, успеете нашататься по столице, нагуляться, натрепаться, – говорил он, – тут по вас соскучились, и дамочки ваши, да и мужчины... некоторые...»

Он зажимал букву «р», точнее, не зажимал, а как бы катал во рту кедровый орешек, что дало основание некоторым литераторам, в особенности тем, кого он не баловал вниманием, считать его евреем и чуть ли не скрытым, злобным семитом. Но если судить о нацпринадлежности по картавости, то часть населения Вологодской области, один знаменитый писатель вместе с половиной населения его родного района – должна попасть из-за картавости в евреи.

Дорогой Виктор Петрович!

Что-то больно мне тошно. Ездил в Воронеж на какие-то обсуждения книг, издаваемых «Сов. писом» по отделу критики. Вернулся и захандрил. Правда, и поехал-то в каком-то состоянии душевной невесомости. Может быть, потому, что весна и на улице «сырость и слякоть», может быть, потому, что всякие совещания на меня нагоняют тоску. Главная беда в том, что застрял где-то на 4/5 статьи об Аксенове и теперь не знаю, попадет ли в № 6. И вроде знаю, что хотел бы сказать, а фразы не склеиваются, все рассыпается, как только садишься за бумагу. Радует только, если это может радовать, что врачи связывают такое состояние не просто с полным обалдением, а с каким-то временным «кризисом кровеносной системы» и усиленно пичкают меня пчелиным молочком, и колют всякими витаминами, после чего, по их мнению, я неминуемо взыграю и заекаю селезенкой. Удивительно поганое состояние. Лень даже из комнаты в комнату пройти, целый день валяюсь в постели и читаю французские романы – Саган, Симона, Сименона – целый ворох прочел, и в голове вертятся одни многолюбивые бабы да неудачливые преступники, которых изловляет удачливый Мегре. Вот так скажи кому, чем занимается советский критик, засмеют. А мне, ей-богу, не до смеха. И надо бы мне развязаться с Аксеновым, ох как надо, чтобы на этом пока поставить точку – сложить книжонку из статей последних лет и не писать хотя бы год никаких патриотических статей. А как не писать – жить же ж надо ж и т. п., положение обязывает. Вспоминается Михаил Голодный – удивительной был души, доброты и скромности человек, и немало в свое время посмеивались над ним, что в разговорной речи он иногда не в ладах был с русским языком и прорывались у него «одессизмы». Так вот, о нем шутили, что он про своего злейшего врага, критика Елену Усиевич, говорил: «Усиевич, пишет критических статей. Я бы тоже мог писать критических статей, но партия мне говорит: «Голодный, пиши стихов». А мне вот редакция говорит: «Пиши критических статей». А мне все кажется, что я пишу не то, что надо, и в редакцию несешь с каким-то неясным отвращением – сам, мол, чего-то недодумал, да там еще советов поднакидают, да к тому же все скорей да скорей... Ну да ладно, бог с ним, вот, дает бог, доживу до лета и поведу здоровую жизнь пойду-выйду на быструю речку, сяду я да на крут бережок и замечтаю – вот да бы написать бы о людях, которых знал когда-то, только ведь талант улету. А ведь действительно, каждый из нас, наверное, носит в душе образы людей, которые составляли часть самого тебя, «без которых нет меня», и очень странно, что людей этих нет и никто о них, кроме

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

тебя, может быть, и не напишет, и не помнит, и не знает, что это были за удивительные люди.

Не знаю, писал ли я Вам, что вот уже скоро год, как сгорел у, меня один друг, скорее, конечно, друг в прошлом, в парнях вместе гуляли, а потом дороги наши разошлись: я – литератор, он же один из «малых сих» – из деревни уехал, воевал, Вернулся полуинвалидом, женился наконец на той, с которой лет десять еще перед войной шлялся, да отец ее замуж не выдавал; отец-то выдавал, детей куча и старшая в семье хозяйкой была. Да, женился, переехал в Москву, какойто подвал, яму какую-то себе оборудовал и еще лет пятнадцать в этой яме прожил, пил, конечно, виделись редко, да и говорить-то не о чем было, только смотрел он на меня влюбленными глазами, а я тщетно искал в его одутловатом, посеревшем лице черты того озорного певуна и шутника, каким его помнил, и вдруг как-то звонок: «Дядя Саша! Это говорит Валя Буянова, у нас папа умер». – «Что? Как?» – «Сгорел на работе». Я чуть не фыркнул – как это Макашка, в общем-то лентяй с золотыми руками (все умел), мог сгореть на работе, как какой-нибудь партийный работник. Оказывается-таки сгорел. Дежурил ночью в какой-то сушилке, выпил, наверное, и сгорел вместе с сушилкой. И вот уж год не дает мне покоя, как говорили в старину, его тень. Все кажется, вспоминается Михай с гармошкой, с драками на «канаве», где встречались враждующие деревни... Но кому нужна эта романтизация прошлой деревни? И другие помнятся – целая череда сильных, юных, и куда это все потом в человеке девается, ведь все же эти деревенские ребята были до чертиков талантливы, сами пели, сами играли на драных гармошках; конечно, транзисторы через плечо – это признак культуры, только, по-моему, оболванивают эти транзисторы почем зря. Словом, «век иной, иные птицы, и у птиц иные песни, я любил бы их быть может, если б мне иные уши». Вам еще везет. Вы все же где-то дома, у родового корня, а у меня и дома нет – места детства давно под водой, а там, где юность прошла, от коренного населения почти никого нет, так, какая-то смесь племен, наречий, состояний – те, что селятся ближе к Москве, но не в родительском доме. А в Тарусе, конечно, хорошо, но ведь там я дачник и природа-то все же не наша, не калязинская.

Ну ладно, что-то меня в жар кинуло, надо, видимо, ложиться.

Статей моих оппонентов я не читал, так, глянул только. Это, наверное, очень я поступаю плохо. Но мне не хочется влезать в эти споры ни о чем, что, вероятно, тоже свидетельствует о том, что критик я липовый – не интересуюсь тем, что по мнению критической среды есть главный смысл ее существования.

А в Кемерово мне хотелось бы поехать. И предлагали. И я вроде согласился. Да вот не знаю, как, выйдет ли?

Кланяйтесь супруге и семейству.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Давно о Вас ничего не слышал – что, как, где? Конечно, я скотина, целое лето собирался написать запрос и дотянул до поздней осени. Все завтра да завтра. Но я что-то уж всерьез беспокоиться начал. Как здоровье? Семья? Что с повестью? Очень о Вас стосковался. А вот до письма не добрался. Скажешь жене – очень охота Астафьеву написать – и на этом успокоюсь.

Лето прожил в Тарусе, занимался какими-то поделками, ничего путного не сотворил. До чертиков надоели качания нашего литературного маятника, только и думаешь о том, как бы проскочить промежду тик и промежду так.

Очень хочу, чтобы все у Вас было благополучно, и здоровье, и писалось чтоб. Поздравительных праздничных писем я никогда не пишу, и не думайте, что помню о Вас лишь в связи с наступающей годовщиной Октября. Черкните хоть открыточку. У меня этим летом как-то все поочередно переболели, да и сам немного поскрипел, но выправился.

Жена моя Вам кланяется.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень я обрадовался, получив от Вас весточку. И не тому, что Вы читаете мои статьи, придавая им преувеличенное значение, а тому, что «отыскался след Тарасов». Я и не знал, что Вы больны, все думал, что вот был хороший человек и куда-то запропал. Сколько раз хотел написать, да какой-то я вконец раздерганный всякими обязанностями и обязательствами. Как у Вас с романом? Что за болезнь Вас прихватила? Напишите, ради бога.

Желаю Вам скорей поправиться, желаю в новом году и вовсе не болеть, а только писать и писать.

Ваш А. Макаров.

Тем временем я закончил повесть «Кража», и началось ее плавание по журналам. Александр Николаевич, доругивавший «Знамя», но до конца дней оставшийся его верным сотрудником и патриотом, подбил меня дать повесть для прочтения в «Знамя», и хотя я чувствовал, что повесть не их «профиля» и что сам же Александр Николаевич испереживается, когда повесть отвергнут, все же рукопись в этот журнал дал, а так как там была, да, кажется, и сохранилась привычка читать рукописи «снизу доверху», то есть почти от уборщицы начиная и главредом кончая, то вот и читали мою повесть долго, и любезно вернули, и я оказался с нею в «Новом мире», где «Кражу» чуть было не опубликовали. Да ведь судьба рукописи та же самая, что и человеческая судьба, – извилиста, прихотлива, часто зависит от «привходящих» обстоятельств. Словом, всё же дело с «Кражей» завершилось благополучно, и «мое сердце успокоилось» журналом «Сибирские огни».

И те же журналы, которые «мурыжили и тянули резину», дружно откликнулись на опубликованную повесть хвалебными статьями, как бы извиняясь перед автором за свою нерешительность и редакционную рутину.

Однако Александр Николаевич на «Краже» не успокоился и, зная, что я впервые был напечатан в толстом столичном журнале, не в каком-нибудь, а в «Знамени», напирал на мои патриотические и благодарные чувства, просил новые рассказы, которые я в ту пору писал охотно. И такое ли переживание было ему оттого, что рассказы мне из «Знамени» возвращали. Я уж утешал его, говоря, что легких путей в литературе не бывает, что автор и не должен их, легкие-то, искать, просил не хлопотать за меня, так как печатали тогда мои вещи уже довольно широко, хотя и не без некоторой опаски и вмешательства в текст.

В конце концов я сломил сопротивление Александра Николаевича, и он оставил поползновения где-то и куда-то «пристраивать» мои «творения», и ему, и мне сделалось легче в общении. Я любил и люблю пользоваться почтой, дабы никого не связывать и никому не быть обязанным, да и не огорчать никого, кроме себя, если последует отказ из редакции – и по сию пору рукописи посылаю в журналы и издательства в конвертах, разумеется, кроме тех двух-трех редакций, куда я вхож как постоянный автор и которые все равно что родной дом.

Молодым авторам открою «тайну»: кроме всего прочего присланная по почте рукопись регистрируется, нумеруется, редакция обязана вернуть ее с ответом, а вот неофициально, «дружески» отданную рукопись в редакции могут запомнить прочесть и даже потерять (что случилось с автором сих строк в журнале «Молодая гвардия», к примеру).

За тридцать лет пользования почтой ни одной рукописи у меня в пути не потерялось, хотя слал я их довольно часто из глухих деревень, простыми или заказными бандеролями. «Ценными», правда, никогда не отправлял – не возникало такой необходимости. А вот получать – получаю, роскошно переплетенные, многослойно завернутые, в полиэтиленовый мешочек заключенные, с казенным уведомлением и личным пространном посланием автора, где непременно есть слова:

«Простите, что отнимаю время...» Но не приходит в голову так высоко оценившему свой писчебумажный труд человеку, что за ценной рукописью писателю надо идти на главпочту, непременно с паспортом, преть в очереди, терять рабочее время.

Видит бог, пошел бы я куда угодно и стоял бы в очереди сколь угодно, поступился

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

бы своей работой, если б рукописи эти соответствовали их роскошной и дорогой упаковке. Увы, пока что мне не попалась рукопись, которую захотелось бы отослать в редакцию с грифом: «ценная».

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за поздравления!

И Вам счастья, радости, успешной работы. Только что вернулся из Оренбурга, где прослышал от редактора «Урала» о Вашей буйной речи, что как камень в пруд. В «Знамени» всегда едут не на волах, а на буйволах, лишь бы доехали. Ей-богу, я уж и не рад, что связал Вас. Не хватало мне, чтобы по их милости Вы охладели ко мне. Не надо! И как же Вы тогда не приехали? Говорите точнее. Знаете ли, родной, ей-богу, хватает для писателя и того, что сердце болит, и кочки ему ни к чему.

Ваш А. Макаров.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Большое Вам спасибо! Прочел с интересом и думаю, что Вы в своей оценке во многом правы. Только мне думается, что в оценке прошлой «независимости» Камю не так уж прав. Но это частности. Очень рад, что успел сегодня получить Ваше письмо. Я уж было начал беспокоиться Вашим молчанием. Мне даже неловко, что Вам пришлось перестукать на машинке добрый лист, я и не предполагал, что это так много.

Завтра в семь утра я улетаю в Болгарию на три недели, по культурному обмену. Им там про меня наговорили как про знатока поэзии, и они, кажется, ждут каких-то лекций обзорных, а я лекции читать не умею и поэзией в последние годы как-то мало интересовался. Ну да будь что будет. Вернусь и напишу Вам, как позорился.

Жена Вам кланяется. В Тарусу будем ждать Вас обязательно, помните, что там и пиво, там и мед, Паустовский там живет.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю Вас с наступающим Первомая! Только что вернулся из восхитительной поездки по Болгарии и сразу же с бала на корабль, в московский пленум.

«Плывем... Куда ж нам плыть», – как говорил Пушкин.

Ваш А. Макаров.

Да, Вас очень хвалил Дорофеев в своем содокладе. С Днем Победы, дорогой Виктор Петрович!

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Вот тут и попробуй не верь в телепатию, предчувствия, мистику и вообще Днем опустил Вам письмо, а вечером от Вас открытка. И очень захотелось еще поговорить.

Очень рад, что с повестью все идет своим чередом. Они молодцы, новомирцы – выпустили девятый номер такой, что читается от доски до доски. Не все одинаково хорошо, но все интересно. Даже Сэлинджер, который ровно ничего нового не сказал, но с каким вывертом! Твардовский в стихах, по-моему, превзошел сам себя. А еще говорят, что у нас нет поэтов, что разве сравнишь нас, грешных, с XIX веком. А я вот подумал, за 50 лет – Маяковский, Есенин, Пастернак, Твардовский – целых четыре! А за сорок лет после Пушкина Лермонтов, Тютчев, Некрасов – всего три. Блок только родился через 50 лет. Предлагали мне написать об этом цикле, но что

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

тут можно написать. Все понятно без растолкований. Да к тому же содержание растолковывать не дай бог, гусей дразнить, а слог, язык – что же тут нового скажешь? Читал я эти стихи, и было мне почему-то грустно. Есенин писал: «Я последний поэт деревни». А почему-то подумалось, что Твардовский мог бы сказать: «Я последний поэт России». Именно России, а не СССР. Уйдет Твардовский, и никто никогда уже не заговорит так порусски душевно, с такими переливами языка, ясного и точного, такими звуками родной речи, идущей с поля, от села – а деревня – хранительница национальности (как утверждал один марксист, имя коего ныне употребляется разве лишь с присовокуплением другого слова, а отдельно как бы и не существует). Только где она теперь, деревня?

Так вот и не напишу я о Твардовском.

Вот о Евтушенко написал. И много. Может быть, в похвалах конкретных и перебрал, но надоело, что все его только лают. И если само слово «Знамя» Вы можете не заметить на обложке, взгляните в № 10. Статья написана была к № 7му, но они ее как-то доперекладывали до десятого номера. Рецензийка же о книжке Карповой, право, ничем не интересна. Книжечка у нее честная, дотошная, но скушноватая.

Вчера вечером пришла откуда-то жена и сказала, что умер Дм. Ал. Поликарпов. Мне звонили с предложением пойти в почетный караул. Не пойду я сегодня в почетный караул, а уеду, как рассветет, в Тарусу, числа до десятого. А Дм. Ал. очень жаль – хороший он был человек, честный, прямой, конечно, «продукт сталинской эпохи», но если бы продукты были такими, так и эпоха была бы другая. И трудно ему приходилось последние десять лет. Думаю, что даже более трудно, чем в 1946 году, когда Сталин изгнал его из СП за то, что в оценке «Спутников» Дм. Ал. решил показать себя большим сталинистом, чем сам хозяин. Я его любил, да и он ко мне относился хорошо, всегда по-отечески отчитывал. А отчитывал он по-особому. Получалось как-то так – мол, все ты, дорогой товарищ, сам знаешь и понимаешь, так какого же лешего... И очень грустно, что не услышишь больше его голоса. Бывало, чем тверже этот голос становится, чем непререкаемей, тем почему-то все мягче и даже смешнее... Не знаю, как у других, а мне всегда весело становилось. Жаль, последнее время я с ним не встречался, разве что в президиуме на вечере какого-нибудь 2000летия классика.

Очень буду ждать Вашего приезда.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Все-таки очень жаль, что я не увижу Ваших рассказов до их появления в печати. Когда-то это еще будет. Записки Волконской – княгини-декабристки я читал когда-то, давным-давно, в отрочестве. Помню ее больше по Некрасову, который воспользовался этими записками в «Русских женщинах». Бude Вы их захватите – перечитаю с удовольствием. Письма Ваши прямо каким-то лучом врываются в мою зимнюю, серую жизнь, то о речке подмерзающей напишете, то о благородстве женском, хотя и давнем. А я сию, как в одиночке, в своей комнатухе, откуда только серые заборы видно, и строчу, строчу, а зачем и кому это надо – не знаю. Вот уж месяц путаюсь со статьей о Семине и никак не могу в ней разобраться. Но должен же кто-нибудь сказать, что про него все не то, не то пишут, хотя в чем-то и правы. Его беда в том, что он поразительно одинок. И чем больше я в него влезаю, тем больше сам заражаюсь его настроением. А писать-то надо вопреки настроению.

Недавно побывал в Литве на съезде. Ездил с женой и даже с дочерью. Встречали как своего, я ведь о них кое-что писал, а они народ добрый и много переживший. Обрек я было себя на пост похудения, но какой там пост, было такое разрешение вина и еля, что кабы не семейные узы...

Москва меня прямо замучила. Звонки, звонки, звонки. «Лит. газета» требует, чтобы я писал (не один) какую-то редстатью, которая совершенно уж никому не нужна, влез в статью о тех, о ком когда-то писал в «Серьезной жизни». Родил Рекемчука и Липатова, вожусь с Семиным, а впереди еще Аксенов. Понаписали товарищи много, и надо же в этом как-то разобраться. К 1-му января надо сделать предисловие к сборнику болгарских критиков. А что я знаю о болгарской критике? Ровно ничего, кроме нескольких самих критиков. И еще не позднее 5-го надо вернуть книжку о



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
Межелайтисе, в которой надо сделать койкакие доделки.

Голова идет кругом, и хочется на все плюнуть и сбежать куда глаза глядят. Но от себя не убежишь.

Но вот поныл и вроде легче.

Поздравляю Вас и все Ваше семейство с Новым годом.

С ним я еще не знаком, но ведь и с вами мы когда-то письмами познакомились. Наташа и Аннета тоже Вас поздравляют.

Желаем всего, что принято в таких случаях желать, главное – не болеть никому. И еще очень желаю, чтобы поскорее приезжали бы Вы.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Повидать мне Вас очень хочется, а поговорить прямо-таки нужда. Поскольку Вы решили еще побыть на лоне природы, подскочили бы мы к Вам денька на дватри, числа 23-го или 24-го. Если Вы не прочь от таких гостей (я и жена), то черкните, как к Вам попасть – маршрут: поездом или самолетом (могут не летать из-за погоды) и как добираться до Перми и из Перми? Я, конечно, уже все забыл. Ваши, наверное, уже в городе, тогда, конечно, все проще. Городской-то адрес я знаю. Ну, а вдруг там никого нет?

Спасибо за журнал.

Ваш А. Макаров.

А время шло. Общение наше сделалось более дружеским, доверительным, и когда я приезжал в Москву, мы часто засиживались в тесном, вечно неубранном кабинете до глубокой ночи. Сидя на стуле меж окном и столом, заваленным подковообразно книгами разных мастей и разных авторов, в середине коих пещеркой темнело «рабочее место» критика, я слушал Александра Николаевича или рассказывал сам. Был Александр Николаевич не только славный рассказчик, но и слушатель редкостный, а хохотун, как и я тоже, совершенно отменный, и, нахохотавшись до слез, он, вытирая слезы с глаз, просил: «Ну, Вик Петрович, ну еще сказочку расскажите!»

Все, что я ему рассказывал, он именовал «сказочками», и по мере того, как развивалась болезнь его, я старался избегать мрачных «сказочек», ибо кроме болезни ему много приносила огорчений и литературная среда, и свои родные домочадцы.

Не скрою, да и нет надобности скрывать это теперь, меня не просто огорчало безалаберное «ведение дома», но оторопь брала от его неряшливости, запущенности. Две здоровые женщины в доме, молодой зять, брат, полный сил и энергии, родня толчется с утра до ночи, домработница, пусть и приходящая, а стены квартиры в толстом слое пыли, за портретами и картинами паутина, что колючая окопная проволока; окна давно не мыты, пол облупился, в квартире сумрачно, душно, на старом обшарпанном столе критика многолетний слой пыли; на полках книги не поставлены, а затиснуты, и если вынешь книгу – обратно не засунуть. Подоконник же и стол и без того завалены писчебумажным добром. Среди стола, в «пещерке» мерцала стеклом старая, в обсохших чернилах, школьная непроливашка и тут же валялась деревянная ученическая ручка с пером «Союз».

Я в ту пору работал точно таким же «инструментом» и, посмеиваясь, сказал, мол, я-то что, а вот знаменитый критик – и допотопной ручкой «критикует»! На что Александр Николаевич отшутился: «А что? Вы думаете, если критик знаменит, так у него и мыслей знаменитых полно? Да у него, как и у вас, грешных, нету никаких мыслей. Вот и надеешься; пока макаешь ручку, она, треклятая, и появится...»

В ту пору Александр Николаевич еще мог, как он выражался, маленько «клюнуть», а «фершала» ему это запрещали, и домашние блюли наказ «фершалов». Но по случаю моего приезда происходили некоторые вольности, нам с Толей братом Александра

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Николаевича – дозволялось раздавить одну на кухне. А Толя большой мастак по этой части, с утра уже поддаты, шарашится на кухне, чегонибудь опрокинет, прольет. Мы это в смех обратим, маленечко, совсем маленечко – капельку вольем в рюмочку Александра Николаевича. Была у него, по какому-то наследию, из каких-то доисторических времен дошедшая, серебряная рюмочка (в каждой московской, интеллигентно себя понимающей семье есть или должна быть подобная рюмочка, веер, картина, стол, стул, «курильница» чуть ли не с царского стола или из Юсуповского дворца), но кроме именитой рюмочки на столе были и стаканы, и стакашки, и кроме махонькой бутылочки с коньяком, у Толи в заначке есть бутылёк, да и я, выгнав порядки, тоже в боковом кармане пальто либо в чемоданчике хранил «змею горькую» – на всякий случай.

И вот сидит на кухне гость с хозяевами. Из положенной по этикету бутылочки почти не убывает, а мужики все веселее, все красноречивее. Наталья Федоровна в подозренье: «Послушайте, товарищи! Вы с чего это захмелели-то?» «Со стола бранного, с речей Вик Петровича отважного...» – «О-ох, глядите вы у меня!..» – смеется, бывало, Наталья Федоровна и грозит пальцем.

Много, хорошо и дружно разговаривалось нам на кухне. Я чувствовал, что мое присутствие как-то освежало обстановку в доме, где часто и, казалось мне в ту пору, беспричинно раздражались люди друг на друга, психовали, вечно чего-то искали, и без конца трещал телефон в прихожей да слонялся из комнаты в комнату огромный добродушный кобель Карай, который если ложился в прихожей, то от стены до стены, и потому на него всегда наступали, а он блажил дурноматом на весь дом.

Совершенно нежные чувства питал суровый критик к тому псу, мечтающему об одном: о вольной воле, которую он получал лишь в Тарусе, в Москве же томился взаперти, вывести его на улицу часто было некому и некогда. Он лбом открывал дверь в кабинет Александра Николаевича, клал ему на колено здоровенную, почти лошадиную башку и жалобно, по-щенячьи пищал, просясь на улицу или жалуясь на одиночество.

Александр Николаевич трепал пса по загривку, гладил и объяснялся: «Что, Караюшка? Что, собачка моя? Гулять охота? Гулять. А как же критических статей? Ждут, родной, ждут, и Людмила Иванна, и Вадим Михалыч, и звонят, и ругают. Им наплевать на твою собачью нужду, им подавай продукцию, и никаких!..»

Однажды Карай где-то разрезал стеклом лапу, забинтованный ходил на трех лапах, уши повесил, хвост опустил. Я в хохот. Александр Николаевич на меня в атаку:

– Чего смеетесь? Чего смеетесь-то? Смейтесь, смейтесь! Счас я Вас разобью сообщением о том, как эта самая болезная собачка спасла личное добро критика и задержала бандита!..

– Чево-о-о?!

– А ничего!

И Александр Николаевич поведал, как они собирались в Тарусу. Ну, беготня, конечно, чего-то утерjali, чего-то забыли, чего-то опрокинули, куда-то не дозвонились. Толя тем временем в магазин смотался, чтоб потихонечку бутылку купить. И заберись же за руль ворюга с намерением угнать машину, а того не видит, что за сиденьем, прижавшись к полу, лежит кобелище – овчарка. Карай тайком, еще при Толе, вполз в машину, притаился, чтоб, боже упаси, не выгнали да в Москве не оставили бы. И когда ворюга сел на место шофера, кобель, думая, что это Толя, благодарно облапил его сзади за плечи...

– Когда мы дружной семьей вывалились наконец-то из дома и, доругиваясь на ходу, приблизились к машине, бандюга был почти готов, говорить он уже не мог, лишь прошептал: «Делайте что хотите, только собаку... собаку...» – и потерял сознание. И так будет с каждым, кто позарится на личное имущество советского критика! – с пафосом завершил рассказ Александр Николаевич.

После инфарктов, перенесенных Александром Николаевичем, ему не только выпивать, но и курить было запрещено. А он курил. Тайком. Выйдем, бывало, погулять, он поскорее спустит Карая с поводка, цап-царап «беломорину» и жадно, как мы в школе когда-то, «иззобает» ее за углом, озираясь по сторонам.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

– Нельзя вам так курить. Коньки можете отбросить, – говорил я ему. Курите лучше открыто, но спокойно и не часто.

– Так ведь разорутся. Наташу, опять же, огорчать не хочется.

Я уговаривал Наталью Федоровну.

– Да мы знаем, что он курит тайком, но разреши, – ответила она, закурится совсем. Нет уж, пусть лучше так...

Как известно, баба кроит вдоль, да режет поперек. Покойница часто бывала непререкаема и не понимала, как, впрочем, и жены наши часто не понимают, что ставить взрослого человека в позицию школьника унизительно для обеих сторон. Для пишущего же человека всякое притворство, прятанье, ухищрения в добывании не жизни, нет, куда уж там, до жизни ли?! – хотя бы минутой свободы повседневных действий, привычек – унизительно вдвойне. Мелкое, но постоянное унижение не просто мучает и терзает душу человека, оно приводит к чувству самоуничижения, малозначности своей.

Дорогой Виктор Петрович!

Надо же все-таки иметь совесть и не забывать свои книжки и не ввергать в расходы по их причине. Забыли про книжку, забыли купить шляпу, которую предлагали, поскольку она мне оказалась велика (Марья Семеновна ее даже примеряла!), забыли про перчатки, купленные для Вас Наташей еще полгода назад. Все забыли, а все потому, что Толя Знаменский заговорил. Так-то!

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Так обидно, так нелепо уезжать накануне Вашего приезда. Так я надеялся повидаться и наговориться. По правде говоря, я как-то забыл о пленуме и неосмотрительно дал обещание таджикам (вернее, оно давно было дано и уж очень много раз я его давал и в последний час отказывался, и на этот раз не хватило совести). И надо же было их съезду совпасть с пленумом, то есть с Вашим возможным приездом. А может быть. Вы задержитесь в Москве? Я вернусь если не 26-го, то 27-го обязательно. Хотя мало я на это надеюсь, на носу Май, и Вы, наверное, будете спешить. Если бы не дом, не жена, не всякие сложности быта, так бы и утянулся за Вами вдогонку. А может, я все-таки как-то выпрошусь в конце мая – тут ведь беда и в том, что по возвращении что-то надо доделать в редакции со злополучной статьей об Аксенове, что у жены свои планы и обязанности, словом, тысяча всяких преград.

По настрою «Синие сумерки» – рассказ отличный. Растревожил он меня до слез. Почему-то очень стало жалко себя, впрочем, я даже знаю, почему, но в письме этого не выразишь. Видимо, я безнадежный эгоист, вместо того, чтобы сокрушаться о роде человеческом, сокрушаюсь и печалюсь о себе, о том, что мог бы жить как люди, а стал литературным критиком. А Вы удивительно умеете сказать человеку о том, что им безвозвратно потеряно... Ну да ладно. Если я сяду на лирического конька – поездке конца не будет.

Давайте о рассказе. Не мне Вам говорить, что к нему могут предъявить всякое – противопоставление «естественного человека» современному, недопустимость безнаказанности покушения на инженера и т. п. Все это чепуха, и буде такие редакторские замечания прозвучат, обращать на них внимание не стоит. Рассказ существует как таковой с его незабываемой печалью, и тут уж ничего не поделаешь. Но есть в самом рассказе что-то, над чем стоит еще подумать. Вы пишете, что Вам почудилась в середине какая-то натяжка. Знаете, это действительно чувствуется, и думается, что она в том, что Вы прямо связываете поведение Ночки с Ив. Ив. и историей с инженером. Я могу объяснить, как это, вольно или невольно, произошло. Вам важно сюжетно закрепить в рассказе историю с инженером, попробуй выкини и Ив. Ив., и эту историю, если на ней как бы держится сюжет – все взаимосвязано. Художественно это не только не обязательно, но даже противопоказано, в этом чувствуется литературность, вымысел. Умысел вполне объяснимый, но именно потому, что сразу приходит в голову объяснение, это и мешает. Прямая связь портит все

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

дело. Начинает выпирать тенденциозность, нарочитость, глубокая и грустная философия рассказа начинает отдавать назидательностью временной.

Мне думается, нужна бы другая история, другой повод для трагедии собаки, и тогда все зазвучит сильнее, сложнее, но и, думается, правдивее. Здесь же все нравоучительно отлажено. Не мне давать Вам совету, и не знаю, угадал ли я то, что Вас смущало, но это, именно это внушило мне подозрение на литературность. И еще одно замечание – невыразимо хорош Гр. Еф. в обстановке его избышки, в жестах, в разговорах с собакой, но в интонации его разговора с Вами слышится опять-таки какая-то литературность. Вы даже о «Юности» его заставили говорить. Не уверен, что в этом рассказе это необходимо. А сейчас это вообще прозвучит конъюнктурно. Да и зачем Вам, такому русскому художнику, впутываться в быстротекущий поток преходящей литературы. И, если вдуматься, то, ей-богу, наша «молодежная» литература не смех вызывает, а слезы – в ней отразилась духовная драма этого замороженного поколения. Но это уж Ваше дело решать. А вот на манеру разговора обратите внимание. Я даже не могу конкретно указать, что меня не устраивает в Гр. Еф. Несомненно, в речевой манере «простого» человека есть интонация сказовая.

«На войне кум у меня погиб. Хрустов по фамилии. На водокачке слесарил» глаголы на конце, слова перевернуты местами, но, перекочевав в литературу еще двадцатых годов, интонация эта где-то до того налитературилась, что каждого, кто начинает так разговаривать, воспринимаешь не как живого героя, а как давно знакомый персонаж. Я не сомневаюсь, что у Ваших земляков тоже в речи сказывается эта интонация, но ведь есть же что-то и свое, пермяцкое, кроме этих «отродясь» и «бывалоча» и обязательных глаголов на конце. Кому же, как не Вам, уловить это? Все, что он рассказывает, написано Вами с какой-то языковой скупостью и утомительной монотонностью, и рядом с этим изумительно яркий, сочный авторский язык. Для себя-то (то есть для рассказчика) Вы на редкость щедры. Вы даже местную поговорку о лешем себе присвоили. Вспомните, как говорят герои у Горького. Он ведь им самое лучшее отдавал, самое само цветное для них в своей памяти откапывал.

Извините меня, ради бога, – это не поучение, просто вспомнилось... И вот мне кажется, что с речью Гр. Еф. не грех и повозиться бы. Надо, чтобы я его так же почувствовал, как Ваш пейзаж. Ночку – где все одухотворено, все живет, дышит, от всего сжимается сердце. А Гр. Еф. я чувствую больше всего тогда, когда Вы говорите о нем. Так, например, в последнем абзаце, под которым и Тургенев подписался бы. Так дайте мне его в нем самом.

Больше мне сказать нечего. Все, что в рассказе от Вас, – превосходно, описаний, казалось бы, много, но ни слова не выкинешь, напротив, испытываешь то обязательное чувство – эх, еще бы позадержаться у этого пробивающегося изпод снега ручья, услышать робкий, просительный писк Ночки, и «зло» берет на автора, что он не вытащил ее из-под пихты в избу (ну что ему, автору, стоило), словом, испытываешь все то, что и должен испытывать. Помню, когда-то моя троюродная сестра, с которой я прожил бок о бок в отрочестве (потом она стала серьезным партийным работником), просто заходила от злости на Диккенса, что он рано кончал свои романы, что вот-де, что бы ему стоило написать дальше, и как они жили дальше, потом, какие у них были дети, и в этой ее злости была величайшая похвала писателю, что я понял, конечно, позднее, а она – не знаю, поняла ли. Теперь она уже пенсионерка и читает только газеты. И вот если говорить о рассказе, как говорится, так он вызывает именно это хорошее чувство злости, ну зачем, ну разве нельзя было еще подзадержаться в избышке, посидеть у огонька, расположить к себе Ночку и т. д. Так вот, хочется, чтобы и когда Гр. Еф. рассказывает, было такое ощущение, чтобы я не только историю собаки от него узнавал – ну говори же, говори, – подумал бы.

Впрочем, я уже начинаю повторяться. В разговоре я все это выразил бы, может быть, эмоциями, короче, а в эпистолярном жанре получается как-то сухо, уныло, чуть ли не назидательно, и очень трудно передать свое отношение. Заболел я Вашим рассказом, вот и все. И, как всякий болельщик, кричу: «Еще гол!»

Ну так как же все-таки? Возможно, на этот раз так и не увидимся. Спасибо за книжку, о ней уж вдругорядь, а пока только спасибо не в смысле за презент и экземпляр, а за то, что и как в ней написано. Если уедете, напишите обязательно о планах на дальнейшее, о Вашем личном расписании. Кланяюсь Вашим домашним. Мои кланяются Вам.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Ваш А. Макаров.

За ночь так и этак передумывал это письмо. Может, я ошибаюсь. И все же думаю, нет. Есть какая-то нарочитость в том, что Ночка в роли мстителя Ив. Ив. – какой-то обнаженный ход. Может, потому и рассказ Гр. Еф. приобрел речевую потертость?

Ну, давайте руку. Вот так.

Дорогой Виктор Петрович! Поздравляем! Желаем здоровья, удач в творческой и рыбной ловле!

Семейного благополучия!

Макаровы.

Дорогой Виктор Петрович!

Небось Вы уже в своих пенатах, а я все еще торчу в Москве и предаюсь блуду – пишу внутренние рецензии: на лето нужны деньги; думаю заняться подготовкой книжки, а книжку нужно кормить. Статьи, конечно, деньги дают и, однако, не оправдывают себя – пока пишешь да проталкиваешь, глядь, истратил больше, чем получишь. Больше, конечно, потому, что уж много очень советчиков в редакции, к тому же, как говорил старик Державин: «Один хотел арбузов, другой соленых огурцов». Вот и не доведу никак до печати своего Аксенова. Но баста! На этом ставлю точку, больше пока не буду заниматься старыми знакомыми. И есть у меня мечта написать о тех, кто «там, во глубине России», о ком пишут мало, и не рецензии, конечно, а статьи-портреты. Но и сам-то я мало знаю периферию, и ведь тут нужно, чтобы был человек перспективный, который бы в будущем дал еще больше. А то вот как хорошо начинал Сергей Никитин, а выписался довольно скоро. Может быть. Вы подскажете, кем бы стоило заинтересоваться. Вот прочел я книжку Сапожникова, по-моему, это очень интересно, но кроме этой книжки я о нем ничего не знаю. Как Вы к нему относитесь, если читали? Что же все-таки будет с «Кражей» в издательстве «Молодая гвардия»? Мне очень нужно, чтобы где бы то ни было, хоть на Сахалине, да появилась эта книга. Может быть. Вам придет на память несколько имен, кого стоило бы прочитать от корки до корки, чтобы потом сделать выбор, наткнуться на то, от чего загорится душа. Да, вот еще что: в «Новом мире» были отличные рассказы курянина Носова, но пока кроме этих рассказов я его ничего не читал. Летом можно было бы потихоньку почитать, летом какое же писание, все-таки грибы, рыба (вернее, ее отсутствие), летом только дорабатывать что-нибудь можно. Библиографию любую и книги я, конечно, могу получить в Союзе, но мне нужно знать, кого бы стоило читать. Я не только не успеваю за всем следить, я ни за чем следить не успеваю.

К моей критике Вашего рассказа Вы должны отнестись так, как советовал Горький в письме Каверину: «Слушайте критику, обязательно слушайте, но не слушайтесь».

Да вот и лето на дворе. И пролетит оно, не успеешь оглянуться, а уж как его ждалось! Впрочем, с годами ощущение радости тускнеет. Сидишь на реке и думаешь, что скажет Сучков о том, что ты накундёлал. На реке я все же изредка бывал. Есть такая веселая речка Озерна, километрах в ста с лишним от Москвы, за Малеевкой, такое ожерелье из омутков, нанизанных почти на ручеек. Не больно она рыбная, но уж больно хорошо там и безлюдно, только уж и там воздвигли плотину и будущей весной перекроют, и не будет веселой речки Озерны.

В Москве был пленум о поэзии. Я посидел всего полдня, на остальные полтора дня меня не хватило. Об уровне можете судить по статье Наровчатова в «Правде», где он какие-то слабые стишки какого-то молодого гения выдает за гражданственность. И пишет о нем рядом с Берггольц и Смеляковым. А в стихах этих гражданственность покупная, заимствованная и бестрепетная.

Вот так мы и живем.

Обнимаю Вас, дорогой друг, и кланяюсь Вашим домашним.

Ваш А. Макаров.

Поймавшись за слово «гражданственность покупная», помнится, я разозлился и разразился письмом о «гражданственности» вообще и о «массовой культуре» в частности, и поскольку мысли эти занимают меня чем дальше, тем больше, я позволю себе припомнить то, что писал Александру Николаевичу и что затем стало предметом не одной нашей долгой беседы.

Литература никогда не шла только по восходящей. Перепады, взлеты и крушенья возможны не только у одного писателя, но и у целой литературы, даже большой, и постепенно, мучительно, в русской литературе даже с надсадой они преодолевались.

Вообще, мне кажется, что, пока людям еще не до гражданственности в литературе, само влияние литературы и искусства на человеческое общество у нас, как и во всем мире, преувеличено, более того, оно, это влияние, носит порой совсем не те формы, какими хотелось бы нам их видеть и иметь, – самораспространение среди молодежи, сплошь грамотной, подчеркиваю, сплошь! и часто с вузовским образованием, – ритмически и мелодически бедных танцев и песен, охотно потребляемого чтива с элементами секса и насилия, низкопробных зрелищ, не требующих никакой душевной и умственной затраты на их восприятие (чем дальше, тем вернее подкрепляется это умозаключение).

Из самых древнейших и обескураживающих творений человека – казенный закон; возник он, должно быть, еще до появления письменности, а может быть, даже и мысли, и суть его состоит в том, чтобы кто-то кого-то подминал и заставлял работать, добывать пропитание, защищать его от врагов, – главный, древний и дикий порядок человеческих отношений: кто не работает – тот ест, да и пьет тоже. Трудовому человеку всегда недоставало времени для бродяжничества, если, конечно, был он трудовой, не шалтай-болтай.

Человек с вялым, безвольным сознанием, с отсутствием ответственности за свою и всеобщую жизнь охотно выдумывает Бога и все перекладывает на него, на его «могучие плечи», на него уповает, ему доверяет, и если нет Бога небесного, если он далеко и до него трудно дотянуться, производит земного, доморощенного, и уж молится ему, уповает на него, перекладывает ответственность и т. д. и т. п. И вот уже Стефан Цвейг, умный художник, мужественный гражданин земли, с серьезной и тяжелой иронией пишет, что мы должны быть благодарны любым нашим правителям за то, что они берут груз забот и ответственности за наши судьбы и судьбу государства на себя, недосыпают, недоедают, постоянно живут в напряжении; часто их смещают, да кабы с благодарностью, а то ведь головы отрубают за всякого рода промашки и неумелое угождение народу своему.

И во все времена народ охотно возносил личность – на, красуйся, правь, ораторствуй, сияй! Но история неумолима, она доказала, что когда возносится личность, унижается народ.

Двадцатый век – мчатся машины по земле и по небу; открываются новые материки и планеты; напряженно работает человеческий ум, и творения этого ума поражают воображение самих творцов; кино, телевидение, космические аппараты; человеком покоряются все и всякие пространства, создается искусственный белок, даже искусственный заменитель и осеменитель человека. Совсем недавно, впервые в мире, женщина по имени Радмила Эйс родила двойню, мальчика и девочку – от искусственного осеменения! Моральные и нравственные последствия этого события, как всегда почти пропущенные мимо сознания спешащих куда-то человечеством, невозможно пока и трудно осмыслить – страшные могут быть эти последствия, если найдутся силы создавать и пускать «в дело» изготовленного «по заказу» человека, без роду и племени, с целенаправленным инстинктом и силой, не обремененной никакими обязательствами ни перед кем и ни перед чем.

Впрочем, может, это и будет тот идеальный человек, к которому стремились и стремятся умы «сильных мира сего», кто давно уже добивается повиновения себе ближнего своего и всячески оболванивает себе подобного видимостью любви, притворным братством, казенной заботой о его благополучии, кормит опилками и поит мутным пойлом так называемой культуры, и так настойчиво и давно кормит и поит, что даже сверхусилия титанов земли ничего почти не сдвинули с места в сознании человека. Вот две цифры в подтверждение.

В год на земном шаре расходуется восемьдесят миллиардов долларов на производство

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
алкогольных напитков и двенадцать на производство книг.

Если взять в расчет, что производство книг учтено достаточно полно, то с учетом производства спиртного дело обстоит сложнее, путаней и печальней. Как учесть по пятидесятиmillionной Украине производство горилки? А она шипит и прет почти в каждом уважающем себя дворе и хате, и наши российские садоводы» любители» научились обходить дорогую винополку, используя «дары природы» в производстве браги и самодельного так называемого вина.

Мне как-то довелось быть благостной августовской порой в селе Сокольце, под Винницей, и напротив дома, в котором я квартировал, затеялась свадьба: гостей человек двести, духовой оркестр, столы на два двора, разобрали ограду – чтоб широко было. И пили на этой свадьбе три дня и три ночи. Под конец свадьбы от танцев и буханья оркестрового барабана (уси остальные духовикимолодцы полягали) – осыпались яблони и груши с дерев не только в этом, но и окрестных садах. Два огромных дядька, ряженных под «запорижцев», встречали любого прохожего и проезжающего, «звидкиля б он ни следовал» – с востока на запад или с запада на восток, наливали из жбана кварту (кружку) самогона и заставляли пить до дна (пропуская только школьников – «бо им пока нэ можно»). И я, грешным делом, попал на пути «запорижцев» и, как опытный боец, понял сразу: сопротивление бесполезно. Жажнул ту кварту в «пивлитра» объемом и почувствовал, что раненый на фронте глаз выпрямляется, здоровый же наоборот кривеет.

Во все последующие дни свадьбы и похмелья я перелезал через ограду и попластунски садами обходил веселящихся громадян. От хозяйки узнал, что свадьба очень скромная, водку выставляли только перед, невестой и женихом да родне жинки, «бо вони з Одесы, дужэ вэлыки начальники, зубы вставляють золотые, кому трэба». Все остальные гости, не чувствуя никакого ущемления, бодро глушили самогонку, как глушат ее по всей великой Украине. А где-то на острове Мадагаскаре бродит почти дикое, полуголодное племя, но добывать из лиан дурманящее зелье умеет. В Молдавии цуйку пьют, в Грузии – чачу; не то в Африке, не то в Колумбии есть плоды или грибы, которые ни варить, ни квасить не надо – сожрешь – и на стену, то бишь на дерево полезешь и песни петь начнешь или хохотать примешься...

Да что там Украина, Африка или Америка? У меня на огороде в родном сибирском селе вырос мак-самосевка – нанесло ветром. Вырос, цветет скромненько, осыпается и глазу почти незаметен, ан нет: как только появились маковины на стеблях, завертелись возле моей ограды молодцы вузовского вида, и один из них, в замшевой куртке, вельветовых брючках, с фасонно, как у богдыхана выстриженной бородкой, однажды спросил: нужен или не нужен мне этот мак и если не нужен, то не разрешу ли я ему состричь головки мака? Я говорю, разрешу, но взамен хочу получить информацию – для чего он ему? И он сказал, что из него, из молодого мака, делается опиум. «Нет, – кривенько улыбнулся молодой человек с бородкой богдыхана, уточняя. – До опиума далеко, но какоето подобие его». Снял мак, запихал под куртку и удалился, вежливо меня поблагодарив. И я подумал: не зря боролись за всеобщее образование, и мне поздравить захотелось преподавателей химии моей родной школы и вузов, где обучаются такие вот молодцы. Ведь раньше в нашем селе брагу-то не все умели варить, самогонку гнать не из чего было, а тут гляди че деется! Достижения-то какие!

Смех смехом, но берусь утверждать, что с появлением пусть относительного достатка обнаружилось у нас и уродливые, нездоровые, дремавшие, нам казалось – отмершие, качества: зависть, нахрапистость, жадность. «Когда мы были беднее – жили дружнее» – эта недавно родившаяся поговорка может быть твердо записана в сборники современного фольклора. Как это возможно: за ягодку, взятую с грядки неразумным ребенком, перебить ему спину цепью от лодки? И кто перебилто, кто? Ученый. Бывший декан и даже проректор крупного вуза! Как возможно убить из ружья молодую девушку за горсть черешни, о чем писалось в газетах и говорилось по телевидению. Сейчас в нашем, да и во многих селах идет повальная рубка деревьев: яблонь, боярок, сосенок, елок, всего, что не плодоносит. После войны вернувшиеся с фронта бойцы, затем их дети и внуки, радуясь спасенной жизни на земле, чем могли украшали ее, часто сажали деревца уже те, кто в лес сходить не мог – инвалиды.

Вышел их земной срок, поумирили инвалиды, дети их разъехались в города какие-то хваткие, рукастые граждане из городов скупили дома, поносили гнилушки-построюшки, ссекли все до кустика – чтобы каждый клочок земли «работал,

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

оправдывал себя», чтоб побольше росло «выгодного товара»: редиски, клубники, малины, смородины, помидор – все на базар, на базар и втридорога, втридорога! Нынче в Красноярске стакан кедрового ореха (стакан – это название, на самом деле – стопка) продают за пятьдесят, пока писал книгу стало шестьдесят! копеек, но больше на вес продают – пять-шесть рублей кило грамм, намочив перед этим орехи в кипятке, чтоб тяжелее были. А они, орехи, на старые-то деньги дороже двадцати копеек за стакан прежде не стоили. «Отчего сырой-то?» – спрашиваю у продавца с обветренным лицом леспромхозовского рабочего. «Ты дурак, что ли? – подсказал мне рядом стоявший покупатель, – сырого-то ореха на вес меньше идет. Небось в школе учился?!»

Да, учился, учился, хоть недолго и худо, но учился и запомнил слова: друг, товарищ, гражданин, сам погибай, но товарища выручай. Раздели каждую крошку. Спаси погибающего. В беде и горе едины.

Посмотрели бы хоть раз пристально сами на себя некоторые мои земляки, на собственных «Жигулях» прибывающие в деревню на выходной или на «лоно природы»! Боже мой! Что там тупой окурковский обыватель с его набожностью и пристрастием к жирным блинам?! Качается искусственная обезьянка на резинке; зад машины в радуге ниток, на стекле что-то «по-гишпански аль по-аглицки» написано! За рулем не хозяин, а владыка! Рядом – владычица, надменнопрезрительная ко всему идущему и ползущему, хозяйка, сзади – предки владык: теща или тесть с непримиримо горящим взглядом, выражающим непреклонность: «Да! Добыл! Сам! Вот этим горбом! Вот этими руками! Да! Драл с вас на рынке шкуру! И буду драть! И с меня драли и дерут!» и тут же детки – внучки с бантиками, этакие шаловливые, резвые, но часто уже в детсадовском возрасте понимающие: мое – это мое, и его беречь надо, наше – это наше, им и торгануть можно, выбросить, сломать, поджечь, как тайгу, например...

Какая мораль их ждет? Что двигать будет ими? Примеры? Помыслы? Нравственные начала? Что же там под бантиками организуется? За что же мы боролись-то, друзья-товарищи? За этот вот – не мелко, а мелочно-буржуазный коммунизм с его «собачником»? Пока писал книгу – «собачники» устарели, в моде сейчас «типовые», двух- и трехэтажные сооружения, построенные, разумеется, на зарплату, – на клочке земли, с этой вот ухоженной машиной, ради которой наши советские люди могут вырубить и выкорчевать полтысячи и тысячу деревьев, а то и лечь в могилу, как это случилось года три назад в городе Череповце.

Один человек купил себе «жигуля». Деньги, судя по дальнейшему его роковому поведению, он не украл, не вызудил торгом, копил копейка по копейке, может, даже и в еде себе отказывал. И вот наконец она, долгожданная! Не мать, не жена – оранжевого цвета машина. Говорят, холил он ее долго, промасливал, просолидоливал, воском натирал, чебурашку повесил, радугу сзади изобразил, ободок у колес покрасил, все протер, вылизал – и поехал на Ленинградское шоссе прокатиться. Шоссе это чуть в стороне от Череповца, мало контролируемое, асфальтом, хоть и худым, закатано.

И вот – рок, судьба, недоразумение – как хотите, так и считайте. Через семь верст после череповецкого поворота шибанул в облизанные «жигули» какойто самосвал с заезженным, трудовым обликом и сношенной резиной. Шибанул, отвалил в сторону; шофер редкостной совести и чести оказался, да еще и трезвый. Ныне чаще утекают от пострадавшего водителя-то, а этот бежит к «жигулям» – что и как? Может, помочь надо? И опытным глазом определяет, что не очень уж все и страшно: разбил фару у «жигулей», помял крыло, ну и еще коечто потревожил – рублей триста-четыреста придется платить.

Да черт с ними, с рублями! Главное, человек, хозяин «жигулей», цел и невредим, вылез вон из машины, в рубашке в чистой, в штиблетах, при галстукке, – этакий типичный машиновладелец. Шофер самосвала бездомным кобелишкой вертится вокруг «жигулей», был бы хвост, так и хвостом вилял бы, бывает, мол, все бывает в жизни. Резина, понимаешь, лысая, так-то он разве б позволил? Да у него опыт. Замечаний по работе нету и чтоб за рулем выпить – ни-ни. Вот сейчас припрет ГАИ с «рапортом» – он дыхнет, и все убедятся. Да что он, дурак, что ли, чтоб при такой работе, да на таком шоссе, да при такой резине...

Хозяин «жигулей» все молчит и молчит. Ходит вокруг поврежденной машины и молчит. И когда примчались ГАИ да медицинская машина, да собрался разный народ, про хозяина как-то подзабыли, меряли, выпрашивали, записывали, истину устанавливали – хватились: нет хозяина. Ну, документы в машине, адрес есть, сели, поехали в



Череповец.

Нашли: висит в собственном свежепокрашенном гаражике на перекладине, теплый еще висит, но уже не живой.

Вот до чего, оказывается, можно дойти! Вот они, страсти-то современные! Это вам не «три карты»! Это, братцы, стрессовое состояние, в какое попал Акакий Акакиевич, тот самый, с которого шинель сблочили и он не пережил страшной утраты.

Это какие же революционные, социальные и прочие бури пронесли над бедным гоголевским чиновником, чтоб он из шинели да прямо в «жигули»? Чтобы до такой вот формы «протеста» возвысился: из-за личной машины – в петлю! Нет, мы все же недооцениваем, и очень часто недооцениваем, достигнутого и не умеем – правильно утверждают наши идейные наставники и критика наша – ох, как не умеем видеть социальные сдвиги в сознании современного человека. Вот пятеросемеро молодцов, в школе учившихся, пионерские галстуки носивших, случается, и с комсомольским значком на борту замшевой или кожаной курточки, наваливаются на старика-инвалида, истопчут его до смерти или истычут ножами, а на вопрос: «Зачем вы это сделали?» – лупят глаза: «Не знаем». А какой-то студент Раскольников извелся, угрожав топором вредную старуху-процентщицу, эксплуатировавшую бедняков. В себе ведь копался, до сумасшествия себя довел, да и невесту тоже. Было бы из-за чего?! Главное: на допросах раскололся. Ээх, туха!

«Вам предстоит самое главное и, быть может, самое тяжкое – испытание вещами! Я не уверен, что вы его выдержите», – говорит бойкоязыкий и язвительный журналист нашему писателю Никитину в романе Ю. Бондарева «Берег».

Плохо, часто некрасиво, на уровне злого окурковского обывателя, а то и похеренного, уничтоженного словесно и физически деревенского кулака мы выдерживаем это испытание – слишком много золота на лицах и руках, особенно у торговых работников; оно обратно пропорционально количеству товаров на прилавке: чем больше золота у продавца, тем скромнее перед ним прилавок, бывает и вовсе пуст; слишком аляповаты, невкусны и дороги тряпки, слишком велика погоня за благами, любой ценой, любыми способами – увы-увы! буржуазный журналист Дитц знал, что говорил, – он и его общество прошли через подобное «испытание», они сейчас уже дальше находятся. Я сам видел молодую буржуйку в стоптанных башмаках, потертом пальто и растрепанном полушалке, на кисти руки которой небрежно болталась змейка с жемчужными глазами и какими-то блестками по хребту, – по определению моего переводчика, змейка стоила сто или двести тысяч долларов!

У нас уже есть желающие иметь таковую змейку и добиваются возможности завладеть ею, пути же к такой змейке не совсем проторенные, одни только пути – обходные, бесчестные, змеиные, подлые.

Никто почему-то не учит у нас вкусу, и много поучают, нудно, привычно, по старому и совсем уж одряхлевшему рецепту: воровать нехорошо, жить надо честно, праведно, уважать старших; но сами наставники и моралисты чаще всего и воруют больше других, и жрут из отдельного корыта, начисто отменяя ту мораль, коей пичкают людей с общественной трибуны. Ворюга, требующий честности от других, – это давнее, но не отжившее приобретение человечества в наши дни, бодро воспрянувший на нашей новой ниве. И ему, ворюге, позарез нужны честные люди, отряды честных и порядочных людей, высокая мораль, за которой он мог бы укрыться, как за крашеным забором, иначе, будучи вором среди воров, он с голоду подохнет и воспитывать ему будет некого.

Сейчас меньше дерутся, чем дрались, допустим, мы в детстве и юности: один на один, шайка на шайку – думаю, не от смирения нравов – от трусости, но знаю, сейчас больше бьют исподтишка, бьют жестоко, увечно, насмерть, артельно одного, напавши сзади, – это ли не трусость, не подлость?! И что же мы возмутились, поднялись, изничтожили молодых, озверелых от вина и паскудства гаденышей?

Нет! Во всех городах, где я бывал и где встречался с подобными «храбрецами», они чувствуют себя вольготно и, увы, нередко безнаказанно и, только попавши в колонию, смиряются, выходят в «ударники», являются «образцовыми заключенными», учатся ремеслу, посещают вечерние школы и вскоре попадают в сословие условно освобожденных.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

На воле же молодцов увещевают с помощью радио, телевидения, газет. Вот недавно смотрел я по красноярскому телевидению передачу «02». Уравновешенно приборанный человек в чине полковника вел эту передачу, и было в его словах столько умиротворенности, отеческого чувства, если не благодущия, – и как-то не верилось, что Красноярск был и остается одним из самых неблагополучных городов в стране по части покоя граждан. Исчезла вроде бы и Закачинская слобода, но шпана закачинская с неизменившимся обликом, сменив лишь телогрейку на нейлоновую куртку, все еще скорочет зубами в общественных местах, замахивается и бьет бутылками по голове негодных ей граждан, «балует» от веку ей привычным «струментом» – ножиком, и что ей тюрьма, колония – привычное прибежище и только. Главное для образцово-показательного зэка «выбиться в химию», то есть по существу стать вольным поселенцем и работать, как и все, советские граждане работают, только что-то там с него высчитывают в пользу казны, какой-то там существует конвой, режим дня, точнее, видимость того и другого. Снова «химик» живет в хвое удовольствия, терроризируя целые микрорайоны, кварталы, а то и города, отравляя население, особенно молодое, крайней моралью: все дозволено – живи воровством, обманом, видимостью труда до следующего преступления – убийства, насилия, грабежа.

Если бы хоть кто-нибудь взял труд посчитать, во что обходится нам один «химик» и вся эта «химия», без которой иные хозяйственники уж ни жизни, ни деятельности не мыслят. Даже не обладая математическими способностями, я могу сказать уверенно: 1+1! То есть один «химик» и одна загубленная жизнь случайного прохожего, чаще всего женщины, дитя, то есть гибель, растление, наплевательское отношение к жизни и смерти, тревога в обществе – что дальше? Ведь некоторые «химики» уже отработали по пять – семь сроков! Это сколько же слез, крови пролито? Сколько судеб сломано? Воистину мир еще не знал и едва ли узнает более «мудрый» и «простой» способ пополнения рабочего класса – чем больше головорезов, грабителей, убийц и воров, тем легче с «рабочими руками», тем скорее разворачиваются и воздвигаются «наши стройки», обернутые в застенчивую колючку и в паутину проволоки, над которыми тупо возвышаются сторожевые вышки и гулко гавкают псы, наевшись того мяса, коего недостает не только рабочим и крестьянам, но и детям в детских садах.

Не раз бывая в судах и видя, как судья, общественный обвинитель, адвокат, пара охранников, секретарша и всякий другой штат «пасут» одного преступника, невольно я думал, что Богу им надо денно и ночью молиться на него. Ведь сгинь, исчезни преступник и преступления – всей этой челяди придется заниматься воистину полезным трудом, может быть, даже в деревню возвратиться надо будет и растить хлеб, овощи, производить молоко, мясо, опустившись с вершин надменно-повелевающего кресла на низкую скамейку доярки.

Я пока не видел, чтобы хоть один судья добровольно сдал свой пост и уехал в родную деревню, на «простую» работу, как не видел и не встречал ни одного руководителя, который бы выложил партбилет на стол и заявил, что он с этой работой не справляется, просит назначить его на другую, по уму его и при званию, – цари, «не справлявшиеся с работой» и отрекшиеся от престола, вспоминаются ныне только в анекдотах, зато старая истина, что не было бы преступников, не было б и палачей – подвергается большому сомнению и справедливо трактуется даже наоборот; вообще время наше многие казалось бы еще недавно незыблемые истины все более и более перетряхивает, как старую одежду, пыльную, битую молью лжи, обмана. Недоверие стало главным бичующим и в то же время врачующим правилом, может быть, и пороком нашего противоречивого времени.

Нельзя сказать, что литература наша «не заметила» и «не отразила» натиск хулиганства, бандитизма и нахрап частнособственника, на глазах производящий стремительное стирание граней между обывателем дореволюционным и нынешним, но делает она это заторможенно, лениво, часто подменяя понятия морали и духовные потребности любованием современным бытом обывателя, похлопыванием его по плечу, иногда легким зубоскальством, чаще же всего уводом и его, и себя от повседневности быта в сферы «небесные», заумные, далекие от бед и нужд собственного народа и страны.

Как старый и дошлый газетчик, я с точностью могу сказать, что есть в стране не только сегодня, но как будет завтра. Если в газетах замелькали пространные сообщения о конкурсах балетных и музыкальных, если целые полосы сверстаны из материалов об отдыхе трудящихся, спорте, туризме, альпинизме и призывах сдавать нормы ГТО – значит, задействовал «громоотвод».

Так в шестидесятых годах родился знаменитый анекдот «Си-бемоль». Родился он якобы в Свердловске, но мог явиться свету и в любом другом городе. В магазинах тогда было шаром покати, а в газетах сплошные речи Хрущева с бодренькими словами:

«Живем хорошо!» и обещаниями скорого коммунизма (все сроки построения коммунизма, определенные покойным вождем-говорунном, давно вышли, мы этого както и «не заметили»).

Так вот, в Свердловске приезжим людям можно было поесть только в одном месте – в ресторане гостиницы «Центральная» – соленую треску с луком. Жажущих трески было много, столов мало, кухня одна. Часик, бывало, просидишь, пока исполнится мечта о треске. И вот, значит, сидят два гражданина за столом, жаждя разблюдовки, один вилку крутит, другой газету читает. В газете целые развороты о первом конкурсе имени Чайковского и такой ли тра-ра-рам, Ван Клиберн в профиль и анфас, Ван Клиберн за роялем и в обнимку с восторженными советскими слушателями; скрипач Климов со скрипкой и без нее; знаменитости, знаменитости, знаменитости! И вот тот, который читал газету в Свердловске, вдруг спрашивает у того, который вилку крутил: «Гражданин, вы не знаете, что такое си-бемоль?» И яростно ответил гражданин с вилкой: «С-суки! В стране мяса нет, а вы..... сь!»

Так вот, сейчас одна за другой появились книги, романы, повести с этим самым «си-бемоль», где есть все: и рассуждения об искусстве, и аристократический антураж, и космические взлеты в запредельность, чаще же всего – в самую заурядную заумь духовной напряженности, и некая размягченность морали и мускула от переизбытка и пресыщенности. В то время, пока писатели толкут гулким пестом в литературной ступе, наяву, на глазах наших уходит повседневное и так необходимое в быту высокоорганизованного и сознательного существа, каким себя считает человек, творчество. Все эти нейлоны, поролонки, кождезаменители, водолазки, колготки – которые не всем и «к лицу», зато их не надо ни чинить, ни гладить, иные, по дешевизне, и стирать не надо, все эти машины, облегчающие быт; столовые, где невкусно кормят; бассейны, где гомозом купаются аллергические дети; парки, где стадом гуляют, стадионы, где толпой, кучей одни бегают, другие «болеют, спуская пары», моторки, корабли, «метеоры», «ракеты», многолюдные лайнеры, колоссальные магазины, дымные и шумные рестораны, санатории, дома отдыха – все-все, не говоря уж о казармах, больницах, тюрьмах, лагерях, – все-все словно бы специально создано для того, чтобы сгрудить, случить людей, сделать их массой, масса же всегда безлика, всегда она – стадо, стадно питающееся, стадно поддающееся движению, бегству, поклонению богам, неосознанному страху. В стаде идут туда, куда ведут, в стаде не обязательно думать о своих поступках и делах, да и не может быть их в стаде, поступков-то.

Никогда еще, никогда не был человек так несвободен и обезличен, как в двадцатом веке, в особенности в наши дни, на исходе века. Никогда еще не наваливалась на человека и так уверенно не завладевала им массовая культура, которая одолевала и одолевает его всегда во времена смутные, бедственные, тяжкие. Она, массовая культура, как окопная вошь, что грызет тело, но подтачивает душу: кино, телевизор, приемник, танцплощадка, спортзал, лекторское заведение – все-все создается для того, чтобы человек вкушал, что ему дают, учился тому, что вдалбливают в детских учреждениях, в школах, в вузах, в училищах: раб времени, раб машин, раб обстоятельств, не умеющий распорядиться собой, даже если б захотел, человек наших дней уже не говорит, он визжит о своей свободе. Но счастье и свобода, по заверениям мудрого русского классика, как здоровье – если их не замечаешь, стало быть, они есть, стало быть, и орать о них незачем. Правда, мутные времена мутят и самые вечные истины, толкуют их вкривь и вкось, смешивая черное с белым, и достигается таким образом какая-то мутная, скорее химическая, но не нравственная истина. И обескураженный, замороженный, по выражению Александра Николаевича, современный поэт ошарашенно восклицает: «Счастье! Сколько видов у счастья! Одним – это слава, муки творца, другим – сердцами на доты бросаться, третьим – расстреливать эти сердца».

Поэт этот не был на войне, не успел, но я могу его и всех его сверстников заверить, что на доты бросаться, умирать за Родину и свой народ – это печальная, пусть и понятная необходимость, но никакое не счастье.

Как все-таки надо свихнуть мозги людям, засорить их, чтобы не слышать кощунства в таких вот рассуждениях о том же самом счастье или идеалах, идейности,

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
искренности, истине, свободе.

Не потеха ли?! Существо, которое не может вольно перейти улицу, только по указке палочкой, по намеченному переходу, тротуару, дорожке, иначе его попросту задавят; существо, отправляющееся на работу и с работы по часам, по часам и в срок служить, справлять нужду, любить, страдать; существо, потерявшее ориентацию, заблудившееся, неосознанно смешивает чувства, понятия, вопросы нравственности. Я встречал людей, которые совершенно уверены, что в том, как они живут – и есть истинная свобода, иначе и свободней никто-никто и никогда не жил и жить не будет, – они подобны тем народцам, которые от рождения не едали молока и масла, считают, что и есть такой харч ни к чему, что баловство это и излишество. Правда, весом-то они тридцать килограммов вместе с башмаками и ружьями, умственные и физические возможности их настолько ограничены, что они по уровню развития снова приближаются к обезьянам, только воли гораздо меньше у них, чем у обезьян, делающих что им вздумается и живущих как им хочется.

Думаю, что свобода современного человека, которой он так кичится, вполне может быть смоделирована со свободой зоопарка и зверинца – там ведь, с точки зрения того же крикливого существа, именующего себя свободным человеком, зверям и птицам даже лучше, чем в лесу, в горах и в воде. Там их охраняют, кормят и даже способствуют размножению, только все это делается по указке сторожей и дрессировщиков, все достигается подачкой и кнутом.

Думаю, что «феномен», происшедший в нашей литературе и оказавший огромное влияние на смежные искусства и даже на некоторые умы, так называемая «деревенская проза», – это последний вскрик той творческой индивидуальности, которая была заложена в нашем русском народе, но так до конца и не реализованная из-за войн, бесправия, самодурства самодержцев и вождей, по нашей воле плодящихся и с нашей помощью превращающихся в культ личности.

Я не раз бывал в покинутых деревнях, заходил в разоренные дома, и, скажу по правде, ощущения во мне были почти такие же, если не более трагичные, чем на поле боя после разгрома корсунь-шевченковской группировки, когда из-за трупов и военной техники не было видно земли, она вся была ими завалена. В домах этих уже побывали городские браконьеры, охотники за иконами и «экзотическими» изделиями деревенских умельцев. Еще и еще раз я поражался тому, как много должен был уметь крестьянин: срубить, утеплить, украсить жилище, обеспечить себя орудиями труда, уметь обходиться со скотиной и тяглом, знать погоду и причуды природы, быть хорошим воспитателем, борцом и творцом, дипломатом и хитрецом, хорошим мужем, хозяином, отцом, родичем, достойным членом деревенского общества и так далее. Он, крестьянин, был всегда занят, всегда в заботах и работах, это потом, не сами крестьяне, а те, кто «радеть» будет за них и «освободят» их, назовут жизнь крестьянина кабалой и освободят от кабалы...

Так вот, что же это мы, вчерашние крестьяне, освободившиеся «от кабалы», вдруг затосковали о прошлом, запели, заныли, заголосили о родном уголке, о сельском мире? Мы ж свободны! Достали справочки и мотанули из села, от коллективного труда, дали взятку местным властям за побег в город, не вернулись из армии иль из заключения в отчий дом, словом, правдами, чаще неправдами сменившие одно крепостное право на другое, на все сжигающую и пожирающую кабалу прогресса, после деревенского «рая» кажущегося пределом сбывшихся мечтаний и надежд. Отбарабанил свою рабочую смену – и хоть трава не расти. Правда, «свободу» эту мы не знаем, куда девать, оказались неподготовленными к ней и ударились в разгул, в пьянство, ухватились за то, что близко лежит и без труда дается, – жуём солому (так бы я назвал массовую культуру), да еще и облизываемся.

А ведь было, было! – твердит память. Поле надо вспахать, урожай вырастить, детей поднять, скотину сберечь и желательно поголовье приумножить, потому и трудились, и думали о труде, только о труде, потом уж о праздниках, и песни слагали, и сказки, и пословицы о нем, о труде.

Чтобы рубаху сшить, надо лен вырастить, истрепать его, вычесать, потом нитки спрясть, желательно потоньше, потом полотно соткать, потом его раскроить, потом иголкой сшить, да так, чтоб шовчик тело не тер, не пилит, потом узор вышить на рубахе, пусть и в одну или в две нитки, но если с любовью, то и о две нитки узор выйдет – глаз не оторвешь...

Чтобы обутки сшить, надо скотину вырастить, затем ее забить, ободрать, шкуру

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
выделать, шерсть в дело пустить, кожу на раскрой, на сапожки, под каблук берестинку подложить – сухо и скрип на всю деревню.

А чтобы урожай вырастить, огородину выхолить, сено наготовить, избу поставить – ох как много надо уметь, знать, стараться!..

Если хвастает ребенок передо отцом и матерью, то хвастает трудами своими, плодами своих трудов – хитро вырезанной чечей – игрушкой, сшитым платьицем для куклы, загнутыми санками, сколоченными грабельками, склепанным стулом, ровно застекленной рамой. Сосед перед соседом выхвалялся не количеством опорожненных бутылок из-под бормотухи – резными наличниками на избе, рамой желобочной, кошевкой гнутой, упряжью в бляхах, уздечкой наборной, лошадью проворной, ловкими руками, сноровкой, силушкой. А чтоб сила была, надо было хорошо кушать, чтобы кушать – старших слушать...

Даже веревку, чтобы удавиться, надо было вытрепать из конопля; соткать ее на своедельном станке, прогнать в «колибер» и смазать маслом или просмолить; оттого и давились редко, и жили долго – некогда было умирать крестьянину...

И пусть спорят со мной, пусть мне доказывают насчет крестьянского житьябытья, его примитивного искусства нынешние «свободные» пролетарьи, и я им укажу на самое массовое искусство из всех искусств – кино. Что же оно так быстро выродилось-то? Что же оно занимается самопожиранием, агонизируя на наших глазах в грязи, пошлости, разврате, и зачем же, зачем же все-таки, презирающие мужицкий быт, его наземный дух, примитивное искусство, быт и нравы, зачем же шаритесь вы, веселые и беззаботные горожане, в покинутых избах ваших дедов и тащите в городские квартиры скалки, лапти, прялки, Божьи лики, изображенные на толстых досках, самовары-самопалы, подсвечники, братины? В модернизированных квартирах забиваете пластиковые стены неструганными досками, прете в кухни деревянные скамьи?

Зачем? Почему? Неужто лишь ради забавы? Ах, если б это было так, то и говорить бы не о чем было. Но, может, память болит, может, из этой самой «свободной» жизни тянет в ту «кабальную» крестьянскую жизнь подсознательно, не умом, а самым чутким инструментом, название которому – сердце? Может, qepdve-то наше там и осталось, и оттого мы так бессердечны, так равнодушны ко всем и ко всему в этом чужом нам городе, в чужих холодных стенах, может, нам становится дороже та наша сельская несвобода, то наше трудовое и вечное житье?

Недавно в одной полуразвалившейся вологодской деревушке последний здесь мужик, умеющий сделать топориче, наточить ножи и инструменты, подковать лошадь, застеклить окна, сметать стог, загородить городьбу, управлять конной сенокосилкой и самими лошадьми управляться, принять роды у коровы, сбить печь, срубить баню, продолбить прорубь, выкопать колодец, «заговорить зубы» и остановить кровь, предсказав погоду, обмануть колхозное начальство, если потребуется, то и районное, – мужик этот, прошедший войну и все наши преобразования, показывая на одичавшие вокруг поля, лес и опустевшие деревни, убежденно и горестно сказал:

– Еще придут. Целину поднимать сюда придут. Жрать-то чего-то надо будет. И снова станут героически преодолевать трудности, жить в палатках, рубить бараки и временки, корчевать кустарники на заросших пашнях, вырубать леса, осушать болота... При-иду-ут, никуда не денутся. От земли не уйдешь!

Дорогой Виктор Петрович!

Человек предполагает, а издательство располагает. Я очень собирался к Вам в августе, но издательство требует, чтобы в начале сентября я сдал доработанную книгу, с которой у меня приключился казус, Я свалил в нее кучу статей, из которых, как мне показалось, получается книга о трех поколениях, и назвал ее «Поколения и судьбы». Так она попала в план. Статьи-то были, но уж очень разноликие, особенно о первом поколении – об Инбер путная статья, о Шолохове – газетная, юбилейная, о Бедном – вообще экстракт из моей же книжки, сделанный для «Знамени» осторожными руками Л. И. Скорино. Мне-то показалось очень остроумным такое сочетание – пролетариат, крестьянство, интеллигенция, а когда прочел статьи, вижу: об интеллигенции сносно, о крестьянстве – один восторг, а о пролетариате – великая сушь. И надо переписывать заново. А тут еще, как назло,

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

погода волшебная, в голову ни одной мысли не лезет, до смерти хочется на реку. Честно высиживал с семи до часу, даже скорее отсиживал, думая об одном, кабы скорее вторая половина дня и можно бежать за подушками клюют в это лето почему-то одни подусты. И очень хотелось бы вырваться к Вам. Но вряд ли это удастся раньше второй половины сентября, а тогда небось поздно будет?

Я даже не ответил Вам на то письмо, где Вы писали о тех, что «во глубине России». Кое-что почитываю. Идеи я этой не бросил и очень прошу Вас, как только выйдут «Сиб. огни» – пришлите мне, здесь, в Тарусе, где я их раздобуду. Если нужно, я потом верну эти номера. Я очень нуждаюсь в том, чтобы с Вами повидаться, очень.

Мои низко Вам кланяются и Вашей семье.

Ваш А. Макаров.

Я написал Александру Николаевичу письмо, в котором обращал внимание на тех писателей, живущих на периферии, о которых, на мой взгляд, стоило бы поговорить глубоко, дабы «открыть» их для широко читающей публики, да и для критики тоже. В письме, помнится, я называл Евгения Носова, Юрия Гончарова, Константина Воробьева, Василия Шукшина, Ивана Паныкина, Владимира Сапожникова, Василия Белова, Виктора Лихоносова, Анатолия Ткаченко, Николая Жернакова, Аскольда Якубовского, Анатолия Знаменского, Виктора Потанина, Юрия Куранова, Леонида Пасенюка, Станислава Мелешина и еще поэтов: Алексея Прасолова, Сергея Викулова, Александра Романова, Алексея Решетова, Леонида Решетникова, Михаила Асламова, Романа Солнцева, Михаила Воронежского. Список получился довольно внушительный, и Александр Николаевич посулился приехать еще и потому скорее на Урал, чтобы подробно поговорить обо всех перечисленных мною писателях, об их книгах, которые я знал и которые мог порекомендовать для прочтения.

«Вы тут насуете мне своих дружков-приятелей! До конца дней с ними не рассчитаться! – посмеивался он. И уже серьезно добавлял: – А вообще-то это бесхозяйственность, безобразие! Такая серьезная литература вызревает в провинции, а мы на нее глазки закрываем! Да что глазки?! Не знаем ни черта, и я не знал бы, кабы не Вы...»

Понимая, сколь важное значение имеет попытка сделать такую большую и нужную работу, я всячески подбивал на нее Александра Николаевича, посылал и привозил ему книги и сам старался прочесть как можно больше книг своих периферийных товарищей, сокурсников по ВЛК и просто очно или заочно знакомых, почти неизвестных в ту пору писателей, как тот же Анатолий Ткаченко или Виктор Потанин.

Наконец из Москвы пришло сообщение: приезжаем тогда-то. Я жену под бок и скорее в деревню – подготовиться, подстрелить рябчиков, наловить рыбки, угоить избу. Дома строго-настрога наказываю дочери встретить Макаровых выглядят они так-то, одеты в то-то, прилетят тогда-то.

И хоть дочь выросла в, слава богу, не залитературенной, но все же в литературной семье, с нею произошел тот же казус, который мог произойти с любым человеком, имеющим стереотипное представление об артистах, писателях, тем более о критиках, да еще о критике столь известном (папа не в счет, папа – он просто папа, и только иногда, во дни торжеств или недоразумений писатель). Вот дочь и ожидала, что из самолета вывалится этакий двухметровый громила, с тростью, в шляпе, в каком-нибудь манто и обязательно со вставными железными зубами. А уж жена у него – и вовсе воображению не поддающееся создание. И по этой самой причине она ни малейшего внимания не обратила на невысокого, мулатски смуглого человека, одетого, если издали смотреть, в солдатский бушлат, в кепчонку, довольно поношенную, и на его усталую, радиобеседами, домашними делами и перелетом измученную жену. Сделать объявление по радио у дочери толку не хватило и, потолкавшись в аэропорту, она ринулась домой, куда через полчаса, раздраженные, готовые все бросить и вернуться обратно в столицу, ввалились намотавшиеся по городу супруги Макаровы.

На пароход они в тот день опоздали, ночевали у нас. Дочь, исправляя свою оплошность, угощала их и занимала, и в конце концов они вдосталь насмеялись и над собой, и над нею тоже. А назавтра тепленьким, синим вечером я встречал парходик местной линии «Урал», еще издали увидел на носу стоящих, подзатерявшихся в толпе супругов Макаровых и сына моего с котомкой. Критик

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

пытался напустить на лицо сердитое выражение, но мой кобелишка по имени Спирька так лаял и рыдал, приветствуя пароход и всех людей, сходящих с него по гибельно крутому трапу, что не выдержал суровый критик, и когда Спирька прыгнул на него и начал рвать когтями пуговицы на бушлате, как у ближней, самой дорогой родни, вовсе растаял.

Спирьке за преданность и требовалось-то всего ничего – кусочек сахара, сушка, пряник – он ничем не моргал и всякой подачке был рад и, получив просимое, еще долго, пока мы шли в гору, угадав сентиментальные души приезжих людей, возвращался с полей и уже грязными лапами пытался поцарапать им животы, и все попискивал и гавкал, выражая чувство восторга и самой что ни на есть активной приветливости.

Долго мы сидели в ту ночь за столом у керосиновой лампы, когда выгорел керосин, зажгли свечи – и не было конца разговорам и воспоминаниям. Как-то так уж получилось, что никто почти не касался литературных тем и, отправляясь спать, Александр Николаевич удивленно произнес:

– Да как же это возможно?! Сидеть в деревенской избе, есть рябчиков, рыбный пирог, пить чай с душицей, есть рябиновое варенье и не говорить про литературу?! Не-ет, товарищи, так не бывает! Это все неправда. Я и не поверю до тех пор в реальность происходящего, пока не попаду на речку с удочкой...

Он еще долго не унимался, ворочался на раскладушке и в полной уж темноте читал и читал стихи.

Как он знал поэзию! Мне кажется, всю, какую возможно знать читающему человеку. Без разбора, в перескок: ранний Прокофьев и тут же Твардовский, Ахматова, и Гумилев, и Клюев, и Брюсов, и Есенин, и Тихонов, и Луговской, и Павел Васильев, и Кедрин, и что-то из Гете, и тут же озорные вольные ваганты; древние англичане, и Дант, и Петрарка.

– Сашенька! Да спи ты, спи! Устал ведь... – увещевала его жена. А он:

– Вик Петрович! Марья Семеновна! Я вам еще не надоел?

– Да что вы! – пискнет Марья Семеновна, устряпавшаяся у печи и по дому. Я могу слушать сколько угодно. Вот только вы-то...

– Ну, еще Блока! Без Блока невозможно!..

И Александр Николаевич читал Блока, много читал, хорошо. Он его читал всегда и охотно и, узнав, что я, да и Марья Семеновна, плоховато знаем этого прекрасного поэта, подписал благодарному слушателю – Марье Семеновне его двухтомник, который мы и храним до сих пор пуще глаза.

Уж наутре угомонились мы и поднялись поздно, когда деревушка Быковка жила своей, хотя и неходкой, но полной жизнью.

На речку рыбачить мы в этот день не пошли, а сходили за грибами за ближние, местами еще не убранные поля. Я нет-нет да и отдалялся от гостей, супружница же моя так и таскалась весь день за Александром Николаевичем, слушала его и наслушаться не могла. А он, найдя благодарного и терпеливого слушателя, ошеломлял ее, и она, уже знавшая о феноменальной памяти моего друга, все равно потрясена и долго еще твердила, да и по сию пору твердит:

– Такого человека, с такой памятью, с таким знанием поэзии и всякой всячины не встречала и едва ли еще когда встречу.

Я тоже не встречал и едва ли встречу, хотя до Александра Николаевича знал своего школьного учителя, затем сибирского поэта Игнатия Рождественского, который в трезвом, особенно же в нетрезвом виде мог читать стихи сутками. Зажмурит близорукие глаза, откинется на спинку стула и, чуть дирижируя себе левой рукой, шпарит, совершенно не интересуясь – слушают его или нет, да и читал он ровно бы для себя, неразборчиво и даже будто сердито.

Александр Николаевич кроме самих стихов знал еще много доступного и недоступного о самих творцах, кроме того, знал: когда построена пирамида Хеопса, в каком году

Астафьев Виктор Зрячий посох stafeyvictor.ru

кто и где царствовал, где или когда упал тот или иной зарегистрированный метеорит, когда изобретена печатная машина и кто был в любовниках у императрицы Екатерины Второй, а также кто учил Рембрандта живописи и что крикнули моряки, увидев берег Америки; когда произошло первое крещение на Руси и кто защищал тот или иной редут при обороне Севастополя; мимоходом где-то и когда-то прочитанные трогательные и наивные надписи на могильных плитах, и часто повторял: «Ах ты, матушки мои!» Позднее я узнал от него же, что эта строчка из стихотворения Демьяна Бедного, поэзию которого Александр Николаевич знал довольно хорошо, ценил ее за народность, что не мешало ему насмешливо относиться к торопливым, неряшливым творениям старейшего советского поэта и в особенности к тому, как он тужился выглядеть солидным литературным вождем и как это нелепо, порой и трагично оборачивалось для него самого, а значит, и для окружающих.

Во время обороны Одессы издавалась газета для войска, героически обороняющего город, и последнее время эта газета печаталась в Москве, откуда самолетом доставлялась в Одессу. Живучи далеко от Черного моря и худо себе представляя, что там творится, старый поэт тем не менее считал возможным поддержать советских моряков и бойцов стихами, в которых были строки: «Всех румын переколотим, ах ты, матушки мои! Всех фашистов в море сбросим, ах вы, батюшки мои!»

Пока газету доставляли к морю, Одесса была сдана, газета с этими бодрыми стихами досталась румынам, и они, рассказывал Александр Николаевич, потешаясь, читали их по всему городу. Сам Александр Николаевич всю войну работал в журнале «Краснофлотец», там-то и узнал эту историю, и чего в ней прибавил для смеха, мне уже не узнать, но восклицание: «Ах ты, матушки мои!» – неизменно звучало и в быту, и по телефону в доме Макаровых.

По литературной Москве одно время ходил веселый анекдот о том, как Александр Николаевич насмерть разбил одного воинствующего графомана из бывших «сильных мира сего».

Сотрудники журнала «Знамя» долго не могли втолковать графоману, что нет у него данных для поэзии, что стихи он писать не умеет. Но толковали неубедительно, робко, и графоман осаждал «Знамя» все настойчивей, пока его не сплывили к замредактора Макарову.

Прочитавши добросовестно целые «портянки» стихов, Александр Николаевич заинтересовался: «Можно начистоту?» – «Дуйте!» – разрешил графоман. «Это рифмоплетство. Такие стихи можно писать сколько угодно». Гость поймал Макарова на слове: «Вот и напишите!» – «Пожалуйста!» – ответил Александр Николаевич и взял несколько листков бумаги. «Только тему я сам придумаю», наседал графоман. «Это еще даже лучше и проще». Эх, не знал графоман, что за отсутствием материалов и авторов в журнале «Краснофлотец» приходилось порой Макарову делать журнал от корки до корки, писать и передовицы, и рассказы, и стихи.

Графоман барственно указал заму главного редактора в окно, выходящее в узкую щель Гнездииковского переулка, и потребовал описать стихами то, что видно.

Через полчаса в руках графомана было три страницы стихов, написанных к тому же в форме сонетов. Графоман прочел, и дух у него занялся: «И вы!.. И вы такие стихи не печатаете?!» – «Да боже меня упаси!..»

Графоман забрал свои бумаги, надел каракулевую папаху, удалился, и более его ни в одной редакции не видели.

Мне порой хотелось приподнять кепку на совсем необъемистой голове Александра Николаевича и заглянуть под нее – что там? Как устроено-то? По каким таким чертежам и законам? А под кепкой была обыкновенная чернявая голова, уже круто присоленная сединой, голова, приставленная к совсем не богатырскому телу, но в теле этом (мне не раз предстоит еще убедиться) – крепкие духовные устои, сильный мускул нравственности, чистое, хотя и страдающее сердце – от непонимания или бессилия и невозможности жить и работать так, как хотелось бы самому художнику.

Назавтра мы наконец-то выбрались на рыбалку. Нет, пожалуй, не выбрались ведь выбираются из города: сперва на автобусе, затем на электричке, затем на пароходе или «ракете», затем еще на чем-нибудь, после пешком километра тричетыре, и-о, блаженство! О счастье! Слава Создателю! – можно и удочку в воду закинуть.



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

В Быковке рыбалка начиналась за огородом, прямо от нашей бани, которая стояла в углу огорода, на склоне холма. К этой поре, правда, харюзка в речке Быковке осталось мало, и Борис Никандрович Назаровский, старый просмешник, как-то, хлебая уху в нашей избе, сказал, показывая ложкой в окно:

– Со временем на этой избушке появится мемориальная доска следующего содержания: «В речке Быковке водилась редкостная рыба – хариус, последнего из которых выловил живший в этом доме защитник природы Астафьев».

Но смех смехом, а водохранилище нарушило нерестилища хариуса. Осенью его, хариуса, скапливающегося в ямках и не знающего, куда катиться, нещадно выбивали, загоняли в саки, да еще явились с какой-то химией «рыбаки». Хариус из тех рыб, что от любой ядовитой примеси может задохнуться на всем протяжении речки и даже реки, как это случилось в вологодской реке Кубене. Кроме того, не имея возможности уйти в глубокие водоемы и оставаясь в мелких речках зимовать, хариус задыхался от толстых наледей, примерзал ко дну, придавленный льдом, если и сохранялся на ямках, жадно брал на любую приманку с голодухи, и его, бесхитростного, выдергивали зимней удочкой от мала до велика.

Наловил я тогда на ушку хариусов. У нас с женою было в верховьях речки постоянное кострище, и мы иногда после города или трудов праведных позволяли себе «выходной» – уходили на целый день в лес, на речку, и пока я шарился по кустам, ловчась наловить хариусов в недоступных омутках и перекатах, жена разжигляла костер, чистила картошку для ухи. И на этот раз мужчины занимались добычей, женщины калякали да двигались вверх по речке, к кострищу. Александру Николаевичу никак не удавалось поймать харюзку, и он все поругивался: «Ат, каналья! Изловлю ж я тебя, изловлю!..»

Речку я знал до последнего камешка и кустика, знал и рыбный омут, где подмытая ива упала вершиной в воду, но не умерла, а еще пышнее, гуще сделалась, и речка, огибая ее и проросшие со дна побеги, сделала большой крюк, вымыла яму в песке и гальке – и тут всегда, даже в зимнюю пору, стояла стайка хариусов. И под другим бережком клубилась красноватая полоска мути там, в затени, беззвучно втекал в Быковку ключик-кипун, в верховьях кипуна трудились бобры, делая запасную потаенную плотину. Появилась на Быковке семья бобров всего два-три года назад, но понастроила уже много.

– Попробуйте-ка здесь, – посоветовал я гостю, и он, присев под зонтики пышно цветущих медвежьих пучек, меж карандашно заструганных резцами бобров осиновых пеньков, забросил удочку, и через минуту я услышал восторженный возглас:

– Пойма-а-ал! Пойма-а-а-ал-таки! Знай нас, калязинских!

Харюзок ему попался с карандашик величиной, но юркая эта рыбешка так красива, так ловка в воде и хороша в ухе, что еще долго, пока мы шли к кострищу, Александр Николаевич прищелкивал языком и говорил:

– Вот утру я нос московским рыбакам! Вот утру! А что это, Вик Петрович, за пеньки такие аккуратные и на речке что-то вроде запруды?

Когда я, невольно притишив голос, сообщил о таинственном поселении зверьков, Александр Николаевич аж просиял лицом:

– Да что вы говорите? Сохранились?! – И всю дорогу до кострища был оживлен, хотя и сильно устал. Но когда посидел у костерка, поел ушки (ел он хорошо, бережно, видно было, с детства приучен уважать пищу), да выпит был еще чеканчик под разговоры и закуску, оживился критик:

– Ну что еще нужно человеку? Горы, леса, костерок у речки, котелочек ущицы на четверых – и вот и все. И больше ничего не требуется для покоя и счастья. А мы суетимся! А мы суетимся!.. Вот послезавтра уезжать. Почему? Зачем? Нет, Вик Петрович, хочешь не хочешь, приеду, на месяц, на два приеду, и не прогонишь...

Назавтра я читал в избушке только что написанную повесть «Где-то гремит война», еще «не обкатанную», еще недовыправленную. Слушали гости и хозяйка моя хорошо, повесть тронула их. Александр Николаевич даже сказал, что он о военном тыле что-то и не припомнит подобного.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Я нуждался в ту пору в поддержке, ибо жил и работал весьма одиноко, и вот получил ее, такую необходимую поддержку.

Денек побыли мои гости в городе. Я им показал все, что достойно в Перми показывания, и с грустью, которую потом Александр Николаевич счел за недопомогание, проводил дорогих гостей обратно, домой в столицу. И ровно чувствуя, что никогда уж более ему не бывать на Урале, куда заносили его в юности житейские ветра, с неохотой, с душевной смутой покидал он пермскую землю, не досмотрев, не надышавшись, не набродившись, даже не наговорившись «до отвала», и все грозился:

– Ужо, ужо вот я соберуся, не рады будете...

Дорогой Виктор Петрович!

Писать-то мне, в сущности, еще нечего, просто что-то я забеспокоился о том, как Вы себя чувствуете? Стал что-то для памяти записывать и вдруг сообразил, что в последний день Вы явно как-то перемогали себя, таскаясь с нами по Перми. У меня тогда в башке мельтешило одно, что вот, вот скоро ехать, а ехать не хочется, и я как-то не обратил внимания, что хозяину неможется, а сейчас вот мысленно очутился у Вас и по-иному все увидел.

Мы еще никак не освободимся от Ваших лесов и Быковки, харюзов я явно недоловил, все вижу тот бочажок – почему-то все так зримо отпечаталось в памяти. И до отвращения не хочется входить в московскую жизнь. Вчера весь день пролежал, перебирал все пути-тропинки, сегодня ходил на ВЛК и опять по тем же тропкам. Словом, пока еще живу в двух мирах, и призрачный пока торжествует над реальным. Валя Португалов Вам кланяется.

Моя Наталья Федоровна уже погрузилась в московские заботы и пропадает гдето на радио, ужасно хочется есть, и брат на кухне варит макароны. Но что такое макароны по сравнению с ухой из хариусов и рябчиками, приготовленными Марией Семеновной... Вы, друзья мои, даже не представляете себе, что значило для меня гощенье у вас. После этой поездки мне захотелось жить и подумалось, что жизнь еще не кончена. Обычно же осенью, когда приходится оседать на московской квартире, именно жить-то и не хочется. Вот так.

Прочел две повести Ал. Мих. Со Святославом очень здорово. Прямо-таки убедительно. Он мне сказал, что я узнаю, если прочту, кто автор «Слова». Я все ожидал, но только не такой эмоциональной неопровержимости открытия.

Хорошо было бы, если б в октябре Вы остановились у нас, а то ведь если Вы поселитесь в гостинице, Вас и не затащить, будет какой-то, в лучшем случае, ответный визит. А мне не визит нужен, а Вы. Вот возьму и напишу Марии Семеновне, что за Вами в Москве нужен глаз да глаз...

Ждем Вас к себе.

Приписка жены Александра Николаевича, Натальи Федоровны.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо Вам за все, за ту минуту, когда Вы нас приняли в свои объятия со страшного пароходного трапа, за те разговоры, что Вы вели в Вашей хижине, под которые я грезил. Клянусь Вам, за много лет я впервые оттаяла от треволнений, что крутили душу нещадно и больно, отпустила боль, и я покатила в сон-грезу, и было мне легко и легко!

Многому поучилась я у Машеньки! Хорошо было так смотреть и впитывать ее манеру чистить картошки, укладывать картошку так изящно в банку, мешать дрова в печке, рассказывать о жизни, улыбаться людям, волноваться. Можно было подумать, что я ничего не умею, а я училась – и преуспела. Надеюсь много перенять для себя.

Низко кланяюсь Вам и Машеньке. И сердечные приветы Андрею и Ирине – милые они ребята.

Наташа.

Несколько замечаний по «Где-то гремит война».

Как ножом по сердцу, что Шамов не погиб. А потом начинаешь думать: ведь еще только 41-й год. И Левонтьев Санька в Клину под Москвой. А Шамов уж додумался до похоронной, до того, чтобы бросить жену с детьми. Такое обычно делали лишь в конце войны, когда она к концу подходила и в тылах или при начальстве зажирались. При отступлении вряд ли загадывали прожить. Подумайте. Не слишком ли быстро он разложился? Может быть, сказать, ловкач, мол, один из первых, додумался. Может быть, действительно была ложная похоронная, а он воспользовался? Не знаю, но прояснить как-то надо. Иногда тому, что бывает в жизни, поверить трудно в повести,

Об Алешке Вы говорите много и часто. Но странно, что мать Августа ни разу не вспоминает о нем в разговоре, о Вашем-то друге детства, о своем сыне. Неужели она не вызвала его, когда такое горе, не побывал он у нее. Надо объяснить и еще мелочи: «Не возьми Чапая!» – не надо «вбитые в детстве лозунги». Это и так понятно. Назойливо это подчеркивание, не нужно.

По-моему, надо оставить в сцене в шорницкой после горбунов и калек «и всякие эти вот, как их?» – то есть скопцы. Может, и не лег-то он к стене из брезгливости, хотя и не надо этого, конечно, подчеркивать. Кстати, там это не совсем понятно, думаешь, что лег, а он печку подтапливает.

Очень вял абзац с феклой Юшковой, какие-то информационные слова.

На стр. 56 длинные абзацы про Алешку. «Оказался» глухонемым? Слово бы наследственное от пьяницы отца? Но раньше же говорилось, что он иконостас на себя уронил. А то, что он учится в школе глухонемых, я уже знаю. И опять непонятно, почему Августа позвала не его, а героя, ведь Алешка же ловкий парень. И почему она не помнит о сыне нигде, о том, что хотя бы мясца ему послать?

О китайцах я оставил бы все, за исключением последнего абзаца о доброй памяти и что мы дураки.

В целом же очень здорово, очень, и заглавие – тютелька в тютельку, вот именно: «Где-то». Умница Вы! Если будет возможность, выверите в верстке некоторые фразы на слух, попадают кое-где беззвучные какие-то.

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович! Очень хочется поболтать с Вами, но дал себе зарок не писать, пока не появится рецензия о «Краже». И лишь сейчас сообразил, что ведь можно просто подождать отсылать письмо. О «Краже» я успел написать раньше, чем получил Ваше письмо, где Вы даете мудрый совет! Не писать о Вас, поскольку Вы избалованы, а писать о других, более достойных. И уж ничего нельзя было воротить. В «Литгазете» повесть прочел Б. Галанов (я ему дал № 9, у них его еще не было) и выразил свое полное удовлетворение. Но, как это всегда бывает, рецензия лежит набранной уже две недели, все обещают. Написал я не так, как бы хотелось, – газета есть газета, дают пять страничек, но ничего, я еще наверстаю. Лишь перечитывая повесть, я понял, почему она не прошла в «Новом мире». Ой, не потому ли, о чем Вам говорил лукавый Ал-др Григ. В «Знамени» же просто дураки и лентяи, вроде нашего милого Ив. Тим. Козлова. В этом меня убеждает и то, что, кому ни дашь, всем нравится. И дочери моей Аннете, и ее мужу, и Евг. Фед. Книпович, которая тоже написала маленькую рецензию для «Москвы», в подборку новогоднюю, что-то вроде «Интересная книга года». Не «Кража», а подборка. Встретил Л. Н. Фоменко, и та предложила немедленно написать что-нибудь для «Лит. России» и тут же сказала: «Хотите, подскажу? В «Сиб. огнях» и т. д. Я до того смешался, что даже не ответил сразу, что не могу – она поймала меня в двери, из которой я выходил, только что поправив гранки. Как говорится: «Ну вот и все, а ты боялась». К сожалению, пока только кулуарно все, и мне уж хочется скорей огласки – все под Богом ходим...

Что же это Вы, молодой писатель, так неосторожно обращаетесь с дорогим нам Павкой Корчагиным и раздражаете товарища Трегуба? Он, можно сказать, всю жизнь

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

посвятил тому, что Островским и Маяковским, как оглоблями, всех молодых по головам колотил, а Вы это оружие пытаетесь из рук выбить. Нехорошо, маалодой ч-человек! За это по мордасам можно получить. Вот и получили. Кстати, не можете ли вы, когда поедете в Москву, прихватить с собой эту Вашу предосудительную речь, напечатанную в молодежной газете?

Вот уж две недели наверху идет какой-то семинар. О нем Вы, наверное, читали в газетах, но что там говорится – пока тайна.

Вчера, в воскресенье, была встреча деятелей искусств с участниками совещания. Я оказался в числе немногих приглашенных и помчался даже не как приглашенный, а как оглашенный. Оказалось, что это не они, а мы должны были их увеселять. Первым выступил И. Андроников и рассказал сотни раз мною слышанный рассказ об Остужева. Потом Бор. Смирнов стал говорить, как он работает над образом Ленина, и тут я ушел, увидев, что к выступлению готовятся какие-то два баяниста, а Мих. Ив. Жаров подозрительно пощипывает галстук, словно горло прочищает.

Был в РСФСР семинар – встреча с молодыми членами Союза – поэтами. Пришлось участвовать, и не жалею. Прочел две книжки томича Вас. Казанцева с большим удовольствием, вот уж не думал, что в наши дни может появиться поэтимпрессионист, ни на кого не похожий, разве чем-то на Фета.

Вот и все мои подвиги. Потихоньку подчищаю книгу, сдам к первому обязательно – надоела она мне и хочется приняться за новое.

После поездки к Вам у меня как-то улучшилось настроение и даже несвойственная мне наглость появилась – ну, мол, вас всех на..., буду писать что хочу. Вот надолго ли? И уже сейчас оговорюсь: конечно, не что хочу, а о ком хочу – это все-таки осторожнее.

Наташа прочла Ваши «Окопы» и вот уж два дня о них только и говорит. Восторги ее мне кажутся подозрительными, но Мария Семеновна может быть спокойна, я стою на страже ее интересов, а не Ваших. Жену же я убеждаю, что Вы коварны, как Ваши харьюзы, ныне подкатившиеся прямо к Вашим хоромам, что пишете Вы хорошо исключительно для того, чтобы этим заманивать женщин в свои сети... Книпович нравиться, Фоменко тоже, Искра Денисова в восторге, ну просто первый парень на деревне!..

Что же касается Ваших недугов, то мой братец уверяет, что он Вас в три приема вылечил бы, что он действительно в свое время со мною и сделал обыкновенным вкатыванием пенициллина. Правда, у меня эта пакость только начиналась, но с полгода я мучился. Он говорит, что у них в армии только так и лечили. А Вы не пробовали?

Воробьева еще не прочел, прочел пока лишь первую повесть – мне понравилась, и думаю: он мне пригодится не для большой статьи. Правда, он не совсем самостоятелен – в сценах первых напоминает его Матвей шолоховского Пантелея Мелехова, от пейзажа тоже веет шолоховским. Впрочем, по одной по вести судить рано и я надеюсь дочитать книжку до того, как смогу отправить это письмо.

Вчера выпал снег и лежит сейчас. Стало светлым-светло. Вот у Вас небось здорово. Почему-то первый снег, как и первая капля, отдают грустинкой. Вот там, за окном, все переменялось, а ты все такой же и сидишь, как пес на цепи, легонько поскуливая. Собрался на праздники в Тарусу, хотя бы в гостиницу, а тут ленинградцы требуют, чтобы 10-го был у них на семинаре или на круглом ли столе, где будут обсуждаться проблемы о рабочем классе. Отказался, так они в ЦК пожаловались. И вот 2-го опять будут звонить. Ну ей-богу, не занимает меня эта тема вот ни столечко, и не верю я в такие романы ничуть, и своего дела по горло. А ведь поехать – неделя будет выбита, да еще после неделю будешь приходить в себя, в норму. И никак не объяснишь нашим писателям, что и критик – человек, и у него могут быть свои интересы. Только и слышишь: «Ну что вам стоит написать...», «ну что вам стоит выступить».

Вот и поныл.

Был в четверг на редколлегии «Лит. газеты». Саша сообщил о последней речи Демичева на семинаре, но как-то бегло и вразброд.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Единственное, что я запомнил, это что надо вести дело на консолидацию, а у нас есть журналы, которые ведут на расслоение. Что ж, в этом он прав – мы сейчас между двух огней: с одной стороны «Новый мир» с его «ужасающим» либерализмом, с другой «Октябрь» с его «китаизмом» (тем, о котором Белинский говорил). Впрочем, по поводу новомирцев тоже можно вспомнить того же Виссариона Григорьевича: «Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того, что он неразумно живет».

Вот во вторник в «Знамени» Вадим как раз и собирается нас просветить, как разумно жить, докладывая все о том же семинаре, и просветятся «ум и сердце мое». То-то! Вам-то небось хорошо там по первой пороше бродить, «со вечера пороша выпадала хороша...» Ружьецо за плечи и в тайгу. А тут один зверь – телефон, аки скимен некий, кого поглотити...

Не везет нашим женам (а может, нам?). Вот Мария Семеновна болела, а теперь у меня Наташу хватил какой-то спазм, уложили в постель, ноет, что не может работать... Ныла-ныла и вчера тайком выбралась в какую-то школу на беседу, а вечером стало хуже, ночь целую провозился, и ясно стало: ни выходить никуда ей нельзя, ни в Тарусу на праздники не поедешь – лежать человеку надо. А тут еще мои «молодые» задумали пятого свадьбу справлять, после того как восемь лет прожили. У них негде, значит, будет у нас. Бог знает что.

Воробьева прочел, я, конечно, не совсем прав. Уже конец повести о ровеснике – по-своему и крепко сделан. Хороши рассказы. Вообще этого человека, видимо, крепко коллективизация по сердцу переехала. Мешает некоторый провинциализм. Ну разве можно портить такой жестокий рассказ, как «Синель», таким сентиментальным концом? Женщина все простила, это, конечно, тоже мысль, но она вторая и заслоняет первую в разборе судеб, и получается ни то, ни другое. Но, конечно, писатель настоящий, без дураков.

Слава тебе, господи, – вот и можно отослать затянувшееся письмо.

Поздравляем мы Вас и Марию Семеновну с наступающим праздником! Желаем здоровья – а все остальное само собой придет. Кланяемся дочери и Андрюше. А еще Мурашу и Спирьке.

Ждем Вас в Москве – вчера получил гумагу, что он, пленум, якобы будет двадцать второго.

Ваш А. Макаров.

Дорогой мой Виктор Петрович! Совершенно очевидно, что между нами образовались какие-то симпатические нити. Вот Вы простыли, и я простыл. Ну выто хоть по сибирям в ботиночках щеголяли, а я-то ведь в валяных туфлях дома сижу. После Вашего отъезда я все еще раскачивался и никак не мог раскататься, потом все же сел за статью. Сначала не ладилось, а потом пошло, и в такое я настроение пришел, как вдруг – хлоп – нитье в животе, пополам согнуло, один врач говорит – следствие гриппа, другой – отравление – сам черт ничего не поймет. Наташе вставать нельзя, валяемся два чурбана, а тут еще внезапно редактор мой; она наконец-то отредактировала книжку, сделав в ней пятьдесятшестьдесят стилистических помарок (надо сказать, что в этом отношении моя редакторша золото), но как бы они незначительны ни были, но править-то надо, а заодно, читая, еще сам целый ворох найдешь описок и недомолвок, и вот я, корчась, правлю, а дочь клеивает да подпечатывает, а врачи то и дело то ко мне, то к Наташе, а из редакции звонят – сдавайте скорее, план и т. д. и т. п. Словом, полный трамтарарам. Мне думается, и обострения-то у меня всякие начались от этой спешки да от того, что оторвали от дела, как только оно вдруг оживилось. А теперь попробуй раскачиваться снова. Да у меня еще флюс был, щека раздулась так, что Ваша простуда против моих болезней слабак. Но вообще-то Вы, конечно, сумасшедший парень, чтобы сибиряк да в Сибирь зимой в ботиночках – это уметь надо форсить. И нисколько мне Вас не жаль, а жалко Марию Семеновну – ох нелегко, видно, быть женой Виктора Астафьева.

Книжку свою я все же дорубал. Жаль только, что пришлось листа три снять уж очень превысил запланированный объем. Сегодня отправил и надеюсь, дня через два опять засяду за статью, пишется разгонно, все это еще, правда, черновик. Так мне хотелось кончить к январю, а теперь вижу, дай бог к половине января дотяпаю. А

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

уж что получится, бог весть, только и «Ясным ли днем, или ночью угрюмою...». И пока махнул рукой на всякие зловещие слухи, что поползли по Москве, будто бы и то нельзя, и этого нельзя, и про культ нельзя, и вообще про все нельзя.

Встретил, когда еще ползал, в поликлинике Якименку – он говорит – ну знаете ли, а что можно знать, если никто ничего не знает. Собирали нескольких критиков в «Правде», а я, к сожалению, был не в состоянии и пойти, была Евг. Фед., но, к сожалению, она уехала в Переделкино, а я остался без информации, что, как известно, мать интуиции, она, правда, мне звонила и сказала, что все было очень хорошо, только ведь Евг. Фед. моих, как она говорит, «любимчиков» Александра Трифоновича да Конст. Мих. (Симонова. – В. А.) терпеть не может. А с последним номером «Нового мира» были какие-то неприятности, то ли вынимали, то ли вырезали какие-то Костины дневники военных лет с нынешними комментариями. В чем там дело, ей-богу, не знаю. Только незадолго перед этим мне позвонили с телевидения и предложили выступить с Симоновым и задать ему несколько вопросов – эдакое интервью. Я согласился, только сказал, что пусть сам Симонов эти вопросы и придумает, он сам знает, на что ему хочется отвечать. А потом вдруг все замолкло. На вечере Тихонова, куда я имел честь быть приглашенным в президиум, я спросил Костю, буду я его допрашивать аль нет, на что он мне загадочно ответил: «Я, Саша, отказался. То, что хотят, чтоб я сказал, я уже давно сказал, а то, что хочу сказать, не могу сказать».

Стояли они вместе с Трифоновичем в кулуарах, а когда президиум отправился торжественно на сцену, оба куда-то смылись, должно быть, кирять. Впрочем, я не особенно доискиваюсь, что да как, пожалуй, только зря в панику впадешь, а так, глядишь, перемелется, мука будет.

Да, говорил я с редактором Госполитиздата о том, почему бы им Вас не издать, но у них новые правила, надо, чтобы было для них специально написано, вероятно, для Вас это не составило бы труда – накатать такую брошюрку листа на три-четыре о человеке, о природе, что-то вроде расширенного предисловия к «Следу человека», разбавив всякого рода примерчиками. Только это уж если очень деньги потребуются. Потому что чем больше я думаю над Вашими писаниями, тем больше прихожу к выводу, что не надо Вам тратить время попусту – пишите как хочется; и побольше пишите, м. б., даже поменьше ездите на всякие совещания. У Вас сейчас самая пора, и не упускайте времени. В Ваши годы у меня лихо писалось, а вот как подкатило к 55-ти – сил-то и не хватает, с утра садишься, думаешь, горы сворочу, ан стр. 3-4 накалякал и выдохся. А раньше по пол-листа, бывало, строчил за один присест.

Нет, я не думаю, что Малюгин заподозрил нас с Вами в какой-то непорядочности. Он, конечно, был, возможно, обижен тем, что Вы не зашли, поскольку он Вас разыскивал. Скорее всего его смятению были причиной те самые новые указания, о которых по телефону мне ему, незнакомому человеку, говорить было неловко, а я еще об этом не знал. Уж наверняка «Роман-газету» на будущий год нацелили на одни восторги.

У Наташи уж тоже после редактирования сняли два рассказа как слишком мрачноватые, что у нее новый приступ вызвало. Но, кажется, она у меня все же налаживается, может быть, даже мои животные боли послужили для этого стимулятором. Ваши дифирамбы ее сердцу так ее разжалобили, что она заплакала. Она у меня близкослезливая. И, конечно, Вы – единственный, кто ее понял.

Ну вот пока, кажется, и все.

Кланяются Вам и Толя, и Аннета, и Юра, и Карай.

Обнимаю и целую Вас. Марии Семеновне низко кланяюсь. Ее медведь, как Вы верно заметили, достойно украшает наш телевизор, только вот осыпаться начал, бедный. Наташа, поскольку малость оклемалась, пишет ей чего-то сама.

Привет Андрюше и дочке. И погладьте Мураша, ну что Вам стоит!

Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Когда поедете на пленум, прихватите для меня рукопись новой повести – мне

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

дозарезу нужно.

Будут ли ее печатать в «Молодой гвардии» в № 12? Если будут, я бы мог попросить верстку у Искры. А вдруг они там отложили.

Привет от Наташи. Кланяемся Марии Семеновне.

А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович! Только вчера к вечеру дозвонился Малюгину. Неутешительный был разговор. Он, кажется, очень обижен, что Вы не встретились с ним и звонок мой прямо как оскорбление принял. Я, говорит, звонил ему в «Москву», а его не оказалось. Мне надо было с ним поговорить. Я говорю, скажите мне, что и как. Нет, отвечает, мне с ним самим надо поговорить, сейчас у нас много дел, вот разделаемся, и сам ему напишу. Не любезен и официально сух. «Знаете, у нас сейчас... вот мы тут обсуждаем...» и т. д. и т. п. И, по правде говоря, я почувствовал, что сейчас им Ваша повесть («Кража») – «не к масти козырь». И так подумал, что ведь в этом году они ее не дадут уже, а в будущем, в будущем, наверное, «Чапаева» будут перепечатывать. Или дадут от каждой республики по повести, или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас ведь в одну линию уперлись, даже точку. «Повесть-то, – говорю, ведь очень хороша». – «Угу, – мычит. – Это ваша статья о ней была в «Л. Г.?» – «Моя». – И тут наступила пауза, значения которой я так и не мог понять. То ли она означала: понимаю теперь, почему ты звонишь, то ли еще что-нибудь... Оба молчим. Потом я уж просительно так: «Но, может быть, Вы сами ему напишете?» – «Да-да, – обрадовался он. – Напишу». И таким тоном, лишь бы развязаться. На этом и развязались. Невезучий я в этом отношении, как ввяжусь что-нибудь «пробивать», обязательно погорю. На душе муторно. Речь ведь не только о повести, но и о надвигающихся на нас юбилейных годах, которые подавят празднословием. А тут еще вечером пришлось идти в Дом дружбы на вечер Чаковского, делать вступительное слово. И опять, как не пойдешь? Учились вместе, и зла он мне не делал. Обижать отказом вроде не за что, да и ссориться совсем уж ни к чему, все-таки живем по принципу: ты мне – я тебе, у него газета.

Ночью снилось, что пришел в Союз, а там «Новый мир» обсуждают. И мне очень хочется попасть на это обсуждение (во сне ведь всегда наоборот). А мне говорят, что обсуждать будут только секретари и мне не положено присутствовать... Дальше вообще началась какая-то чепуха. Встал утром, «на улице сырость и слякоть... И грустно, и хочется плакать, и некуда силы девать». Впрочем, так у Блока, а у меня только слякоть, и на улице, и вместо сил. Не хватает мне Вашей крепости характера, да и вообще Вас в нашем доме сейчас не хватает, только и слышишь: зачем рано уехал, да вот бы еще что-нибудь рассказал. Наташа Вас ругательски ругает за то, что Вы какие-то чепуховые рассказы Ваших друзей слушали, вместо того чтобы по редакциям бегать и с начальством заигрывать. До того все уши прожужжала, что напомнил ей мою старую эпиграмму (собственно, под Курочкина):

Когда вырастешь, поймешь  
Без особенных абстракций,  
Всех порогов не объешь,  
Особливо у редакций.

Очень она меня всегда утешала, но ведь это так о себе думалось, а вот когда о другом – обидно.

А с Люкиным у меня ни хрена не вышло с повышением тиража – бумаги нет.

Ну, хватит хныкать. Надо держать хвост пистолетом. А может быть, лучше «по ветру», а?

Кланяемся мы с Наташей Марии Семеновне. Вам шлют приветы мои ребята и Толя, который уже мечтает, как он поедет харьюзов ловить (он ведь мечтатель). На рыбалку мы, конечно, так и не выбрались!

Обнимаю Вас. А. Макаров.

А съезд-то уже перенесли на 21-е мая. Но, надеюсь. Вы до этого будете в связи с

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

«Мол. гв.» в Москве и уж, конечно, у нас, а не в каких-нибудь гостиницах Переделкиных.

По «ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ»

Стр. 10 – «вызывать из нее ригу». Так говорят? Я не слышал. Все говорят «ездить в ригу».

Стр. 18 – неподходящий абзац о казармах и муштре. Никогда не пройдет; Мог пройти разве лишь после манифеста 1905 года; между 1905 и 1912 годом. Ни в какие другие времена. И не надо дразнить редакторов, вызывая в них неприязнь к себе, ибо каждый редактор читает рукопись автора с потайной мыслью: «Этот человек пришел меня погубить».

Стр. 24, строка 3 – «вселял в них лучшие надежды» (я лишь как пример привожу эти слова). Нет-нет да и мелькнет где-нибудь вроде этих банальных вселяемых лучших надежд. При перепечатывании Вы сами заметите, где голос стукнет по пустоте.

Стр. 27 – насчет начала, что ожидает увидеть Серг. Митр., я все убрал бы. Вы все строите на контрасте – ждали, мол, оперного начала, а выскочил комсомолец. Но, во-первых, этих филиппик Вам никогда не пропустят, а вовторых, без сравнения, как ни странно, получается страшнее, хотя и как бы безобиднее, просто «в машину запрыгнул» (один в Вашу пользу это «запрыгнул») молодой парень, а как вдумаясь, ой-ой, именно обыденность-то, а не контраст с воображаемым, страшна.

Так что, как видите, замечаний немного.

В этот раз я был в Москве довольно долго и все время жил у Макаровых.

Еще в первый день, когда мы сидели в кабинетике Александра Николаевича, все так же неприбранном, с густым, тлеющим запахом бумаги, заметил я на стеколке стола запись. «Все и все, кого любим мы, – есть наша мука» – Бунин. А ниже – мелко, стесненно и все же явно не только «для себя: «Но люди, которых люблю я, так же должны понимать, что они не одни...»

Записи Александр Николаевич вел нерегулярно, стеснялся их, затасканную клетчатую книжечку упрятывал подальше, а тут вдруг так вот «откровенно» – на виду, и я подумал, что в доме Макаровых сделалось всё еще болезненней и запутанней, пытался развеять подавленное состояние друга рассказами о Быковке, «сказочками» – все шло мимо, тогда я сам, как-то незаметно для себя, перешел на «серьезное». С собой у меня было письмо читательницы, и я прочел его Александру Николаевичу:

«...Я самый свободный тип человека. Нет у меня ни государственной важности работы, есть с кем оставить детей, нет личных творческих дел, а служебные можно без труда потеснить... Да беда в том, что остальные-то трое из семейной «четверки» живут по иным «параметрам». Отсюда и сложность. Всегда жила и продолжаю жить по законам сердечной привязанности, чутко отзываясь на доброту, на желание разделить печаль или одиночество.

Но с годами стала анархистом, схимником. Схима непонятна окружающим, раздражает их. Уж в этом году решаю не делать вечера по рождению, боюсь своим «упрямым» видом огоршить и огорчить гостей. Вот недавно мужу сорокалетие справляли, так упрек заслужила, невесела, дескать. А смеяться и радоваться на людях я или отвыкла, или боюсь неправды. Это скорей всего.

Такими сложными кружевами плетется истина – «радиус добра не безграничен», не всеобщ. Никто по-настоящему не понял ни единого поступка, ни единого слова, и люди невиновны в этом, за их восприятием стоит собственная дорога, философия, правда, судьба, все то, что резко разграничивает людей. Как это больно! Все отдано этому постижению законов, по которым люди живут и складывают свои привязанности, антипатии, ничего в жизни не сделано из того, что ценится на рынке. Ни карьеры нет, ни положения (мать его!), ни другого чего весомого, ни дневников детям, ни архива, в коем сохранился бы путь твой жизненный хотя бы на одну тысячную, хоть бы на грамм. Себя узнаю только в старшей дочери – переняла мой характер и мироощущение, и оттого будет вечно печалиться и не находить друга по сердцу.

Служба же ближнему, верная и преданная, тоже как-то выглядит странно. Вот оно,



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

«кривоницейное пространство», вычисленное, видно, в математике, да в жизни такое близкое и бесконечное. Сдается, что мир и антимир совсем рядом, ибо не единожды воскликнула душа по-есенински: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

А стихов не пишу, литературу не мараю, и откладывается все это на центральной нервной системе. Выхода более ни в чем нет. Работа моя ежедневная: с массажи, наводит только на крайние выводы, очень и весьма пессимистические. Какая наивность – посягать на человеческую природу и пытаться уменьшить количество зла внешним путем, когда не вооруженным никакой теорией, а только житейской практикой, видно, сколь неподатлив человек и сколь он пег. И что у всякого человека есть судьба – тоже решено, хоть на плаху за аксиому эту, ибо сколь ни пыталась изменить свою линию, свою дорогу, сделать по меркам соседей, захватить чужой логики – не вышло.

Есть твердые, кем-то обоснованные законы, где жизнь моя обозначена неведомой мне формулой, изменить которую человек не в силах. Так мало стала читать литературы – не верю ей. А иногда она лечит. Когда выписана кровью и замешана на твоём личном опыте. Спасибо Вам за правду. Хочу читать Вас...»

Какое-то время Александр Николаевич, не шевелясь, лежал на подушке, смотрел мимо меня, в окно, потом, не меняя позы и не отрывая завлажневшего взгляда от окна, думая о чем-то своем, вздохнул:

– Какая умная и страдающая женщина. – И вдруг встряхнулся: – А каково-то с нею мужику, а?

– Обороны бог! – рассмеялся я.

Александр Николаевич поднялся, прошелся по комнате и дотронулся до моей головы:

– Дорожите, Вик Петрович, такими читателями, дорожите! Она, эта вот дамочка, конечно, черт знает что такое, но умна, умна! Вот для умных-то и пишите, и не опускайтесь до дураков. Это, конечно, очень трудно. Очень! И страшно. Да что же делать-то? Взяться за гуж...

Одним вечером показывали по телевизору футбол. Я – неисправимый болельщик футбола и хоккея, конечно, отправился смотреть игры. Смотрели вместе с Толей, дергались, орали. Александр Николаевич подсмеивался над нами, Наталья Федоровна удивлялась:

– Господи! Вот ненормальные! Ну что вы нашли в этой игре?

– И вообще – это психоз какой-то! – иронически и чуть презрительно заявил Александр Николаевич.

– Не пренебрегайте, не пренебрегайте! И не считайте футболистов и хоккеистов чем-то таким дремуче-отсталым, вот лучше послушайте, как о них пишут в газетах.

Та газета у меня не сохранилась, но в большинстве своем оды и хвалы, в них содержащиеся, односложны, поэтому я процитирую пусть и более позднюю, но мало чем от других отличающуюся. Называется она без излишней застенчивости, с полной уверенностью, что так и только так, а не иначе должны воспринимать ее советские люди: «Любовь, которой все покорны». И начинается со слов: «Расскажу о любви к хоккеистам. Не к хоккею, а именно к ним, к хоккеистам». Статья большая. Всю ее мне не хватит места пересказать, и хотя писана она газетной прозой, звучит как придворная ода версальского пиита, прославляющего самого сиятельного, самого прекраснейшего из Людовиков-королей. «Он небольшого роста, работает на стройке, взял отпуск на время чемпионата. Каждый день приезжает. Скажете – «фанатик!» Нет, не фанатик. Нормальный парень, скромный, застенчивый, шайб и клюшек не кланчит, провести на хоккей не просит. Просто любит он этих людей... И видеть их – для него счастье».

«В хоккейном доме тихо, уютно, светло и очень добро. Да, добро. Здесь все, как говорится, свои. Здесь, как в доброй семье, где знают – у отца или у брата трудная работа. Комнаты, в которых они живут, большие, в них пахнет весной. Под окнами поля, они уже проснулись, дышат. Рядом березовая роща, пока еще обнаженная, звонкая поутру, прозрачная, стыдливая... Играют в шахматы, в домино, на бильярде: Михайлов – Харламов, Паладьев – Ляпкин... Хорошо живут – можете

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

поверить на слово, спокойно живут, дружно, мирно. Все у них есть... Все их любят. Особую заботу о сборной проявляют – кто бы вы думали, кто? – туляки! Прислали свои знаменитые тульские пряники, учредили свой приз за первую шайбу... У Волчкова теперь шикарный тульский самовар, словом, любовь. В хоккеистском доме как дома. И это уже забота Петра Алексеевича Севонкина – шеф-повара санатория в Архангельском. Там, где жили хоккеисты сборной, там все их вкусы знают, потому и приехал он со своей бригадой – поваром Анастасией Петровной Рыбаковой, кондитером Верой Григорьевной Луценко и официанткой Ниной Александровной Бакуниной. Выдал мне Петр Алексеевич тайну – оказывается, наши хоккеисты ужасные сластены, любят сладкие булочки, пирожные, бисквиты... Ну и, конечно, как настоящие мужчины, хороший кусок мяса... Сегодня снова они поедут на автобусе... Их будут узнавать люди на московских улицах, им будут желать победы, их будут провожать тысячи... нет, миллионы людей!»

Повторяю, я сам, заядлый болельщик, читаю «от корки до корки» «футбол хоккей», есть и кумир у меня в хоккее – Александр Мальцев. Но все же оборву цитаты из журналистского перла, принадлежащего перу М. Марина, напечатанного в газете «Советский спорт» уж в ту пору, когда по всем почти провинциальным городам, в том числе и областным, стало плохо с продуктами, десятки тысяч мешочников, осаждавших тогда нашу столицу в поисках харчей, осаждают ее и по сию пору, в рабочих столовых нечем кормить людей, сельские магазины пусты, руководители областей и районов головы ломают над тем, как прокормить детей в детсадах, больницах, санаториях, на многих заводах открыты магазины и ларьки, чтобы рабочие могли время от времени приобрести продукты. А тут бойкий бумагомаратель с захлебом пускает паточную слюну, или совершенно не зная, как живут люди в стране, или цинично и безголово насмехаясь над ними.

Повторяю, большинство статей и заметок о спорте и выдающихся спортсменах такого же примерно содержания, но я не случайно выбрал для цитирования ту, где поминаются и восхваляются столь радушные и душевные туляки.

На Высших литературных курсах учился вместе со мной писатель Иван Панькин, автор славной повести «История одной жизни», многих совершенно прелестных детских сказок и «Тульских сказов». Приехал он на эти курсы из Новосибирска. Там он работал на заводе, там, будучи рабочим, и писать начал. По национальности он мордвин, но еще в раннем детстве осиротел, покинул родные края и чего только не изведал, в каких «палестинах» не побывал! Мальчиком выступал в качестве акробата в цирке, затем ушел юнгой в заграничное плавание, долго был моряком, воевал на фронте. После демобилизации изведал массу профессий, и вот потянуло человека к перу, к бумаге, талант его был крепок, голос свеж, выдумщик он и рассказчик совершенно очаровательный, а вот в жизни человек беспомощный.

В семье у него двое детей: сын и дочь. Сын у него заболел такой болезнью, что в Сибири ему нельзя было жить, и после окончания курсов поселился Иван Панькин в Туле, соблазнившись близостью Москвы, где в издательстве «Детская литература» его охотно привечали и привечают, и еще тем, что в Туле есть свое издательство – и тень великого Льва Толстого витает над этой землей.

Тень-то там витала и витает, но вот в местной писательской организации царит толстокнижная, угрюмая серость, которая утверждать себя умеет только с помощью горлохватства, подсиживания и поедания друг друга. Сокурсника нашего начали есть и травить уже за одно то, что он талантлив и независим в суждениях. Он поступил работать редактором в местное издательство, сразу и охотно воспринял и полюбил местный трудовой народ, его славную и причудливую историю, его приверженность к «рукомеслу», и когда поручили Ивану писать какую-то очередную историю оружейного завода с перечислением его заслуг и патриотических начинаний, Иван Панькин вместо книги, которые обычно никто не читает, кроме директора завода, парторга и руководящего состава предприятия, взял да и написал «Тульские сказы». И какие! По своей народности, мастерству они, беру на себя смелость заявить, нисколько не уступают сказам Лескова. В этих сказках Иван Панькин делает то, что вообще в литературе редко кому удается сделать, в современной тем более, – он создает образ ружейного мастера Тычки, которого и туляки, и все читающие воспринимают как подлинного, реально существующего. Образ этот укореняется в быту, начинает расселяться в народе в виде изделий из дерева, керамики, в рисунках, в масках, в празднествах. О нем читают вслух за семейным столом, со сцен клубов, уже и без упоминания автора...

А между тем автор, который работает столь мучительно и тщательно, что в год ему

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

удаётся напечатать один-два рассказа в три-четыре страницы, бедствует в полном смысле этого слова, и лишь несколько друзей, да и те живут в других городах, поддерживают его, да еще, тогда здравствовавший, стоит на своем и всячески опекает своего редактора и талантливого писателя директор местного издательства Николай Владимирович Виноградов.

Дочь учится в школе, сын в музыкальном училище оказывается самым одаренным музыкантом. Парня рекомендуют в консерваторию, единственного из училища за многие годы, – и сын Володя с блеском сдает экзамены в консерваторию. Ему нужен инструмент – скрипка. Как Ваня искал и покупал скрипку – отдельная и очень трогательная новелла. Мы, друзья Ивана, помним, чтим его за талант и порядочность, а в Туле он ходит в... дурачках.

Ваня рассказывал мне, как однажды по редакторской работе его вызвали в обком и местный деятель начал над ним насмехаться, унижать его. «А я гляжу на столе у него Тычка стоит, из корня сделанный, в виде чернильницы, и говорю ему: «Вот вы надо мной измыаетесь, а на столе-то у вас мой Тычка стоит...»

Так и покатился со стула дуболом-деятель от смеха, слова не может сказать, только тычет в Ивана пальцем и заикается:

«Тыч... Тыч... Ты-ычка-а!»

А уж как пойдет, как повалятся камешки на бедного Ванюшку...

Шел съезд Союза писателей СССР. Много нас, бывших сокурсников, собралось в Москве. Панькина, конечно, нет. Не выбрали его на съезд. Если бы и наметили выбрать, обком не утвердил бы, ибо рекомендовали съезду ту самую толстокнижную серость, которая любить не умеет и ревновать не смеет, среди которой оказался и будущий злобный эмигрант Анатолий Кузнецов.

Но мы-то на что? Друзья-то?! Собрали деньжонок, трах-бах их телеграфом в Тулу. Ночью является наш Иван, плачет, обнимает нас. Смотрим, полысел, руки трясутся, глаза как-то неладно бегают. Достали мы Ивану гостевой билет на съезд, пошли в Кремль. Он костюм новый надел, галстук повязал, трезвый сидит, торжественный.

По поэзии доклад на этом съезде делал Сергей Сергеевич Наровчатов, который тогда же, прямо с трибуны, объявил, что заработок прозаиков у нас равняется 60–70 рублям, заработок поэта 40–50. Надо учесть, что в эту раскладку вошла и группа высокооплачиваемых старейших писателей, заработки же иных провинциальных писателей, знаю я, нищенские и жизнь их нищая. У того же Ивана Панькина в голой малогабаритной квартире сгнили матрацы на койках, не было постельного белья, не каждый день и еда на столе бывала...

И вот, значит, говорит секретарь правления Союза писателей СССР тов. Наровчатов с высокой трибуны о литературе и мимоходом повторяет, что если бы литературу, особенно поэзию, не засоряли разные там Петровы, Сидоровы, Ванькины, Панькины, то она и была бы на других, более крутых высотах...

Заплакал наш Ваня: «За что он меня, ребята, а? За что?»

И сколько мы ни говорили Ивану, что это всего лишь ораторская метафора, вскользь упомянутые безымянные фамилии, первыми попавшиеся в голову докладчика, что его, Ивана Панькина, Наровчатов не имел в виду, что ни сном ни духом о нем он не ведает, скорей всего и не читал ни одной его строки, ничего не помогало: убитый, растерзанный, со слезами уехал в Тулу бедный Иван. Местные гаденыши из писателей, кто со смехом, кто так, давай травить мужика пуще прежнего, и дело кончилось тем, что однажды поутру пришел Иван Панькин к зданию КГБ и спросил у вахтера, здесь ли сейчас самый главный начальник? Вахтер ответил, что самый главный начальник еще почивают, но к девяти или к десяти утра непременно изволят быть.

В каком-то отделе КГБ попал Ваня на внимательного и доброго, видать, человека и сообщил ему, что давно уже все кругом говорят, будто он никаким моряком не был и даже моря в глаза не видел. Ну ладно, писатель никудышный, как утверждают в Туле, может, и хозяин дерьмовый, погуливает, а дома часто жрать нечего и имущества шаром покати, но моряком-то он был, у него даже фотография, одна-разъединственная, правда, но сохранилась, он еще юнгой когда был, снимался.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

«Конечно, тут парень красивый, в кудрях, на меня уже мало похожий, но это я, ей-богу, я! А соседи за стеной вот уж которую ночь кричат: «Не был он юнгой! Не был!..»

Ивана Панькина определили в больницу, подлечили. Дочь его вышла замуж. Сын окончил консерваторию, сам писатель получает пенсию. Обкомовского деятеля, что травил Ивана, давно выперли с руководящего поста, примерли иль присмирели злобствующие графоманы с билетами членов Союза писателей. Все как будто наладилось, но сколько острых осколков ранило сердце талантливого человека! Угасло его вдохновение, потускнела, примолкла буйная, цветистая, через край бьющая фантазия. Однако как в ту пору, когда задавливала нужда, и теперь, когда жить ему полегче, Иван не ударялся и не ударяется в литературную халтуру, не отдает в печать ни одной сырой, десятки раз не переписанной, до звона не отделанной строки.

Он настоящий работник в литературе, не опускающийся до сиюминутного успеха, до быстро проходящих, столь соблазнительных благ, и этого ему не может простить посредственность, которую мы часто, в особенности в провинции, охотно плодим, затем благодушно журим и равнодушно терпим.

Когда я поведал историю Ивана Панькина Александру Николаевичу, он долго взволнованно ходил, да не ходил – метался по своему кабинетику, в теплых козьих носках, в валяных чувяках, и все восклицал:

– Да что же это такое! Да что же это такое! Вот уж воистину бедному Ванюшке... И Сережа, Наровчатов-то! Он же и не знает... Не-ет, ребята, надо о вас писать, надо открывать литературную Россию..

И тогда же поделился со мною замыслом будущей работы, пока еще приблизительно спланированной: первая статья обо мне, вторая – о поэтах Люкине, Василии Казанцеве, Владимире Жукове или Валентине Сорокине, которого А. Н. Макаров выделял среди курсантов и дружески к нему относился, затем снова о прозаиках, хотя и молодых еще, но уже «состоявшихся», – о Юрии Казакове, Георгии Семенове и о Викторе Конечком или о ком-нибудь из этой же «когорты».

– Ну, а потом и до ваших дружков доберуся, обретающихся там, во глубине России. Ох доберуся! Мне бы только оклематься маленько, с текучкой разделаться и пописать, в охотку пописать, не поденщину бы эту треклятую тянуть. Надоела она мне, ужасно надоела! Так хочется пописать для души, в собственное удовольствие.

Но пока собирался Александр Николаевич и готовился к этой работе, шла жизнь, формировались писатели, рушились судьбы иль воскресали из нетей выдающиеся писатели, такие, как Булгаков, Платонов. Здесь попутно мне хочется рассказать еще об одной судьбе крупного современного писателя, того самого, которого Александр Николаевич в одном из писем назвал писателем настоящим, без дураков, – о судьбе Константина Воробьева.

Конечно же, судьбы человеческие – они каждая сама по себе, хотя живем мы вроде бы сообща и все у нас должно быть общим. Судьбы писательские и вовсе прихотливы. На моем веку произошло немало блистательных, шумных восхождений на вершины, где уж одно только сияние, благоухание, восхищение, поклонение, и вершина эта оказывается столь заманчива и удобна, что сиднем сидит на ней обласканное новоявленное творческое диво и совсем уж не видит, что делается вокруг, в особенности у подножия вершины – кто там копошится, зачем копошится и куда это все спешат – на работу, что ли?

Однако есть писатели, напоминающие мне старательного и умного пахаря, что встает до зари и без шума, гама, показной активности, молодецкой стати делает свою трудную работу.

Но случалось и, как ни горько это признавать, поныне еще случается, что судьба такого вот скромного труженика не только в повседневной, сложной жизни, но и в литературе проходит незамеченной, даже после смерти втуне остается выдающееся дарование – это вроде бы при всеобщем-то, заинтересованном внимании к современным нашим творцам?!

Такой вот укорный пример нашему творческому коллективу и многохваленому читателю – судьба писателя Константина Воробьева, которого граждане наши, даже много и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

внимательно читающие современную литературу, по сию пору путают со всеми Воробьевыми, кои были и есть в литературе, но чаще всего и совсем не знают. Упомянешь его на встрече, назовешь в числе выдающихся русских советских писателей – недоумевают читатели, пожимают плечами или изумленно спросят: «Да уж не тот ли это Воробьев, что написал «Убиты под Москвой», «Крик» и еще что-то?» – «Тот-тот!» – скажешь, и непременно последует: «Это ж замечательные вещи!»

Вот так: знают книги, знают повести, но не знают автора! Тоже феномен читательский, тоже загадка, и загадка тем удивительней, что не только читатели, но и многие, так сказать, «собратья по перу», «работники одного цеха» мало или совсем не знают творчества Константина Воробьева. Однако не было еще случая, чтоб, отрекомендовав кому-то книги моего ныне уже покойного товарища и собрата по войне и работе, я услышал бы: «не понравилось», «не показалось». Наоборот: всегда письменно или устно благодарили меня читатели за то, что «открыл замечательного художника, к стыду моему, как-то пропущенного...»

Печататься Константин Воробьев начал в середине пятидесятых годов, сперва в провинции, затем в Москве, и не где-нибудь, а в «Новом мире», где появиться в ту пору мог писатель не просто сложившийся, но и владеющий «крепким пером».

Он долго и трудно шел в литературу, его рукописи громили московские рецензенты в журналах и издательствах, громили беспощадно, изничтожающе – я потом узнал их, этих «закрытых» рецензентов, – громили они и меня, и в конце концов убедился, что это в большинстве своем несостоявшиеся писатели-теоретики, всё и вся знающие про литературу, но не имеющие писательского дара.

Чтобы существовать самим в литературе, кормиться – им надо было оборонять себя и свое утепленное место, и в первую очередь обороняться от периферийной «орды», от этих неуклюжих, порой угловатых и малограмотных, но самостоятельных и упорных, жизнь повидавших мужиков. Имеющие за плечами институтское или университетское образование ретивые литературоведы, подобные некоему Дажину из «Красной звезды», какое-то время успешно справлялись с нашим братом, сдерживали на «запасных позициях», но когда их «скрытая оборона» была прорвана, они взялись трепать нас печатно, и доставалось нам все больше за «натуралистическое видение жизни», за «искажение положительного образа», за «пацифизм», за «дегероизацию», за «окопную правду», которую один, ныне уже не процветающий писатель назвал «кочкой зрения», хотя сам «воевал», между прочим, в армейской газете и что такое окопы – представлял больше по кино и по наградным репортажам, кои изучал вдаль от боев, в штабах, а туда их посылали с передовой ротные «писаря» – в нашем дивизионе это делал мой друг Ваня Гергель, – для большего веса и важности сочиняя подвиги и в меру своей не очень цветистой фантазии всячески приукрашивая наш моральный облик.

В особенности доставалось за «окопную правду», за «натуралистическое» изображение войны и за искажено «образа советского воина» Константину Воробьеву. Но у периферийных писателей той поры, в первую голову у бывших фронтовиков-окопников, а не у тех, что мешками проливали кровь в газетах и после войны сумели доказать доверчивым читателям, что именно там, в газете, и была настоящая, самая страшная война, в конце концов образовалось своего рода товарищество, которое, как правило, начиналось с переписки, с заочного знакомства. И мы прекрасно понимали и были единодушны в том, что когда читателя долго кормят словесной мякиной, пусть она, мякина, и о войне, – у него, у читателя, появляется голодная тупость и малокровный шум и звон в голове.

Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне. (К. Воробьев уверял меня в том же.) Да и в самом деле: как иначе-то думать, если вот под песню «Клен зеленый» воюют летчики, даже не воюют, а выступают на войне: «Парни brave, brave, brave!..» И так вот красиво выражаются: «Война – дело временное, музыка – вечна!» – И-и... взмах руки: «Кле-он кудр-рявый!..» – летят вверх эшелоны, цистерны, – «рас-кудр-рявый!..» – и лупит в хвост удирающему фрицу краснозвездный сокол, аж из того пиротехническая сажа и киностудийные ключья летят! Еще раз: «Р-раскудр-рявый!..» – и в землю врезается бомбовоз, разбегаются ошеломленные враги, все горит, все бежит, – и как-то в кинотеатре я тоже заподпрыгивал на сиденье и в ладоши захлопал вместе с ребяташками школьного возраста – до того мне поглянулась такая разудалая война.

Или вот еще: смертельно раненная девица поет романс: «Ах, не любил он, нет, не

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

любил он...» – и палит из автомата по врагам, палит так много, что уж в рожке немецкого автомата не сорок, а тыща патронов должна быть, – это она под романс-то, «красивая и молодая», заманивает фашистов в темь леса, на неминуемую гибель.

Но там, на некиношной войне, на настоящей, дяди баскетбольного роста, со штангиста Алексеева телосложением, раненные в живот (редко кто с этим ранением выживал), криком кричали «маму», безбожники – Боженьку кликали и, уж срамотища сплошная, – доходило до того, что умоляли: «добейте, братцы!..»

Конечно, при подобном, до конца так и не избытом «творческом климате» и чудесах искусства и литературы, писателям вроде Константина Воробьева было тяжело жить и работать, и не надо изображать дело так, будто у ворот Союза писателей, у парадного подъезда, под вывеской «Добро пожаловать!» – с утра и до вечера стоят Марков и Михалков с хлебом-солью и трепетной ладонью глядят молодые дарования, умиленно повторяя: «Проходите, пожалуйста!»

Повторяю: у даровитого человека судьба была, есть и будет отдельная. У даро-ви-то-го! Возьму на себя смелость заявить, что у Константина Воробьева не только жизнь, но и творческая судьба была не просто отдельной, но исключительной.

Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателейфронтовиков, быть может, и не широкое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе «противника». Об этом непростом и нелегком становлении тогдашней молодой литературы даже нынешняя вроде бы все знающая критика помалкивает, а стоило бы ей вместо того, чтобы перемалывать молотое, хвалить хваленое, поинтересоваться архивами хотя бы того же Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий – удивительные бы документы они для себя открыли! У меня, например, хранится ответ Павла Шебуновича, подписавшегося Шебуниным, из журнала «Огонек» на рассказ «Солдат и мать», в котором он советует обратить внимание Пермской писательской организации на «идейное мировоззрение» молодого автора, намекает, что и документы его не мешало бы проверить...

Но чем периферийщиков больше игнорировали, оттирали и унижали, тем они жадней и привязчивей следили друг за другом, и, прежде чем пожать руку собрату по войне, зачастую уже досконально знали его творчество, вступали в переписку, поддерживали как могли, иногда и печатно. Но и требовали друг от друга будь здоров, ибо хорошо знали: чтоб нам утвердиться и устоять в литературе, нужно работать в десять, в сто раз больше тех, кто учился, самосовершенствовался, наполнял свой культурный уровень в ту пору, когда мы дрогли в военных окопах, а затем боролись с разрухой и нуждой.

Для меня был и остается главным судьей в литературе мой лучший друг Евгений Носов, с которым мы познакомились и сошлись на Высших литературных курсах. Да зачтется на небесах тому руководителю Союза писателей, который придумал эти курсы, а мы, периферийные писатели, особенно бывшие вояки, пропустившие время учебы, век за него Богу молиться будем! Если мой рассказ или повесть «показались» Носову, он признал и принял новую вещь – можешь смело тащить ее в любой журнал, в любое издательство. Нежный, добрый человек, он становится беспощадным, когда дело доходит до творчества, и требует с тебя так же, как и с себя, ибо по себе знает: чтобы выбиться в люди, нам, много не добравшим в образовании, надо работать сильнее бойких, языкастых столичных молодцов, которые, не снимая шапки, входят в любой журнал, даже к главному редактору, и запросто с ним калякают, закинув ногу на ногу, не спросясь, курят в священных для нас кабинетах. Нам надо писать и отделять свои произведения так, чтобы никаких «прений» не было насчет «качества продукции», чтобы редакторы и другие деятели литературы морщились, называя нас густопсовыми реалистами, но отправляя рукопись в набор, потому что девать-то некуда, – это как в отечественном боксе иль в футболе: когда наши выступают за границей – надо биться с таким преимуществом, так убедительно побеждать, чтоб даже сплошь почти предвзятые судьи засчитывали бы очки и голы, и пусть против воли, но показывали бы на центр поля.

Не надо забывать и такой фактор: в пору нашего становления как литераторов умами властвовала так называемая «исповедальная» литература, против которой я лично

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

ничего не имею – она хотя бы уже тем полезна, что вызвала ответную реакцию и ускорила приход литературы иной, так называемой «деревенской прозы». От нас в ту пору никто не взял бы в печать произведения, написанные на уровне: «Он сказал. Она сказала. Он попросил. Она дала». И посеичас никто не возьмет. Но уже по другим причинам, по причинам высокой требовательности, утверждению которой в немалой степени способствовало военное поколение писателей.

Нам приходилось и приходится работать так же, как на Войне, – все лучше и лучше. Иначе не победить. Иначе пострадает наше достоинство, будет принижено значение современной отечественной литературы.

Это я сделал такое, пусть и слегка патетическое, отступление прежде всего для нынешних молодых литераторов, которые, как мне сдается и видится, думают, что мы, военное поколение писателей, вошли в послевоенную литературу под духовой оркестр, молодецким дружным строем...

Творческая судьба Константина Воробьева – наглядное подтверждение того, как ему, да и всем нам, давалась эта самая литература и то положение, которое мы по справедливости в ней занимаем.

После того как критик Гр. Бровман навалился на Константина Воробьева и начал прорабатывать его при появлении любого его рассказа, любой повести будто на посту стоял и караулил! – за те самые грехи, что я перечислил выше, мне пришлось вступить за фронтовика-писателя, и я, чуть ли не впервые, попробовал себя в критике, написал статью в газете «Литература и жизнь» под названием: «Яростно и ярко».

Статья заканчивалась словами: «Константин Воробьев силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный простор, а языку, кстати говоря, отличному, богатейшему оттенками и красками, русскому языку – полное дыхание, как на ветру, напоенном запахами родной ему курской земли, русских полей и садов».

И тогда огонь, зажженный им, горит во всю мочь, яростно и ярко».

Статья написана и напечатана в 1965 году. Петушистость той статьи мне както все еще не по нраву, ныне бы я так не сумел написать, призвал бы себя к сдержанности и теоретизировать бы взялся. Кроме того, в той статье изложено было содержание одной из лучших повестей о войне, и не только у Константина Воробьева, но и во всей нашей литературе, что теперь общепризнанно, и тогдашние слова мои: «Это не самая лучшая повесть К. Воробьева» – я, после нынешнего прочтения повести, беру назад, и, надеюсь, читатели простят мне этот грех и некоторую менторскую назидательность в конце статьи – это мне хотелось выглядеть «солидно», не «отставать от тенденции».

У меня хранится книга повестей и рассказов Константина Воробьева с его дарственной надписью, изданная в 1964 году «Советской Россией», и в книге этой оказалась вырезанная мною из журнала «Смена» редакционная заметка с портретом молодого, не просто красивого, а какого-то яркого юноши с темной причешкой (она окажется рыжеватой), тоненького, изящного, даже в чем-то интеллигентного (он, кстати, окажется высоким, статным, резким в словах и жестах, но в чем-то и вправду неуловимо интеллигентным), и я, глядя на этот журнальный снимок, всегда с грустью вспоминаю грустную же русскую поговорку: «Красивыми, быть может, не были, а молодыми были».

В заметке написано вот что:

«В журнале «Смена» был опубликован рассказ-быль К. Воробьева «Верное сердце». Редакция получила на него много откликов. Читатели просят познакомить их с Константином Воробьевым, с его новыми произведениями».

Константин Дмитриевич Воробьев родился в 1919 году в Курской области. Юношей приехал в Москву, работал уборщиком в магазине, был шофером, а вечерами учился. Затем стал профессиональным журналистом. В 1956 году в Вильнюсском книжном издательстве вышел первый сборник рассказов К. Воробьева «Подснежник».

..Войну К. Воробьев начинал рядовым, необстрелянным кремлевским курсантом, каких он описал в повести «Убиты под Москвой». Закончил командиром отдельной

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

партизанской группы в Литве, изведав унижение и боль окруженца, отчаяние пленного и мужество побега, так что весь «натурализм войны», так угнетающий глаз и ухо нашим критикам, он до дна изведал на себе и хорошо понял, что ничего на свете нет страшнее, чем на войне, где люди убивают людей. Он и писал страдая, а не любясь войной и подвигами, не наряжая войну в романтические одежды, так нравящиеся детям и дядям, которые сами не воевали и на войну не собираются, зная, что за них воевать и умирать станут другие люди. К. Воробьев писал о войне, страдая за людей, без расчета кому-то угодить и понравиться. В этом его сила. В этом его правда, жестокая, горькая правда, предостерегающая человечество от самоистребления и унижения насилем.

Людям свойственно забываться и не понимать все ужасы и последствия войны – недавно я прочитал заметку о том, как один американский инженер кустарным способом, у себя в мастерской, изготовил атомную бомбу, и сообщение об этом напечатано было в тех же номерах газет, что и жеребьевка встреч по футболу на чемпионате мира в Испании. Так вот: жеребьевка вызвала самые оживленные мнения, прения и толки, а сообщение об атомной бомбе дорогие читатели и не заметили даже, в чем я мог потом убедиться.

И писатели, подобные Константину Воробьеву, являются затем, чтобы пробуждать совесть, тревожить сознание людей, напоминая им о том, что было и чего быть не должно, ведь только одно изобретение пороха или появление пистолета увеличило поток крови и смертей на земле до астрономических размеров, нанесло колоссальный урон земле, животным, всему живому на свете. А тут атомная бомба! Боевая ракета в руках человека, никем и ничем не контролируемого.

А теперь я передам слово земляку Константина Воробьева, нашему общему другу, задушевному человеку и писателю Евгению Носову.

«...Я развернул карту моей курской стороны и долго вглядывался в ту ее полуденную часть, где к тонкой, синей прожилке безымянного ручья прилепился похожий на рыбью икринку топографический кружок села Нижний Реутец. Из этойто икринки и вышел в большой свет своеобразный и яркий художник Константин Дмитриевич Воробьев.

Родился он всего в одном дне ходьбы от моей деревни, и получилось, что некогда, еще мальчишками, мы видели одни и те же восходы и закаты, слышали одни и те же майские громы и поди что мокли под общими ливнями. Да и хлеб ели почти с соседних полей и жили и росли по единым обычаям, дошедшим к нам от общих наших предков – пахарей и воинов земли Северской.

Но так случилось в круговерти жизни, что не знали мы друг друга почти полвека и встретились (теперь горько сознавать это) лишь незадолго перед кончиной Константина Дмитриевича. И чувствую, догадываюсь, как нужны мы были друг другу, почти одновременно вступившие в литературу, трудно, вслепую искавшие туда дорогу, как важны были нам в ту пору взаимная поддержка и одобрение».

Слышите, как большой мастер, тонкий стилист, честный человек и писатель Носов в пожилом уже возрасте вольно и невольно винится перед земляком-писателем. И общественность наша, в первую голову литературная, пыталась и пытается это сделать – после смерти Константина Воробьева (1975 год) в Вильнюсе был издан двухтомник; одна за другой вышли книги в центральных издательствах столицы. Наконец-то! – снизошло до творчества писателя, большого мастера, и самое массовое издание – «Роман-газета»; в газетах и журналах появились статьи и исследования творческого наследия писателя. Читал интервью известного режиссера Алексея Салтыкова, который собирается ставить художественный фильм по повести «Убиты под Москвой». Медленно, разрозненно и лениво начинает проявлять интерес к творчеству К. Воробьева и наш дорогой читатель, которого, судя хотя бы по отношению к этому незаурядному писателю, мы как-то заискивающе перехваливаем и торопимся наговорить ему комплиментов при любом удобном случае, особенно по торжественным дням.

И зная все это, следя за посмертной судьбой писателя и товарища, не раз и не два я горько вздохнул: «Вот бы все это при жизни».

Как нуждался Константин Воробьев в участии и поддержке! Как трудно пробивался в печать. Всю жизнь трудно, с нервотрепкой, доходя порой до отчаяния и душевной депрессии.



«Черт знает, отчего это, но мы ведь редко балуем друг друга словом приветия и одобрения. А как это нужно!» – Это я написал письмо Косте с восторгом по поводу повести «Алексей, сын Алексея» (ныне она называется «Сказание о моем ровеснике») и с руганью по поводу повести «Капля крови», которую тоже написал Воробьев, но совсем другой.

«Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять, отчего мы, несмотря на трехсотлетнее ярмо татар, розги Салтычихи, лагеря Берии и Сталина – сохранили живой, честный ум и веселый смех. И никому, никогда не отдадим свой летучий – для нас неминуемый гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить».

Потом, при личном знакомстве, придется убедиться, и не только мне, что оптимизм его, Кости, и резкий, ядовитый, но веселый нрав – все от природы, а не от литературы. Зная, как трудно складывалась его военная судьба, мы много и не раз говорили об этом, но более всего мы расспрашивали его о том, что это такое – кремлевский курсант? Каково служить при Кремле? И он охотно, порой с юмором, рассказывал нам, его друзьям и товарищам, о действительно очень трудной, единственной в своем роде службе. О том, как стояли возле Мавзолея и на других постах кремлевские курсанты. Неподвижно. Окаменело. Со стороны это торжественно, красиво, благоговейно. Тем, кто смотрит. Но тем, кто стоит?.. Когда нет посетителей, можно переступить с ноги на ногу, переморгнуться с напарником, размять пальцы на руках и ногах. Но когда на глазах у людей...

Приняв первый бой под Москвой, жестокий, беспощадный, Константин Воробьев попал в плен, бежал из Шяуляйского лагеря в партизанский отряд и там встретился с Верой Викторовной, которая стала его женой. Она и поныне хранит верную ему память и архив писателя. Сейчас и Вера Викторовна, и дети Константина Воробьева живут в России, в Москве. А как мечтал, стремился сам писатель домой, в Россию. Но так и не смог осуществить своей мечты.

«...Желаю радостей и хочу немного денег. Ты не задумывался, отчего их у нас нету?»

«В день по абзацу пишу, а иногда и по целой странице. Видал?»

«Вот и дождался я своих «Аистов». Посылаю тебе их. Жалко, что «Убиты под Москвой» ты читал в журнале. Там до черта было купюр. В сборнике же это полнее. Я ведь писал их как продолжение «Алексея». Тебе не кажется, что мы с тобой одним миром мазаны? Нет, не только по судьбе-кручине, а по восприятию сердцем мира Божьего?»

«Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов на своих аистов. Сволочи, выбивают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого!»

«Мне известно, что жить и писать с этим (живым, щедрым, русским сердцем) чрезвычайно трудно, но иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Черт с ними, с этой бандой верхушестствующих в нашей литературе, всегда певших аллилуйю тому, кому надо было петь за упокой, продавшихся оптом и в розницу за мишуру. Мы нищи хлебом, но зато «в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне», как сказал Блок. Это чувство радости за свою нерастраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?»

«Осточертела чужбина. Хочу в Русь. Криком кричу – «хочу домой!»

«Что ты делал в Курсках? А Носов – кто? Я не читал его. Ох, хочу на Родину! Я ведь чуть-чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда – купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200–300. Иначе ни хрена не получится. Я уже прошупывал почву насчет Курска. Но мне сказали, что тамошний секретарь обкома терпеть не может писателей и рассчитывать на жилье там нельзя».

«Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины этой брехни, но сердце-то незащищенное!..»

«Да, конечно, выдюжим, но дело в том, что иссыхает душа, выпадает из рук

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

карандаш, вянут замыслы... А надо бы выдюжить! Ох как надо! Но вот я иногда иду по улице и думаю: не дай бог упасть и окочуриться, ибо сраму не оберешься (мертвый-то!): на мне ветхие кальсоны какого-то бля... ки-розового цвета, а вместо носков – женские чулки – я их постепенно отрываю, то, что пробивается в ботинке, и все опускаю и опускаю их ниже колен...»

«Принимался несколько раз писать тебе, но выходило так непотребно мрачно, тоскливо и горько, что... надо было рвать письма: я не люблю нытиков и неудачников... Ну-с. Есть у меня и просветы на горизонте: ребята из Пскова обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше».

«...В Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать. Юра Гончаров пытался помочь мне издаться в Воронеже, но из этого ничего не получилось. Говорят, что надо писать так, как, скажем, К. и Б. Но это же надо уметь так писать...»

«Пребываю преимущественно в лежачем положении».

«...А вот насчет «Советского писателя» – это все пустые хлопоты. Туда меня не пускают. И хрен с ними!»

«...Мне передали, как ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице, с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо – троит и двоит, так что, к примеру, ежели встать возле метро и протянуть руку, то вполне для меня реально, что поданный пятак будет сходиться за три... Будь добр, черкни пару строк вот о чем: ты не мог бы поспособствовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве «Современник».

Я как член редсовета данного издательства «содействовал» – и вот что получилось: «Прокушев, оказывается, как передал мне Миша Колосов, не считает возможным издавать меня в «Современнике», поскольку, видите ли, я не являюсь русским писателем (имеется в виду местожительство)».

«... Я не тот автор, которого привечают. На мне лежит какое-то проклятье, а за что – никто не знает. Сам я тоже... Я учусь ходить, читать и писать. Вот уже и устал...»

«...А на дворе, брат, весна. Кричат грачи, совокупаются воробьи, лают собаки, пробивается трава – все, как тыщу лет тому назад, и ничему нет дела до цензуры, ни до всего того, что страшно остохренело, измутило...»

Из этих коротеньких выдержек из писем, адресованных мне, которые я расположил, чуть нарушив хронологию – ради «оптимизма», – видно, как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, наверное, не малую, и уж совсем точно, не доделавший очень много, может быть, не написавший «главную» свою книгу, – о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале «Наш современник» лишь взявшая «разгон» повесть...И всему роду твоему». По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкому проникновению в святая святых – душу человека даже и в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой.

Из писем видно, что Константину Воробьеву не я один пытался помочь, но что из этого получалось, можно судить по письмам покойного или по такому вот примеру: к двадцатипятилетию со дня Победы Пермское книжное издательство поручило мне составить сборник военной прозы, и наряду с другими известными произведениями я включил в этот сборник рассказ Константина Воробьева «Дорога в отчий дом». И рассказ понравился в издательстве, решено было всей книге дать по нему название, соответствующее содержанию и духу сборника. Пока книга выходила, я переехал жить в другой город, и каково же было мое изумление, даже не изумление, а потрясение, когда я получил хорошо изданный сборник «Дорога в отчий дом», но самого рассказа там не было – кто-то где-то на пути к дорогому читателю смахнул рассказ, заменил его сусальненькой, но модной тогда и правомерно теперь забытой повестью другого автора – кто-то где-то услышал, что автор «не того», – вот оно: «На мне лежит какое-то проклятье...»

Допустим, что это преувеличение истерзанного болезнью, одинокого человека, уже предчувствующего смерть. Но разве сие избавляет нас, после него живущих, от

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

чувства вины? Думаю, что нет. Иначе чего бы засуетились издатели, писатели, критики, после смерти писателя начали его печатать, «привлекать внимание» к рано ушедшему незаурядному таланту? А что он был таков – никаких доказательств не требуется, откройте книги Воробьева на любой странице и читайте, вот хотя бы начало одной его, самой почти первой повести «Алексей, сын Алексея»:

«... Под вечер степь наполнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы-борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выискивала впадину, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась».

Какой легкий, изящный ритм! Какая влюбленная в слово поступь молодого, автора, какой он еще романтический!

А теперь послушаем его последнее произведение, неоконченную повесть...И всему роду твоему». И тоже начало. Делаю это сознательно – для сравнения:

«Шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга – густая и туманноседая, как и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь и свиная кожа стала неряшливо-пегой, а не первозданно-желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может быть, только из-за этого перчатки сильно воняли...

Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски-роскошным рокотом, обдав его грязью, – шофер, наверное, поддал газу, а Сыромуков подумал: как много развелось на свете оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом, глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно – оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так, под горлом, стесненнозатихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним, через долгую, как целый век, паузу – второй, потом третий, а после начиналась скакучая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Этот страх каждый раз был новым, свежестрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, а страшилось все тело, и больше всего – глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение: они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе – зачем они это проделывали?..

Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом – наверное, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут, на всякий случай, окажется сухое место...»

Вот такая вот картина, на мой взгляд, не требующая никаких комментариев.

Между «тем» и «этим» началом лежит жизнь художника. Ах, как не ценим мы ее, чужую-то жизнь! Все еще не научились. Или разучились? На бумаге больше, в застольной болтовне «проявляем заботу о ближнем».

Но почему-то мне хочется вернуться еще к той, ранней повести.

В деревне Шелковке орудует продотряд, возглавляемый матросом. И сам он, и продотрядовцы очень уж круты, революционно-беспощадно настроены, что и дает повод сбегать к белым посыльному и сообщить, что «Шелковку грабят».

И вот «на рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные подотрядовцы, как разбрызганные, кинулись в огороды, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей – тоже».

И он, и Катерина, та самая, что ходила купаться в ковыли, пробовали отстреливаться, Катерина вместе с сыном хозяина того дома, в котором они останавливались, погибли; самого хозяина, Матвея Егоровича, русского

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

крестьянина, ярко, земно написанного К. Воробьевым, и матроса – повели за село. «На спуск к реке они двигались через податливо расступившихся баб и детей, и под свой плавный, широкий шаг матрос не переставал просить: «Может, кто взял бы ребенка, а? Восьмой месяц ему... Алексеем зовут, а?» Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками...

Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей чернобылом и пыреем, повели к Бешеной ложине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки и безмятежно и кротко сияли в росной траве безмянные шелковистые «тветы». Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и конвоиров, минуя заросли, на чистую поляну. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул на матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным горячим ужасом, Матвей Егорович почти закричал: «Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, острастку напустят и...» – Он так и не понял, что было первым: обвальный грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал косо, с плеча. Подвернув под себя голову, он судорожно начал подгрести одной рукой, будто искал что в траве или плыл к неведомому берегу.

Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурив глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаз, он торкнулся головой на ребенка, на его голос, схватил и приподнял его навстречу конвоирам, как икону: «Люди! Люди!..» – ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой словами выразить было нельзя.

«Люди! – шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собою ребенком».

Эта вот сцена со своей душой обдирающей трагичностью, глубочайшим философским смыслом, написанная столь красочно, напряженно и жизненно, право же, стоит некоторых современных анемично-водянистых рассказов и даже романов. Но боюсь быть пристрастным и передам слово опять Евгению Носову:

«...Сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темперамента и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем, в чем я и убедился уже потом, при близком знакомстве с писателем.

Константин Воробьев любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговей над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на звонкой наковальне.

На этом огне он и сгорел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц».

«Повествуя о жизни простых людей, он всегда стоял на позиции этих людей, и никогда сверху от них или сбоку, – пишет критик Ю. Томашевский. – К. Воробьев не выносил жизни по регламентации, порожденной темнотою и ханжеством, что остались в наследие нам от ушедшего навсегда прошлого. Борьбу за утверждение умной, созвучной с двадцатым веком жизни – он считал первейшим делом литературы... Воскрешая в памяти былое – пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он».

И это истинная правда!

Окидывая взглядом литературу последних лет, читая, допустим, «ржевскую прозу» Вячеслава Кондратьева, так смело, зрело и разом вступившего в литературу повестью «Сашка», – я вижу в ней прямое влияние не только Константина Воробьева писателя, но и гражданина своей страны и нашей стойкой в лучших ее проявлениях литературы, гражданина и писателя, принимавшего на себя не только груз самоотверженной работы, но и удары критики, невнимание читающей публики, материальные лишения, житейские невзгоды. И, принимая все это на себя, он как бывший командир-фронтовик, конечно же, со всей ответственностью сознавал и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

понимал, как понимали и его окопные друзья, перешедшие в книги, – вослед идущим бойцам будет легче прокладывать пути вперед, плодотворней трудиться и творить.

Вертятся вот и вертятся в голове не знаю чьи стихи, с детства запавшие в память, ибо не раз возникала надобность их повторять и повторять: «И все цветы, живые, не из жести, – придите и отдайте мне теперь! Теперь, теперь, пока еще мы вместе...»

И к Александру Николаевичу это относится тоже со всей глубокой драматичностью живой действительности, и еще не покидает мысль, что живи он дольше, осуществись его мечты о книге «Во глубине России» – облегчилась бы творческая и житейская судьба не только моя, не только Константина Воробьева, а и многих-многих периферийных писателей. Материал этот частично публиковался в периодике, и его прочел бывший редактор журнала «Нева», известный писатель Сергей Воронин, и я считаю нужным вставить его письмо в книгу.

Дорогой Витя!

Читал я в журнале «Смена» детектив и натолкнулся на твою статью о Косте Воробьеве. Это хорошо, что ты написал о нем, тем более что его имя есть теперь в Энциклопедическом словаре и справедливость, таким образом, восстановлена.

Но вот моя досада. Ты пишешь, что его открыл «Новый мир». Это не так. Его открыла «Нева» в то время, когда я был главным редактором. Это я напечатал его первый рассказ «Ермак», после этого роман «Последние хутора», который был разруган Г. Радовым в «Лит. газете»... Он обвинял Костю в шовинизме. Была напечатана его широко известная повесть «Крик», был напечатан в «Неве» его сценарий. И не была напечатана его повесть «Убиты под Москвой» только потому, что в ней отдавало духом пораженчества. Вот после этого повесть была напечатана в «Новом мире». Полагаю, он поработал над ней. Но дело не в этом. Обиды на меня Костя не имел. Дружба у нас была прочная. В Пушкинском доме хранятся его 29 писем ко мне, которые свидетельствуют об этом.

В свое время на каком-то съезде мы разговорились с тобой, и ты сказал, что собираешься писать о К. Воробьеве. Тогда я пообещал тебе выслать свою книгу «Время итогов», где был довольно большой материал о Косте. Книгу я выслал. Не знаю, получил ли ты ее, читал ли – ни слова. А жаль. Тогда бы ты не допустил такой неточности в своей статье.

Думаю, если будешь включать эту статью в книгу, то исправишь эту несправедливость. Память о Косте Воробьеве мне не менее дорога, чем тебе.

Кстати, даря мне книгу «Седьмой тополь» в 1958 году, он написал: «Правильному другу моему, честному писателю матушки-Руси – Сергею Воронину. С любовью. К. Воробьев».

Будь здоров! Желаю тебе самого доброго. Почитай все же мою книгу «Время итогов». Она включена в 3-х томник.

29 июля 1978 г.

(С. Воронин).

Дорогой Виктор Петрович!

Пишу, как видите, вдогонку за предыдущим письмом, потому что была в Вашем письме фраза, которая очень меня зацепила. Я постарался скользнуть по ней глазами и как бы пренебречь ею, однако вот два дня только об этом и думаю. Это та, где Вы пишете, что боитесь, что статья может нас «развести».

А я, думаете, не боюсь? Еще как! Случаи такие на моем веку бывали. Я не о тех говорю, кто, так сказать, на тебя рассчитывает, а потом, как напишешь, так уж для него и не существуешь, а про очень даже умных людей.

Так вот было у меня с Твардовским. Очень он ко мне как-то расположился, тогда я только задумывал о «Теркине» писать, и вроде бы мы нашли взаимопонимание. А

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

потом чем дальше, тем больше расходились – сильный и властный он человек и не мог перенести, что я не тютелька в тютельку, как он, думаю, и когда напечатал я «Прозу поэта», где от души восторгался его прозой, через два дня в «Известиях» появилась статья Андриюши Туркова, где тот упрекал меня, что якобы я говорю какие-то двусмысленности. А никаких двусмысленностей там не было, а очень явно говорилось, что Ал. Триф. бывает не всегда искренен, вернее, что вот то, что он почувствовал на родном пепелище – желание воссоздать этот ушедший мир, – и есть его подлинное желание. Или что-то в этом роде, я уже и не помню. И с Межелайтисом тоже – пока писал книжку, была оживленная, хотя и редкая переписка, откровенные разговоры о литературе, а вышла книжка – новогодние поздравления, где в конце приписка, мол, читаю Вашу книжку, «благодарен скромно и благородно». Один только человек, что бы там ни писал, всегда сохранял ровное ко мне отношение – Симонов, и ни на йоту его не изменил. Умен Костя, гораздо умнее даже, чем о нем думают. Только ведь ни один из них, и даже Костя – однокашник по институту, не был для меня тем, чем стали Вы. Мой старый учитель, правоверный приспособленец Бровман, сказал мне однажды: «Вы живете правильно, одиноко, ни с кем особой дружбы не водите, так и должен жить критик». Знал бы он, чего мне стоит эта одинокость, вернее, ничего она мне не стоила, потому что никакой охоты заводить дружбу среди литературных людей, равно высоких и малых, у меня ни разу не возникло. Как у того эстонца или финна, который до десяти лет слова не вымолвил и немыв в семье почитался, пока на сенокосе матери не сказал: «Что ж ты, так твою мать, воду-то не похолодила?» И на изумленный вопрос: «Что же ты раньше молчал, десять лет!» – ответил: «Потребности не было». Вот и у меня – потребности не было в литературных друзьях. Это ведь не объяснишь, почему к одному человеку всей душой и сказать ему о себе можешь все, чего и жене не скажешь, хотя и не обязательно говорить, но знаешь, что есть человек, которому все можно сказать, и хорошо тебе, что он существует на свете. Только ведь редко встречается такой человек. И не статья меня пугает. Кабы Вы только один ее прочли! Ну сказали, тут ты, мол, врешь, не то, что думаешь, пишешь, а это вообще ерунда, может быть, даже где-то воскликнули: «Продает, стервец! На ходу продает!» и т. п. Но ведь ее и другие прочтут. Один скажет: «Что это о тебе там Макаров пишет, ты ему не верь». Другой: «Что уж это он так тебя расхваливает, на два номера разогнался!» Третий: «Ну, ты теперь кум королю и сват валету! Вон уже о тебе какие длинные статьи пишут!»

И вот тут-то и возьмет Вас чёмер, и скажете Вы про себя: «Черт бы побрал этого Макарова со своей статьей! Лучше бы ему не родиться, а мне с ним не знаться. Толку от его статьи ноль, а я только и отвечай – что, как и почему». И озлитесь Вы на меня злостью самой неприязненной. Вот чего я боюсь – разговоров вокруг да около. А Вы думали, не понимал я этого? Чутки уж очень Вы, родной мой, и сразу почувствовали, чем грозит нашим отношениям такая вот статья, как бы друг от друга глаза отводить не стали, любезно при этом друг другу руки пожимая и улыбаясь. А Вы думаете, не хотелось бы мне бросить треклятую эту статью на половине, не подсказывало мне что-то: берегись, мол, сам понимаешь – слишком дорогое на карту ставишь. Только не мог я этого сделать, и не потому, что Вы бы потом сказали – вот сволочь, натрепался, а сам хоть бы хны, и опять некоторая неловкость возникла. Это-то я бы сумел Вам объяснить, и Вы бы поняли, а потому не мог бросить, что меня уж повело и есть в нас что-то, что нашим желаниям не покоряется и водит рукой помимо воли. Я ведь поэтому и начать долго не мог, и начал даже старой статьей, цитатой из нее.

Но Вам, в конце концов, что? Ну, с месяц посердитесь, а потом и забудется. У Вас хоть Евг. Носов есть да еще кинорежиссер какой-то. А вот мне какво. Были люди, которые мне были дороги, да уходили, жизнь разводила, да и нет уж их на свете.

В юности, пока в Москве жил, был у меня друг на год моложе меня и очень дорог он мне был, да пришлось мне уехать из Москвы в деревню, а когда вернулся в институт, он по дурости в 19 лет женился, у него уже ребенок был, да и сами знаете, никто так не разбивает людей, как молодая жена, которая ко всему прошлому ревнует отчаянно. И пришлось махнуть рукой на эту дружбу. Потом его убили на войне.

Был и в деревне золотой парень, только тут нас жизнь развела, и хоть он жил последние годы в Москве, но с семьей, на войне стал инвалидом, да и дороги-то наши уж очень разошлись, кроме как о прежнем и поговорить было не о чем, я вроде писатель, а он – сторож, вахтер. Только очень он мной гордился и тепло его все же меня грело. Да сгорел он спьяну, в той самой сушилке, которую сторожил.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

В институте тоже завязалась хорошая дружба с поэтом Б. Лебедевым, уже покойным. Правда, чего-то в ней все же не хватало, она больше интеллектуальной была, но и тут я в армию уходил, он уже был безнадежно болен чахоткой, как всякий человек, знающий и не желающий понимать, был уже чуть-чуть не от мира сего. И этот умер. А последний, по годам-то вроде и неровня мне, погиб вот в той аварии, про которую вы от меня слышали, в 57-м году. С его уходом для меня как-то все померкло, цвета, запахи, звуки, и природу я стал видеть как-то обще-цветно, как в кино. Лет восемь, должно быть, прошло, пока я опять стал видеть и слышать. Спасла меня работа, я тогда за год целую книжку наката, да еще больше, пожалуй, после него мальчишка остался и очень почему-то ко мне привязался, я его по всем местам свозил, куда с его отцом ездил, – и на Кавказ, и в Крым, и даже снимал там, где, бывало, с его отцом снимались, чудил, сливом. Только вырос теперь этот мальчишка, ему уже двадцать лет и своя у него жизнь.

И вдруг свалилось на меня это наше заочное сначала знакомство, как говорится, Бог послал. И вот за каким-то дьяволом дернуло меня самому мину под его положить. Ну что ж, как говорится, сапер один раз в жизни ошибается, и это уж в последний. Взорвется аль нет? Вообще-то жизнь сделала меня фаталистом, и, полагаю я, что в испытаниях нам, грешным, уж ничего не остается, как положиться на волю Божию. Тургенев вон девизом жизненным избрал французскую поговорку, приблизительно означающую «Пусть идет как идет». Теперь уже не остановишь.

А сны мне тоже все деловые снятся. Только еще более страшные. Вам вот Ася Берзер приснилась, а мне несколько дней назад моя редакторша Малхазова пришла и говорит: «И зачем мы с вами эту книжку выпускали (не ту, что теперь, а «Серьезную жизнь»), все равно ее никто не покупает». И проснулся я в холодном поту, тем более что наяву никак не идет моя Малхазова и верстка прочитанная на тумбочке у меня валяется, то ли ее корректора читают, то ли цензор обдумывает, а я пока все ее порчу, нет-нет да что-то, что кажется крамольным, вычеркну, а крамольным теперь уже и самое безвинное кажется. А позавчера приснились Брежнев и Косыгин, будто присутствуют они на каком-то партсобрании у нас, в «Знамени», и Косыгин речь произнес. Я говорю кому-то: «Вот видите, Косыгин сказал, что можно». А что он говорил и что можно – этого и не помню.

А вчера уж совсем страшный сон привиделся, будто обвиняют меня, что я приписал себе высшее образование, а документа на это нету. Документа у меня и в самом деле нет. Нам выдавали вместо диплома в красных рамках удостоверение за подписью Ставского. Многие потом их обменяли на стандартные дипломы, такой я у Чаковского видел, а мне и менять-то было нечего. Еще до войны, когда я был в армии, Наташа, думая перетащить меня из-под ружья в газету, в Москву, отнесла мой «диплом» тов. Дедюхину, он в ПУРе комсомолом ведал, все обещал найти, уж когда я из армии вернулся, а тут война, началась и уж какие там Дедюхины. Так и живу без диплома, благо все здесь знают, что был он с отличием, тогда нас только пять с отличием госэкзамены сдали и вообще на круглые пятерки четыре года тянули: Симонов, Бор. Лебедев, В. Высоцкая, Н. Верейская да я. И всех это наше подвижничество удивляло, хотя не знаю, как дамам, но мне, Борису и Косте оно как-то без труда давалось. И в жизни у меня никто этого диплома-удостоверения не спрашивал, а вот во сне как с ножом к горлу пристали какие-то чудища. Вот тут я проснулся в пять тридцать. Смотрю, храпят кругом, вылез потихоньку в столовую и стал писать Вам вот это письмо. Глядишь, время и к завтраку подошло.

Обнимаю и целую Вас, пока это еще возможно. Марии Семеновне целую ее руки, натруженные домашней работой и перепиской мужниных сочинений (своя же ноша, как известно, не тянет). Привет домашним.

Ваш А. Макаров.

Мне снова хочется процитировать Аннинского, хотя, честно признаться, хотел я эту цитату употребить в конце книги, но в ходе работы мне сделалось ясно, что там сия цитата прозвучала бы как оправдание всему «нижесказанному», а здесь она, мне думается, в самый раз и к месту.

Еще добавить от себя хочу, что написанное Аннинским о Макарове, пусть и к юбилею, очень искренне и с любовью, очень меня растрогало, ибо по торжественным дням в торжественных словах часто у нас говорят и пишут так, что уловить невозможно, как относится лично пишущий к юбиляру, хотя вроде бы пишется и говорится с любовью и о любимом. Я вообще охотно читаю Аннинского критика, хотя и стервенел когда-то от его вызывающей переученности и интеллектуальности. Но с

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

годами это проходит, да еще при таких учителях, как А. Н. Макаров. Жаль, что Аннинский ныне редко выступает в печати, наверно, преподает где-нибудь, учит людей уму-разуму, хотя и понимает небось хорошо переделанное некрасовское: «Дураков ничему не научишь, а на умных тоску наведешь...»

Итак, слово Аннинскому: «И еще он (Макаров) позволял себе сомневаться в своей правоте, не боялся показаться слабым, сознавался, что не знает ответов. Сам тип письма его: живой, кипящий, захватывающий все поток «лирики» со всяческими отступлениями, возвратами и сопереживаниями, – был не очень целесообразен на фоне иных тогдашних литературных схваток, полных жестокой и беспощадной казуистики. Макаровская критическая речь смутно напоминала какието давно прошедшие времена – то ли Белинского, то ли «до Белинского», или адресовалась каким-то читателям «будущего», как сам А. Макаров говорил, идущим вослед.

И вот прошло время, и стало ясно, что стилистика его впрямь была обращена и будущее, причем довольно скорое.

Сейчас, в начале восьмидесятых годов, среди критиков весьма в ходу такая вот легкая, летящая свободная манера разговаривать с читателем, и мало кто вспоминает» что именно Макаров утверждал ее за двадцать лет до того, в условиях, для такой вольности не слишком пригодных».

Вот, слава богу, хоть Аннинский сказал о «стиле» критика, а то уж слово «стиль» как-то и улетучилось по отношению к критике, прозаику стиль необходим, поэту вроде бы тоже, даже и режиссеру или артисту надобен, критику же он вроде бы и ни к чему, он и так, без «стиля» критиковать может, а если буквально принять, что стиль – это характер, то выходит, и характер критику лишний груз? И надо заметить, очень и очень видна в современной критике бесхарактерность, отсюда и расплывчатость мысли, да и самого критического лика – каков он сейчас, в начале восьмидесятых – я лично не берусь обрисовать, ибо «не улавливаю».

У Льва Аннинского, к сожалению, ничего не сказано о языке критика, может, он, как само собою разумеющееся, считает, что раз есть стиль, то и толковать не о чем больше, но ведь стиль-то определяется прежде всего им, языком, строением речи критика, его интонации. И, думается мне, много зауми, витиеватости, «терминов» и «ученых» вывертов – как раз и есть та ширма, коей и прикрывается отсутствие языка, значит, и стиля, не у отдельных – у многих критиков; ну зачем, скажите на милость, критику, владеющему родным языком, маскироваться, коли он может доступно сказать читателю, что хорошо и что дурно написано в книге, определить настроение литературы на данном этапе, не прибегая к словесным ребусам, а наоборот, сложное явление или сложности самого процесса объяснить по мере своих сил и возможностей, сказавши, допустим, что и сам я, критик, не всемогущ и сам пока не знаю, как определить это направление, как объяснить сам процесс современной художественной мысли. Но вместо ясного, по-человечески объяснимого признания всадят слова, как костыль в шпалу – по самую шляпку – «амбивалентная» литература, и ломай себе голову – с чем это едят, понимай как хочешь, не понявши, сам становись в угол и майся очередным самоистязанием: «Вон люди какие умные с тобой рядом работают! А ты че? Куда залез-то?»

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

С Новым годом Вас! И дай бог и Вам, и ребятам в новом году всего, в чем все мы нуждаемся: счастья, здоровья, творческих успехов и презренных ассигнаций тоже, ибо некий минимум таковых необходим, дабы были покой и здоровье, и счастье. С годами в этом убеждаешься.

С «Где-то гремит...» Вы меня просто подрезаете. Ну кто же держит рукопись в одном экземпляре? Надо же, как Кармазинов – одну иметь в поместье, другую в П-бурге, третью в Карлсбаде, а четвертую при себе. А тут на тебе!.

Я еще в статье кручусь где-то вокруг «Следа» и никак не выкручусь. Вообще я очень рад, что Вы, по крайней мере, узнаете, что критику не всегда легче, чем прозаику, – ибо Вы имеете дело с людьми обыкновенными и примитивными, какими-нибудь дядями Левонтиями да фэзэошниками, а нам приходится разбираться в организациях тонких, сложных и капризных, каковые называют себя художниками, чувствителями и т. п. Но нет худа без добра, сконспектировал Вашу повесть и еще раз пришел к выводу, что весьма недурна она. Да, надеюсь, что вычерки, которые



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
там сделаны, вызваны, как Вы говорите, только для печатания отрывками.

Передайте искреннее мое сочувствие Марии Семеновне. Конечно, «Кража» – не «Война и мир», но все же Софья Андреевна своего супруга творение лишь шесть раз переписывала, а тут 13!

Очень рад, что Малюгин Вам написал. Я уж писал Вам в предыдущем письме, что Вы что-то не так поняли, и у меня не было впечатления, что он нас в чемто подозревал...

На улице у нас потеплело, и окна у меня занесло совсем как в деревне, а так хочется куда-нибудь в снега. А куда и как? Вчера еще одно бедствие свалилось – Карай порезал лапу в сугробе, порвал сухожилия, сегодня зашивали, говорят, через месяц, может быть, заживет. Только этого нам и не хватало. Теперь не только по комнатам, но и в передней больной с бинтами, совсем как в образцовой клинике.

Ну ладно, все пройдет, как говорил Соломон. Ну, конечно, я приеду на собрание, если позовете, обязательно приеду, и будет у меня с Вами совсем как в пародии на Симонова:

Опять уеду я, опять приеду  
И уж тогда доеду Вас совсем.

Обнимаю и целую, Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень мне Вас не хватает, хорошо, что хоть письма приходят.

Сначала о себе: последний месяц я что-то расхворался: то ли после гриппа, то ли сам по себе разнылся живот и ноет, как проклятый, лишая всякой возможности серьезно работать. Больше всего меня огорчало, что статья о Вас застопорилась, двадцать восемь страниц, включая «Стародуб», написались с ходу и на взлете, а потом пошла тягомотина еще страниц двадцать. Почему? Во-первых, живот болел, во-вторых: чувствую, что начинаю применяться к носящимся в воздухе веяниям, пытаюсь объяснить Вам так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Зачем? Сам не знаю – внутренний редактор и воспитание. И понимаю, что с этого места надо начинать сначала, а тут хворь усилилась.

Родной мой, что же я буду делать без «Сумерек» и «Ясного дня», а особенно без «Где-то...» Не дай бог, ведь у меня вся концепция рухнет, особенно без повести. Так, мне кажется, все лихо задумано, а Вы тут со своими поправками, и бог знает, в каком виде появится «Где-то...», а к «Ясному дню» Вы, кажется, прилагаете все усилия, чтобы он не появился. Вам-то что, Вы на потомство можете рассчитывать, а что делать бедному критику? Ну да все равно, как оклемаюсь, все равно статью добью так или хотя бы приблизительно так, как хотелось бы.

Теперь об обстановке. Она для меня не совсем ясна. Кулуарных разговоров лучше не слушать, с одной стороны так, с другой этак. Вот вчера появилась в «Правде» моя рецензия о Светлове. Пока писал, внутренний редактор подсказывал: не цитируй строк «расходясь после общих собраний, на особое горе взглянуть», не напирай на то, что Светлов ненавязчиво говорил с молодежью, не навязывал ей сковывающих норм – все равно вычеркнут. Развертываю вчера газету – все осталось, ни словечка не изменили, и в редакцию меня не вызывали для чтения гранок, и дали ровно через день. Вот тут и пойми!..» Выходит, что сидящий в нас «внутренний редактор» куда пугливей. Беда же в том, что он особенно силен в т. н. средних звеньях, которые и не пишут, и не руководят, а исполняют указания, трепеща за свой стул. Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. А тут, что касается дураков, так еще Некрасов скорбел:

И побольше нас были витии,  
Да не сделали пользы пером,  
Дураков не убавим в России,  
А на умных тоску наведем.

Ведь на том же совещании, как слышал я в официальной передаче, говорилось: не умаляйте трудностей, не скрывайте, только пишите так, чтобы было за Советскую

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

власть, чтобы показывать ее силу, преимущество нашего строя. Но пока это докатится донизу, остается лишь хвостик. Но в общем-то положение серьезное, боюсь, что даже очень: Китай-то пока языками бряцает, но явно добивается первой цели – единства страхом внутри. Вот тут и подумаешь, действительно ли современные рассказы моего однофамильца Макарова, зовут его, однако, Артуром. И по воспитанию, и по среде человек он городской, интеллигентный.

В «Новом мире» освободили Дементьева и Закса, но пока, кажется, не подобрали замену, хозяин не соглашается с кандидатурами. Последние номера, 10й и 11-й, жалки, прозы нет. Каверин написал подлые воспоминания, я же все-таки был на съезде, помню, что основной бой шел вовсе не о манере писать, а вокруг доклада Бухарина за гражданскую поэзию, что доклад Горького слишком выпендренным показался многим и оторванным от реальности, что речь Жданова в кулуарах обсуждалась горячо и доброжелательно. Что же касается выступлений читателей, перед коими расшаркивался Каверин, то они были на редкость примитивны. Главное же, что съезд был боевым, бурным и не литературным, а литературно-политическим.

Прочтет Вен. Ал. какой-нибудь вынюш, которому к стенограммам съезда подступа нет, и составит о нем совершенно превратное предствление. Может быть, Каверин и не виноват в том, что не упомянул бухаринского доклада (хотя у меня в книге спокойно пропустили и упоминание, и смысл), недавно в газетах почему-то старую фальшивку, известную, как «письмо Зиновьева», почему-то стыдливо назвали письмом Коминтерна. Но уж в чем он виноват, так в том, что весь съезд скособолил в одну сторону любезных только ему писателей. А мы еще кричим о группировке «Октября». Вот и повод перекосить в другую сторону. Кстати, о моем «Разговоре по поводу». Писал я его с одной-единственной целью – предупредить разгром этих книг, который не только готовился, но и был пред писан. Писал торопясь, понимая, как важно успеть, пока не стукнули. Уже потом появилась разгромная рецензия – статья Архипова, но она уже не возымела действия, только все – и другие, и даже противники моей статьи ставили меня в пример. Статья, конечно, не о писателях, а об авторах предисловий, но писателями поневоле пришлось оперировать и они не могли не пострадать. Предисловия же меня попросту возмутили. В самом деле, почему Лескову мы ставим каждое лыко в строку, Достоевскому тоже, о живых и говорить нечего, со сладострастием выискиваем описки, а тут молебен, литургия, осанна... И от кого? От брюзгливого Ильи Григорьевича, писавшего политические романы, угождавшего вкусу и вдруг выступившего в роли защитника «чистого искусства». От Чарного, в свое время выступившего против 4-й книги «Тихого Дона» и порицавшего Шолохова, что он не привел Григория в стан борцов за Советскую власть. От лукавого Зелинского, вдруг изобразившего Павла Васильева то ли эдаким милым рубахой-парнем, то ли отроком Варфоломеем, а он, насколько я знал Васильева, был уже совсем не золотой и ужасно раздражал и своим внешним видом, и кокетничаньем под Есенина.

Разумеется, личное в статье сказалось, может быть, я не прав, но всегда меня возмущала односторонность и наигранность, а авторы предисловий явно играли на конъюнктуре не политической, а на общественном настроении. Помню, Ольга Берггольц сказала мне: «Зачем вы это написали и уж если написали, почему же не тронули и Корнилова?» Я не стал ей объяснять, отчего и почему. А не тронул я Корнилова именно потому, что предисловие к нему писала Ольга Берггольц, и не было в нем никакой игры, оно было выстрадаано. Но все же, конечно, «Разговор» – временная статья, и я не включил бы ее сборник, если бы издательство не считало, что сборник избранного не может обойтись без этого «шедевра».

Видел первую серию «Войны и мира». Неплохи только военные сцены. Все остальное – движущиеся иллюстрации, сделанные художником, не понявшим Толстого, ищущим типы не в романе, а в актерском материале, что оказалось под рукой. Князь Андрей маленького роста, Долохов – тоже. Разве это уж так случайно у Толстого! Маленькие люди самолюбивы, даже если умные, князь Андрей мечтает возвыситься подвигом. Долохов – выделиться среди аристократов, он же унижен и бедностью своей, и тем, что живет за счет Анатоля. А мне показывают жеребцовские ляжки Тихонова и дыду Ефремова. Наташу в детском платье с мускулистой спиной, какие бывают только у балерин. Да ведь и нет Наташи, потому что нет ни того, как она поет с Николаем, ни предложения Денисова, нет всего того, что подготавливает сцену в окне, нет и этой сцены, потому что вместо сияющих глаз Наташи мне показывают какой-то сад, залитый малоправдоподобным светом. А дом Ростовых? Это же Юсуповский дворец! Но раскройте ради бога второй том, приезд Николая – у дома отбит карниз, в сенях, не в вестибюле, а в сенях покривившиеся ступени, – нечистая дверная ручка, горит сальная свеча. И т. д. и т. п. И это страшное

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

желание как бы охватить все, звучащие с экрана цитаты в то время, как Тихонов поводит ноздрями и напускает уместность. Ни один актер, кроме Кторовы (Болконский) и Тушина (не знаю, кто), не естественен, все скованны, старательно держатся аристократами. Ну да бог с ними, жалко только денег да усилий и стараний.

В пятницу А. читал в Союзе новую повесть (отрывок был в «Лит. газете»). Я пошел и не без удовольствия слушал. На обсуждение не остался. Не могу сказать, что в отрывочном чтении я понял замысел, но все же он чертовски любопытен. Ну, при случае расскажу. Повесть уже три года как написана, никто ее не берет, а теперь и подавно.

Ну, хватит. А то Вы скажете: больной-больной, а вон как расстрочился! Так это потому, что это не статья, а письмо, и не кому-нибудь, а Вам.

Низкий поклон Марии Семеновне. Привет Ирине и Андрюше. Аннета, Юра, Толя шлют Вам привет. Ну, а Наталья Федоровна уж само собой разумеется.

Обнимаю Вас. Ваш А. Макаров.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Я даже не смог сразу ответить на Ваше последнее письмо, погрузился в очередной припадок черной меланхолии и подобно гоголевскому Поприщину целыми днями лежал «на постеле». То ли потому, что была температура и отчаянно ныл живот (обожрался жареных пирогов), то ли температура была от отвратительного настроения, «пахонтрий», как говорила одна старушка у Островского.

Горю я, родной, по всем статьям. Горю потому, что где-то заколодило статьей о Вас, и я же понимаю, что чем дальше я с ней тяну, тем меньше у нее возможностей появиться в предпраздничных номерах такую, какую мне ее хочется видеть, а как только пытаюсь применяться, так опускаются руки. Горю за прошлые грехи. Вы меня чихвостите за «Разговор по поводу». А Яков Ухсай прислал восторженное письмо о моей книжке о Межелайтисе. Прямо пляшет от радости, что я так вежливо высек его за ложное новаторство и повторение задов нынешних запад. европ. декадентов. Вот так здорово! Я-то думал, что, наоборот, я восхвалил этого поэта, не в меру, может быть, но искренне. Неужели в самом деле пишешь одно, а получается другое? Спасибо за отзыв о чеховской статье. Право же, она не дурна. Во всяком случае, мне удалось в нее впихнуть те места, которые мне так дороги у него и насчет «сволочного духа», и «либералов», и «свободного художника», и того, что народу нужны вера и красота, а не только материальные блага. Вот это писалось прямо в современность, только этого никто, кажется, не заметил, статья затерялась в толстой книге, а мое исповедание веры по Чехову, – словно глухая исповедь. А ведь это действительно исповедание веры, только, как говорится в послании апостола Иакова: «Вера без дел мертва». А ни у кого так не расходится вера с делами, как у современного литературного критика, вернее, не осуществляется в делах. Вам-то что, художникам, у вас всегда есть возможность написать о росинке, трепетно поблескивающей румяным утром в чашечке полураскрывшегося цветка, но не может же критик писать о росинках. Вот и буду писать о «боевых трубах поэзии» в «Красную звезду», благо заказали рецензию на сборник военной лирики. Жить же ж надо ж! Вспоминаю разговор с тем же Эдуардасом. Я как-то сказал ему:

«Меня немного пугает, что в последнее время вы совсем ушли в воспевание предметов искусства, разве нет других вопросов?» А он мне: «Вы, – говорит, дайте мне возможность писать о других вопросах». Тут я и расхохотался. Сидит передо мной секретарь Союза писателей, депутат Верховного Совета и говорит:

«А вы дайте мне». Во-о! «Думающих людей у нас не любят», – пишете Вы. Господи! А где и когда их любили? Читал недавно 24-й том Золя – его литературные статьи что ни строчка, то прямо о нас – грешных. И что самое обидное, что в отношениях к художникам никакие мы не марксисты, а самые отчаянные последователи Прудона, желавшего, чтобы розы употреблялись в салат. Н к тому же невежды. Вот Вы пишете о том, что мало знаете. А я, думаете, много? До жути обидно, оскорбительно даже, что в 55 лет остался темным полудеревенским парнем, так, кое-что кое-где похватавшим, «как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек». А когда было хватать? Только в ранней юности и в результате бессистемного чтения. Лет в 19 я пытался и Гегеля читать, и в Канта лезть, что уж я там понимал – другое дело, но хоть читал, а потом работа, работа, работа. Ну вот в деревне избачом

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

года полтора – тоже время было, но ведь и девки были. В Литинституте первые два года тогда были вечерними, днем на работе, успевай лишь то, что по программе, прочесть, потом армия, где не до чтения, работа в армейской печати лет шесть, в «Лит. газете» – еще хуже, при Ермилове газету раньше семи утра в печать не подписывали, в «Знамени» – первый зам – рабочая лошадь! Наконец вот уж десять лет я «вольный рабочий». И что же я читаю? Рукописи, чужие рукописи, как окаянный, одну за другой – нужно на что-то жить! Я не жалею, я просто выясняю, почему остался темным. И, честно признаться, даже культуры чтения не развил в себе – все больше беллетристику, а как что-нибудь серьезное, так оказывается мозга слаба, скоро утомляется, и выходит: и жить в свое удовольствие не жил, и читать не читал, и ни хрена путного не сделал. Только все утешаем себя, что потомки наши подвиг оценят. Черта лысого! У этих потомков своих бед будет не оберешься. Только им и думать, что о наших подвигах. И еще скажу: в Ваши годы, молодой человек, у меня еще ни одной книжки не вышло, а у Вас вон-он сколько! Так что нечего передо мной своей необразованностью щеголять, впервых, у Вас еще время есть многое навестать, а во-вторых, по части темноты я, может, от Вас на сто очков вперед ушел и только свой убогий багаж научился хитро выказывать. Так сказать, приспособляемость человеческого организма. В последних письмах я, наверное, много брюзжу. Что поделаешь? Как писал некогда Ваш Павел Васильев:

Вот уж к двадцати шести  
Время близится годам,  
А мне не с кем отвести  
Душу, милая мадам.

Ну, а если к 56-ти – и на внимание мадамов рассчитывать не приходится? Вот я и вынужден вцепиться, как энцефалитный клещ, в Вас, мой родной. Вы уж простите, благо Вы человек добрый и не удастся Вам озлобиться. Чего Вы, кажется, боитесь, даже если общие обстоятельства не будут особо благоприятствовать. Где уж нам уж. Посердимся, пофырчим, на близких сердце сорвем, да на том и успокоимся – гори все пропадом!

Ну что Вам сказать о московских новостях? Не такие они уж веселые, хотя и столичные. В «Октябре» погорел роман... Бабаевского. В «Москве» – Елизара Мальцева и, кажется, стихи Винокурова. У Перцова в статье выкинули упоминание о каких-то стихах Смелякова. Пришла верстка Наташиной книжечки, ан по пути из редакции в типографию еще один острый рассказец полетел. Но она теперь у меня после болезни умная стала – я, говорит, решила не волноваться, хушь что ни случись, жалко, конечно, что после всех утрясений вместо восьми листов всего около шести осталось, и денег меньше будет. Вот это я понимаю, очень правильный, я бы сказал, даже идейный подход. Будем следовать гегелевскому: «все действительно разумно» и радоваться тому, что пока действительны и речка Быковка, и затаившиеся подо льдом харьюзы, и «снег до окошек деревни лежащий», и «зимнего солнца холодный огонь», и мы с Вами...

Да, вот и отрадная новость, статья в «Правде» от 20-го января – письмо какому-то проработчику из ПЭИ, обвиняющему своих коллег в безыдейности, нарушении принципов марксизма и т. д. Очень меня порадовала эта статья, очень она своевременная, ибо уж вострят зубы те, кто любую попытку что-то по-своему осмыслить объявляют враждебной пропагандой.

Низкий мой поклон Марии Семеновне, очень я рад, что у нее с Наташей какието свои печки-лавочки, своя переписка. Привет Андрюше и Ирине, и Вашему старшенькому, с которым, рано или поздно, я теперь, видимо, познакомлюсь.

Наташа и все мои домочадцы, включая самого благоразумного из них – Карая, желают Вам поскорее появиться у нас. Так-то.

Ваш А. Макаров.

Глупо так подписываться, как на ведомости, а одним именем страшновато. Вам-то хорошо, Вы молодой, а про меня подумаете небось и чего он в друзья лезет. Поздно. Все равно уж влез, а?

Если не видели японского фильма «Гений дзю-до» – посмотрите. Стоит.

Хотя Александр Николаевич утешал себя и меня в отношении дремучей нашей отсталости, ссылаясь на прошлое страны, на безграмотность ее, радоваться и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

удивляться, мол, надо, что еще и столько-то знаем, ведь как и где учились-то – утешение ох какое слабое! Война сбила нас с ног, справедливо, однако ж это все нисколько не оправдывает, по-моему, наших читателей, а тем более писателей, которые не просто не знают, а исключили из обихода своего таких замечательных писателей, как Лесков, Мамин-Сибиряк, Салтыков-Щедрин, обоих Успенских, Горбунова, Гаршина, Андреева, Писемского, Слепцова, Телешова и многих-многих других, нашу дивную провинцию, которая составила бы честь иной, даже европейской нации, а у нас, по выражению моего знакомого критика, загороженную гениями прошлого и заваленную нынешним мусором, да и тех, что вроде бы знаем, только кажется, что знаем, их большей частью проходили в школе.

Александр Николаевич однажды грустно мне признался:

– Хвалил недавно товарищей поэтов на Высших литкурсах, на Высших! А они плохо знают батюшку Крылова, да что там плохо, совсем почти не знают, помнят несколько басенок из школьной программы – и все. Даже такой блистательной бас ни, как «Сочинитель и Разбойник» большинство не только не читали, а и слухом не слышали...

Тут и я скромно признался, что об этой басне тоже ни слухом, ни духом, хотя Крылова вроде бы с детства люблю.

– И вы?! – остановился против меня Александр Николаевич. – Ну, вам-то и вовсе непростительно... Да в этой басне, отец мой, ярче яркого проявилась одна из самых устойчивых особенностей русской литературы – говорить о своей профессии с иронией, с добродушнейшим или злым юмором, и вообще русской, пожалуй, только русской литературе дано говорить о своем и всеобщем горе с юмором – этакий нашенский доморощенный смех сквозь слезы. Ну а это, блоковское-то: «За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой, там жили поэты, – и каждый встречал другого надменной улыбкой...» Этого хоть слышали?

Я сказал, что слышал, да и то совсем недавно, на курсах уже.

– И вообще, – заметил я, – многое впервые познал на курсах, как из области интима, так и в пределах литературы, городского транспорта, торговли, редакционных тайн.

– Во, язва! – расхохотался Александр Николаевич. – Однако же слушайте батюшку-то Крылова. – И Александр Николаевич прочел, как всегда на память, действительно выдающееся сочинение великого баснописца и действительно мало известное читающей публике, в том числе и литературной, в чем я потом не раз убеждался, и потому, хотя басня и длинная, перепечатаваю ее целиком, в назидание, что ли.

СОЧИНИТЕЛЬ И РАЗБОЙНИК

В жилище мрачное теней  
На суд предстали пред судей  
В один и тот же час: Грабитель  
(Он по большим дорогам разбивал,  
И в петлю, наконец, попал);  
Другой был славою покрытый Сочинитель:  
Он тонкий разливал в своих твореньях яд,  
Вселял безверие, укоренял разврат,  
Был, как сирена, сладкогласен,  
И, как сирена, был опасен.  
В аду обряд судебный скор;  
Нет проволочек бесполезных:  
В минуту сделан приговор.  
На страшных двух цепях железных  
Повешены больших чугунных два котла:  
В них виноватых рассадили,  
Дров под Разбойника большой костер взвалили;  
Сама Мегера их зажгла  
И развела такой ужасный пламень,  
Что трескаться стал в сводах адских камень.  
Суд к Сочинителю, казалось, был не строг;  
Под ним сперва чуть тлелся огонек;  
Но там, чем далее, тем боле разгорался.  
Вот веки протекли, огонь не унимался.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
Уж под Разбойником давно костер погас:  
Под Сочинителем он злей с часу на час.  
Не видя облегченья,  
Писатель, наконец, кричит среди мученья,  
Что справедливости в богах нимало нет;  
Что славой он наполнил свет  
И ежели писал немножко вольно,  
То слишком уж за то наказан больно;  
Что он не думал быть Разбойника грешней.  
Тут перед ним, во всей красе своей,  
С шипящими между волос змеями,  
С кровавыми в руках бичами,  
Из адских трех сестер явилася одна.  
«Несчастный! – говорит она.  
Ты ль Провидению пеняешь?  
И ты ль с Разбойником себя равняешь?  
Перед твоей ничто его вина.  
По лютоści своей и злости,  
Он вреден был,  
Пока лишь жил;  
А ты... уже твои давно истлели кости,  
А солнце разу не взойдет,  
Чтоб новых от тебя не осветило бед.  
Твоих творений яд не только не слабеет,  
Но, разливаясь, век от веку лютеет.  
Смотри (тут свет ему узреть она дала),  
Смотри на злые все дела  
И на несчастья, которых ты виною!  
Вон дети, стыд своих семей,  
Отчаянье отцов и матерей;  
Кем ум и сердце в них отравлены? – тобою.  
Кто, осмеяв, как детские мечты,  
Супружество, начальство, власти,  
Им причитал в вину людские все напасти  
И связи общества рвался расторгнуть? – ты.  
Не ты ли величал безверье просвещеньем?  
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек  
И страсти, и порок?  
И вон опоена твоим ученьем,  
Там целая страна  
Полна  
Убийствами и грабежами,  
Раздорами и мятежами  
И до гибели доведена тобой!  
В ней каждой капли слез и крови – ты виной.  
И смел ты на богов хулой вооружиться?  
А сколько впредь еще родится  
От книг твоих на свете зол!  
Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!»  
Сказала гневная Мегера  
И крышкою захлопнула котел.

В тот же, по-моему, раз, после письма, где я хвалил статью о Чехове, действительно великолепную, лучшую, на мой взгляд, статью из всего написанного А. Н. Макаровым, бредящим Чеховым, заявил, что хотя статья мне и понравилась, но Чехова-то самого я не люблю и вяло читаю.

– Да вы что?! Шутите?

– Нет, не шучу, Александр Николаевич, считаю этого классика скучным, однообразным нытиком. Из пьес его приемлю только «Иванова», из нее, помоему, и выросли все остальные его пьесы. Из прозы – «Степь», «Каштанку», «Ваньку Жукова» да «Человека в футляре». А все эти дамочки и молодые лоботрясы, восклицающие: «Хочу работать! Дайте мне работы», – надоедны и неправдоподобны. Все его взлохмаченные, умно рассуждающие доктора, везде совершенно одинаковые, рассказ «Невеста», который вы и многие другие понимают шедевром, напишет нынешний средний писатель, а Гоша Семенов, Юра Казаков да Сережа Никитин – так еще и лучше.

– Да как вы можете! Я вас прибую! Провинциал! О нем, о Чехове, эшелон литературы написан, им зачитываются во всем мире!..

– Знаю, – отвечал я. – Хорошо об этом знаю. Сомерсет Моэм в своих воспоминаниях говорит, что в двадцатых годах кто не подражал Чехову, не принимался в Англии всерьез как писатель, особенно в новеллистике.

– Вот-вот. А вы?

– Что я? Что, мне тут же и менять свое мнение, что ли? Толстому вон Шекспир не нравился...

– Так то Толстой!

– А я, значит, тонкий? – съязвил я.

– Ага, ага, без Чехова-то не можете! Ага... Он, братец мой, уже в костях у нас, в крови, как известь, как железо. Как эти самые, как их? Лейкоциты или гемоглобин растворены. Без них и жизни нет!..

– Подковали вас в больнице-то!

– Чего?

– Медицинскими терминами дуете!

– А Чехов доктором был и бесплатно больных лечил, вот вам!

– А зачем он тогда бедного провинциального учителя обкакал, если он добрым был?

– Какого такого учителя? Что вы мне голову морочите!

– А вот какого! – И тут я достал записку, припасенную мной специально для такого разговора. Записка вырезана и прислана мне товарищем все из той же Тульской области, из газеты «Заветы Ильича» города Кимова, и называется она «Человек в футляре». Записка настолько любопытна, что я ее приведу целиком.

«Подшивка донской газеты «Приазовский край» за 1903 год. В одном из февральских номеров читаем: «На днях схоронили инспектора Таганрогской мужской гимназии, Александра Федоровича Дьяконова. Та самая гимназия, где учился А. П. Чехов, и тот самый инспектор! Да-да, прототип «человека в футляре».

Чехову было о чем писать. Александр Федорович – зануда и скупердяй. О нем говорил весь город. Достаточно было гимназисту поклониться начальству или на слишком близком, или на слишком далеком расстоянии, инспектор сажал его под арест. Достаточно было Александру Федоровичу встретить гимназиста на улице после захода солнца, как на другой день смущенный гимназист уже стоял перед инспектором. «Вчера вы шли по Петровской улице с видом искателя приключений, это, безусловно, безнравственно. Извольте сесть в карцер и выучить наизусть все гимназические правила!»

Он не разрешал гимназистам ходить в публичную библиотеку, потому что она имела безнравственное название.

Он состоял гласным Думы, но вся его деятельность выражалась лишь в одном – Дьяконов следил, чтобы его коллеги курили в курительной комнате, но отнюдь не в ретирате. Человек владел сотней тысяч рублей и двумя большими домами, а сам обедал не каждый день, его сюртук, пальтишко и рубашка не менялись двадцать лет; в его комнате были стол, два стула, кровать и больше ничего. Он никого не принимал – если к нему раздавался звонок, Александр Федорович выглядывал в дверь и сердито бросал: «Завтра в гимназии». И дверь снова захлопывалась.

Таким был инспектор Дьяконов. Сам просился в литературу.

Но когда он умер, то оказалось, что свои сто тысяч он завещал народному учительству, а оба дома – под городское училище. По словам нотариуса, у которого хранилось завещание, Александр Федорович говорил:

«Ну зачем деньги были нужны мне, одинокому человеку? Я мог прожить и без них. Я думал о бедном учителе. Сплошь и рядом большая семья, жена и за хозяйку, и за кухарку, и за горничную, и за няньку, да еще, поди, больная. Вот кому нужны-то деньги».

Все учительство вышло провожать Александра Федоровича в последний путь, вся таганрогская интеллигенция была на похоронах, чтобы снять шляпу перед этим человеком.

– Ну как? – припирал я примолкшего критика к стене. – Хорошо было Вашему любимому писателю! А напиши-ка сейчас кто из нас подобное – все сов. учительство в дыбы поднимется: «искажает действительность», «грязью облил благородную профессию!», «надругался над светлыми чувствами!»

– Опасный вы человек! – махнул на меня рукой Александр Николаевич. Опасный и коварный. А до Чехова вам еще расти да расти. На старости лет еще плакать будете над его страницами и у меня извинения просить, целуя вот сюда, – показал он на маковку.

А далее говорили уже без шуток, и не только о мировосприятии художника, но и формировании его характера вкуса. Не моя вина, а беда в том, что я, допустим, равнодушно воспринимаю архитектуру, в том числе и древнюю, ничего не понимаю ни в церквях, ни в иконах, ни в монастырях, ни в росписях. Смотрю на них, слушаю о них и не нахожу того высокого, волнующего искусства, которое заключено в творениях Дионисия, Рублева, хотя охотно верю, что приседающие перед ними с благоговейным придыхом, переходящим в шепот, искусствоведы, очевидно, правы, утверждая, что это не просто искусство, но величайшее из всех искусств.

Как говорил Достоевский, пусть по другому поводу, но соответственно и к предмету моего рассуждения: «Есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, к которому принадлежите вы».

И где же мне, выросшему в полудиком сибирском селе, в котором была одна деревянная церковь, и ту сперва приспособили под пекарню, потом и вовсе свели на дрова, раз или два бывавшему в городской церкви с бабушкой, пока непримиримо настроенные атеисты не рванули динамитом ее так, что во всех городских кварталах вокруг стекла в домах повывлетали, когда на моих глазах второй собор на нынешнем проспекте Сурикова куда только, и как ни приспособлявали, а в караульной часовне на горе Караульной попросту опрavelялись и писали непристойности на стенах, – где же и как мне было научиться восприятию мира в том виде и чувстве, как его «слышит» и «видит», допустим, художник Борис Горбунов, родившийся и выросший в городе Кириллове, возле стен монастыря, и с раннего детства, еще когда он, может, и говорить-то не мог, впитывавший все это благолепие.

Естественно, что и в чтении я не мог «подбортнуться» к тихому Антону Павловичу, ибо рос на литературе сибиряков: Петра Петрова, Вячеслава Шишкова, Лидии Сейфуллиной, Всеволода Иванова; естественным путем пришел к Горькому; Бунина открыл для себя лишь в сорок лет, по независящим от меня причинам; сейчас вот кумир мой – Достоевский, начинаю серьезней вчитываться в Гоголя, Льва Толстого.

– Эстетический вкус и всякая прочая культура, Александр Николаевич, на голом месте не возникают и от одних лозунгов и маршей, даже если они называются маршами энтузиастов, не приходят. Как это там у товарища Менделеева? «Искать что-либо, хотя бы и грибов или теорию зависимости, нельзя, не смотря и не пробуя». Ваше, кажется, любимое изречение?

– Мое любимое?! Да-да! А с вами, Вик Петрович, не заскучаешь! – после долгого молчания с грустной задумчивостью произнес Александр Николаевич.

Стоит обратить внимание, что ни в одном из писем Александр Николаевич не сделал мне упрека по языку, и когда я спрашивал его, не перебираю ли с этими самыми областными речениями, он говорил, что да, конечно, переборы местами есть, но они не очень режут слух и выглядят вполне естественно, во всяком случае, на его «деревенское ухо и взгляд» вполне естественно. И потом, столько народу сейчас в нашей литературе «недобирает», что один «перебирающий» как-нибудь сойдет, «стерпится», посмеялся он, и я, чтоб еще больше повеселить критика, рассказал



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

ему о том, как дочка прозаика Анатолия Знаменского, того самого, который был однажды здесь и заговорил нас, утверждая, что мы еще встретимся не раз и наболтаемся, а ему такая возможность предоставляется редко, так вот, дочка Знаменского, по имени Оля, поступая в первый класс, дала нам «урок» языка.

Как и всякое современное, рано развитое дитя, Оля уже бегло читала до поступления в школу и «Букварь», ей купленный, тут же «проработала». И когда мы, сидя в комнате Знаменского в общежитии литинститута (литературных курсов), о чем-то говорили и громко заспорили, девочка остановила нашу полемику возгласом: «А я вот вам сейчас прочитаю из букваря – и вы ничегоничего не поймете!»

И девочка прочитала: «У Калиныча в хлеву завелся хорь. Калиныч поставил в хлеву капкан. Хорь попал в капкан».

«Ну как? Ничего не поняли?!» – почему-то радостно спросило дитя.

Мы и приутихли в горячем споре. В самом деле: каково-то ребенку? Городское дитя, она не знает слов «Калиныч», «хорь», «хлев», «капкан». Не знает не только слов, но и предметов, означенных в тексте, но ее заставят зубрить этот и подобные тексты. Потом она сама выйдет в учительши, и вышла уже, наверно, и тоже заставит кого-то зубрить, да не исключена возможность, что и люди, составлявшие «Букварь», тоже не знают многих слов и предметов, означенных в нем, ведь они тоже учились языку в городе, грамоте – по таким же вот учебникам. И получается замкнутый круг: с одной стороны, поношение народного языка, особенно «диалектизмов» и всяких там областных словечек с неперменной ссылкой на статью Горького против засорения литературного языка (думаю, будь Горький жив, он бы давно раскаялся в содеянном), ибо кому только не служила щитом или дубиной эта самая злополучная статья, ведь дело доходило до того, что в изданиях Детгиза вычеркивались «Ванька», «Санька» – как слова грубые, вульгарные, «деревенские», слово «дурак» почиталось чуть ли не матерщинным, и от него редакторы валились со стула в обморок, что совсем не мешало им, однако, во время перекура, где-нибудь в конце коридора, в глухом уголке, крыть самым натуральным матом тогдашнего главного редактора товарища Камира за какую-либо оплошность или графоманов, тучами слоняющихся по коридорам этого огромного, вполне приличного издательства, первым в Москве напечатавшего и сего многогрешного «аза».

Ханжество, брезгливо-барское отношение ко всему отечественному, «сермяжному» – это уже было, и не раз, в истории нашей, и партизаны российские во время далекой Отечественной войны: не одного дворянина российского, изъясняющегося только по-французски, но не умеющего говорить на родном языке, порубили в «котлету» как злодея-«мусью».

Жаль, что горькие и смешные уроки истории воспринимаются у нас как-то слишком легкомысленно и как-то замкнуто» а вопросы языка – как что-то стоящее в стороне от главных вопросов жизни. Ох заблуждение-то какое тяжкое и давнее!

Вот послушаем-ка, что говорил почти двести лет назад радетель и хранитель русского языка Владимир Даль: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря; но из этого вовсе не следует, чтобы должно было писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настезь на запад» надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего, а из этого следует только, что у нас еще нет достаточно обработанного языка и что он, не менее того, должен выработаться из языка народного. Другого, равного ему источника нет, а есть только еще притоки; если же мы, в чаду обаяния, сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха, и мы вынуждены будем растить и питать свой родной язык чужими соками, как делают растения тунейные, или прищепой на чужом корню. Пусть уже всяк своим умом рассудит, что из этого выйдет: мы отделимся вовсе от народа, разорвем последнюю с ним связь, мы испошлеем еще более в речи своей, отстав от одного берега и не пристав к другому; мы уьем и погубим последние нравственные силы свои в этой упорной борьбе с природой, и вечно будем тянуться за чужим, потому что у нас не станет ничего своего, ни даже своей самостоятельной речи, своего родного языка.

Нетрудно подобрать несколько пошлых речей или поставить слово в такой связи и положении, что оно покажется смешным или пошлым, и спросить, отряхивая белые перчатки: этому ли нам учиться у народа? Но, не гаерствуя, никак нельзя оспаривать самоистины, что живой народный язык, сберегший в жизненной свежести

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целостность и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи...»

Но послушаем и современного идеолога «из оттуда», к сожалению, фамилию его я не записал, и, может, проникнемся страшной серьезностью того, что он проповедует:

«...Все назначение состоит в том, чтобы сузить границы мысли. В конце концов мы сделаем преступление мысли буквально невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним и только одним словом с совершенно определенным значением, а все побочные понятия сотрутся и забудутся... С каждым годом все меньше и меньше слов и все уже и уже границы знания. Революция будет завершена, когда язык станет совершенным. Приходило ли вам в голову, что к 2050 году, самое позднее, не останется в живых ни одного человека, способного понять разговор, который мы сейчас ведем?»

Вот так напористо, «весомо и авторитетно «проповедует» совершенство языка» один из многочисленных западных теоретиков. Уверенно, с загадом в «историческую перспективу», рассуждает фашиствующий «мудрец», а у нас седовласые дяди с учеными степенями рубахи рвут друг на дружке, споря о том, что понятнее современному, особенно молодому читателю, слово «кубыть» и как с этим «кубыть» быть? Включать его в словари только академические, чтоб не засорять им все остальные, или уж махнуть рукой на «чистую науку» и оставить в обиходе «кубыть», ведь у самого Шолохова встречается. И как же все-таки не надоест людям это самое «читатель не поймет». Сейчас есть категория людей, и не малая, которым слова «лажа», «бормотуха», «сачковать», «балдеж» и «хиппеж» – понятней и ближе, чем, скажем, такие древние слова, как «совесть» и «работа», так что же, писателям приседать перед ними: «Ах, вам непонятно? Простите!»

Следующее письмо Александра Николаевича мне бы хотелось как-то выделить. Наверное, его, это письмо-исповедь, следовало бы поставить в начале книги, но раз уж я стал придерживаться хронологии, по которой видно движение и мысли критика, и времени нашего в какой-то мере, и наших с ним отношений, то и не стану нарушать ее, эту самую хронологию.

Дорогой Виктор Петрович!

Получил вчера Ваше прельстительное письмо и вдоволь набродился вместе с Вами и Вашим волкодавом Спирькой по косачиным ямкам и наледи, вроде бы даже и морозным воздухом подышал, и тишину послушал. Лежа. Что-то я совсем разладился, уложили в постель, советуют на три недели лечь в клинику, да ведь Наташа все равно не отпустит. Порадовался было тому, что Вы приедете в начале февраля на пленум, а вчера вечером пришла Евгения Федоровна и сказала, что пленум перенесли на март.

Ночью с 28 на 29 умерла моя мачеха. Мне сказали утром, ибо после всяких уколов я наконец заснул.

Что вам сказать? Странное какое-то ощущение. Конечно, ей уже было 86 лет, а все же жалко, какая-то часть жизни – лет десять было прожито вместе. Она была хороший человек и не обижала меня, а уж когда стал взрослым – и ценила. Любила ли? Не знаю. Да и столько уже ушло людей, которые были мне ближе и дороже, я как-то привык к тому, что все «мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать». Вот лежу и думаю – вспоминаю. Думаю о том, что каждый из нас постепенно уходит, когда уходят люди, составляющие как бы часть тебя, и постепенно среди новых поколений начинаешь себя чувствовать, как незваный гость, докучный и чужой, вспоминаю свое отрочество – невеселым оно было. В детстве я очень был избалован лаской и добротой. Мать умерла, когда мне было две недели. Взяла к себе бабушка – школьная сторожиха, в которой много было схожего с тем образом, какой Вы восстанавливаете в своих рассказах. Взяла со страхом, боялась учительницы, очень строгой, а в прежние времена сторожиха, в сущности, была и прислугой при учительнице. Страх тем более был силен, что в школу она поступила лет за 15 до того с дочкой, моей матерью, и учительница то и дело корила ее этим. А тут опять. А что было делать? Отцу 23 года, его мать служила где-то экономкой у богачей в Кимрах, отец в Москве, и меня отдали отцовской тетке в деревню, у которой своих был целый выводок.

Там я и пребывал первый год жизни, пока бабушка не пришла навестить и увидела запаршивевшего младенца, завопила, завернула в полушалок да и пошла, как

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

рассказывала, все шесть верст шла да Бога молила: «Прибери, господи, Шурку». Но Бога, как известно, нет, либо он плохой помощник.

К счастью, учительница, старая дева, воспылала любовью к брошенному ребенку, и остался я при школе. В сущности, этой учительнице Софье Дмитриевне я и обязан и воскрешением своим, и материальным благополучием в детстве, куда же было бабушке с ее пятью рублями жалованья. Видел я от нее только доброту и ласку, а ведь были годы тяжелые, бесхлебные (1913–1923), и только за одно она, бывало, на меня дулась, что когда бабушка уходила в город, я ревел, а когда она – нет. Словом, в детстве я был и облелеян, и облизан, и всякое благо в меня вливалось. Бабушка носила в лес, на козлах, да в поле (по летам она работала у попа на косье да жнивье), а учительница приучала к книге. Собственно говоря, сам выучился с малых лет. Как любимчик Софьи Дмитриевны, в любое время мог заходить в класс, и даже место на первой парте было мне отведено, вместе с ребятами орал буквы-звуки и в три с половиной года начал читать бегло, даже не по слогам.

Вроде бы я помню этот вечер, сижу с бабушкой на кухне, где мы жили, и читаю ей какую-то сытинскую книжку (их у меня было много), вдруг вихрем влетает С. Д. – была она резкая, рослая, красивая, совсем не похожая на учительниц, в литературе изображаемых, ее и ученики, и отцы (бывшие ученики) трепетали – и спрашивает: «Анна! Что это Шурка тут у тебя разговорился, я изза стенки слышу». «Да вот, – отвечает бабка, – говорит, что читает, так, болтает что-то». Я даже обиделся и тут же продемонстрировал свои возможности. Учительница просто в ужас пришла и наутро повезла меня в город, к врачу, которого обычно вызывали ко мне – в раннем детстве я хворый был.

«Андрей Петрович! Он читает». – «Читает?» – «Да, читает». – «А вы, С. Д., заставляете?» – «Что вы! Помилуй бог!» – «Ну тогда вам-то какое дело? Пусть читает». Хороший был врач и человек. Да за что-то расстреляли его в 1918 году, это когда на Волге готовился эсеровский мятеж. А тут гражданская война, приехала сестра учительницы, бывшая начальница гимназии. Стала второй учительницей и от скуки принялась меня обучать немецкому и французскому. Бабушке, конечно, лихо приходилось, из сил рвалась, чтобы угодить, всякое бывало, но на меня одна благодать изливалась!

И вот после такой благодати и деликатного женского воспитания попал я к отцу, в Москву. А что было делать? Сельскую школу я кончил и благодаря ей грамотным навек сделался, ходить в город далеко, а нанимать квартиру средств нет. А отец так года с 1918 по летам к нам наезжал, он рыбной ловлей увлекался. А за ним и новая семья стала приезжать. Очень милая, ласковая учительница с бабушкой напололам в голодные годы корову завели и отца привечали – авось Шурку возьмет, в Москве будет учиться.

И взяли. И по-доброму взяли. Только уж больно кислым мне, набалованному, московский рай показался. Отец уже пил, в деревню приезжая, он держался, а тут стесняться было не перед кем, мачеха разрывалась от хлопот, сестренке два года, а через три года еще Анатолий родился – я и в мальчиках, я и в няньках. Учиться они мне давали и даже гордились успехами, и все же не родной. И обувать, одевать приходилось все тем же учительнице с бабушкой, уж как они это на свои пенсии (сорок у одной, 28 у другой) ухитрялись, не знаю. Помню только, приехала бабушка в Москву и говорит мачехе: «Марья Федоровна, да как же у тебя Шурка в школу-то ходит, ведь у него задница голая». Но это еще все с полгоря. Первые годы так и сяк, отец, бывало, и протрезвится, книжки зачнет читать, а дальше худо пошло. Очень хотелось ему в нэповские годы «хозяйном стать», ан ничего не вышло, и опускаться как-то очень быстро, и тут все на мачеху, она тоже портнихой была, легло. А у нее своих двое. Главное, уж очень атмосфера-то была куда как не тепличная. Помню, после первого года приехал я в деревню на лето и такие песенки учительнице пропел, что у нее глаза на лоб вылезли. Нет, без охальщины, конечно, охальщина-то, впрочем, ею в деревне не удивишь, а что я все эти слова знаю, они знали. Но вот чтобы их нежный Шурка, еще до отъезда сентиментальные стишки сочинявший, вдруг с восторгом открывателя пел про пьяного, обнявшегося со свиньей, – это было выше разумения.

Ну, понятно, чем больше я подрастал, тем конфликт обострялся, кончил (вернее, не кончил, но этого никто не знал) девятилетку, потянуло бродяжничать, года два работал где попало, и на меня махнули рукой. Мачеха говорит: «Он только романсьё почитывает», отец нет-нет и ляпнет: «Ни, мол, из тебя не выйдет». Потом, слава богу, это уже в тридцатом году, год проучился в ЦИТе на слесаря, послали в

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Березники, а там слесари еще не нужны были да за год нас ничему, кроме «ласточкина хвоста», не научили. И сбежали мы всей группой, опять, значит, к отцу, бабка в деревне сама голодает, она жила уже в доме отца, куда все на лето ездили, но коровы уже не было, да и ничего не было. Добрая соседка пристроила счетоводом в бюро заборных книжек пошла зарплата приличная, а все же через года полтора удрал, как Ваш Илья, только уже взрослым, в деревню, к бабушке, стал избачом и неожиданно-негаданно в 1934 году был премирован на олимпиаде колхозной самостоятельности учебой в Литинституте. И опять в семье отца – ну, правда, тут уж все по-иному, стипендия 225 рублей, в те годы деньги приличные, дома уж вроде защитника мачехи от пьяного отца, тут-то и сложились те хорошие отношения, что держались до конца ее дней.

А когда в 37-м женился, ушел к теще, совсем стало хорошо – всего ведь две комнатки было, Лене пора «замуж» выходить, Анатолий тоже подрастает, и мой уход был очень кстати. А отец умер еще в 1935 году. Наверное, во многом я тоже немало ей досадил, тоже ведь не сахар мальчик, с претензиями, который вместо того, чтобы пить с отцом, пропадает где-то днями по библиотекам. Единственное, что меня утешает, что последние лет десять она прожила спокойно, мы ее избавили от Анатолия – он весь в отца вышел, пьет, буянит, дерется с ними, бывало, а тут его в руках держали маленько. Пока трезв – все ничего, пьяный – словно подменили. И устал я маленько от него, устал. Вчера налил с горя, закатил скандал, ты, мол, мать не любил, а она тебя любила и все мне тобою в нос тыкала – вот, мол, Шурка хороший, а ты пьяница, пропащий человек. Уж не знаю, действительно ли она меня любила больше его, все это чепуха, но в нос мною действительно его тыкала, и зря. К матери, пока была жива, его, бывало, и не прогонишь навестить, а сейчас чуть не в истерике бьется. Сложна душа человеческая.

Ну вот, дорогой Виктор Петрович, разговорился я, может, о чем и не надо, ну да ведь поговорить-то мне не с кем. Наташа, как окаянная, носится в связи с организацией похорон, сестра от горя расклеилась, Анатолия одного отпускать никуда нельзя, напьется, не дай бог, в вытрезвильовку попадет, а я лежу и поговорить не с кем. А что делать дальше – не знаю, теперь у него своя комната, не отпустить туда его мы не можем, а там ведь пропадет. И удерживать его теперь в рамках некому, все же, бывало, мать и попугает его – живи, мол, там, ты мне не нужен, что я с тобой делать буду. А вот он десять лет жил – и не помогло. Неужели все-таки наследственность – такая неодолимая штука, и прав Золя. Да и не только наследственность тут – пятнадцати лет ушел он на войну, какой-то генерал в госпитале, где он работал электромонтером, сманил его, сделал там личным шофером, хватил он и генеральских объедков, в сущности, человеком без воли и характера: скажут – сделает, а дума одна – как бы выпить.

Вот видите, никак не могу остановиться, а давно пора перестать выдавать «семейные тайны». Трепач я, да?

Так нет же, не совсем. О нашей общей с Вами немочи – литературе, я тоже думаю. Сколько ее ни посылай к черту, все равно не даст покоя эта болячка.

Раскрыл вчера «Юность» – боже ты мой! роман Авдеенко: «Я люблю». Вторая часть, написанная через тридцать лет после первой, – рабочий Шолохов объявился! По правде говоря, я первую часть когда-то читал, но убей меня бог, чтобы хоть что-нибудь сейчас помнил. А открывается журнал повестью Титова «Всем смертям назло» – в послесловии Полевой объясняет, что она написана бывшим шахтером, потерявшим обе руки, как Ваш герой, что карандаш он держал в зубах и счастлив с женой и ребенком. Прочитал несколько страниц – по-моему, это страшно, фразы одна банальней другой, думает герой только правильно и только о бригаде и об озеленении. Господи, конечно, то, что сделал этот парень, – подвиг мужества, даже если он понимая преимущество своего положения, только ведь литературе-то нужны страстотерпцы духовные, а не физические.

Ну, будя. Наскулил столько, что Ваш Спирька небось за все отсутствие хозяев не наскулил.

Марии Семеновне сердечный поклон. Все – Наташа, Аннета и Юрий, и Анатолий всем кланяются. И пудель тоже.

Давайте лапу. Ваш А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Не хотел я Вам писать по причинам, о каких сообщал Марии Семеновне: дабы не заслонял для меня Виктор Петрович писателя, о котором пишу, кажется, уже семидесятую страницу. Но приходится, поскольку Вы пребываете в мерехлюндии послегриппозной, в таковой и я пребываю добрых месяца полтора. Видите, как получается. У меня мерехлюндия пока прошла, хотя положение в общем не изменилось. Неделю назад меня опять прихватило, да так, что начался новый круг исследований, теперь подозревают, что какая-то поджелудочная железа шалит. Конечно, я предпочел бы, чтобы у меня селезенка екала, как у юного жеребчика, но увы, года не те. Это и помешало мне закончить статью хотя бы начерно – один день даже с воды тошнило, а два дня отлеживался в каком-то, полусонном состоянии, столько в меня всяких утоляющих вкатили. Но, как видите, духом не надаю.

Вы – умница, что в марте не поедете. Дюмы потому и писали много, что на пленумы не ездили и редакторов не ждали. Сколько мы убиваем времени на то, пока кто-то прочтет да извлечет из себя всякие замечания. Не очень-то Вы поддавайтесь редакторам. Ну как Вы могли согласиться, чтобы после слов: «У бабушки, на все свои объяснения» все эти объяснения при перепечатывании выкинуть. Эко дело, старуха измену подозревала. Это же естественное для нее объяснение. Что Вы даете оципывать себя, как курицу? Вон Горькому на просмотре «Булычева» перед выпуском спектакля какой-то чин, тогдашний председатель комитета по делам искусств (забыл его фамилию), заметил: «Уж очень он, Булычев, у вас, А. М., хорошим получается». А Ал. Макс. ему в ответ: «А они и были хорошие». Конечно, мы с Вами не Горькие, но, думаю, в Вас еще не выгорела вера в то, что редактор – помощник писателя и улучшает рукопись. Принципиальная это вера, и Вы достаточно твердо на ногах стоите, чтобы при случае и в морду дать... Ведь иногда бог знает что бывает. Лет пятьдесят назад пришлось мне редактировать однотомник Марка Колосова. Читаю его «Комсомольские рассказы», те, какими он в литературу вошел, и вижу, боже мой, это же преснятина и мура какая-то, а насколько мне по юным годам помнится, в них искорка и живинка была. «Марк Борисович, – говорю, – что же это такое?» «Так ведь, – отвечает он, – они с двадцатых годов раз десять переиздавались и каждый раз редактировались». – «А ну-ка, давайте самый первый вариант». Елееле отыскали; даже из Ленинской библиотеки одну книжицу вытребовали. Гляжу, нет, не подвела меня память, как ни слабы литературно рассказы, неумелой рукой писаны, но жизнь в них есть, атмосфера времени, язык не прилизанный. Так я ему и восстановил все по первым изданиям. Старик сначала ужасался, потом примирился. А вышла книжка, так все рецензенты как раз и писали, какде, мол, хорошо, что от ранних рассказов веет ароматом эпохи. По правде сказать, кроме ароматов в них ничего и не было, а в том, что он потом писал, ароматом вообще уже не пахло. Так-то. Я над столом каждого редактора вешал бы плакатик: «Осторожнее с писателем!»

И зря Вы себя умаляете. Чем больше я думаю о том, что Вами написано, я все больше прихожу к выводу, что Вы не только талантливы, но и умны, а что не столь и сильны в том, что Горький называл «литературной грамотой», так это общая беда литературы нашей. Писать мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. В чем Вы безусловно правы, так это в том, что приблизились к какому-то рубежу, через который надо перешагивать. Вот кончите свои рассказы о детстве, напишете еще одну повесть, и для меня ясно, что какой-то крут будет исчерпай. Пока все это в одной системе. А вот куда вшагнуть из круга, Вам и мне пока не ясно. Над этим, в сущности, я и бьюсь, уж очень хочется в статье что-то подсказать, да ведь чувствую, нет, не подскажу, не знаю.

Все, что Вы написали, как-то улеглось и осмыслилось, конечно, субъективно, наверное, так, как мне это видится, а будущее пока туманно. И неужели Вы серьезно думаете, что Вам читатели это на конференциях подскажут? Ни хрена они не подскажут, будут укорять за то, что о современном молодом человеке ничего не написали да требовать нового корчагина. Читатель-то у нас традиционалист. Выступать я, конечно, с Вами буду, очень рад, хотя и не умею делать вступления, расхожусь обычно только в заключениях, когда уж очень обозлюсь. У современного писателя положение вообще не ахти. Толстые и Тургеневы с описываемой ими средой экономически были связаны, они и свой круг дворянский, и мужика не просто знали, а и чувствовали. У нас же человек, становясь писателем, входит наглухо в круг лишь таких же, как он, пишущих да по ресторанам бегающих, а весь остальной мир для него, как для соглядатая из земли Ханаанской, видит, что несут гроздь винограда на шесте, а кто эти несущие и что это за гроздь, и чем они отличаются от него прежнего, когда он гроздь носил, для него почти загадка.

Мне кажется. Вы не совсем правы в оценке второй части Булгакова – ее очень порезали, говорят, но не в этом дело – мысль-то ведь ясна: всего два человека в этом мире, да и то им тут не место. Да еще мысль «рукописи не горят». Оказавшаяся по отношению к его наследству даже пророческой. Но об этом как-нибудь потом. Не все, конечно, хорошо, полет на метле прелестен, а бал отвратителен, замогильный какой-то.

Ну вот пришла сестра вливать мне в вену десять грамм новокаина. Надо кончать. Кланяюсь Марии Семеновне и ребятам Вашим.

Обнимаю Вас, А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Сейчас, в 11 часов отправил в «Знамя» вторую часть статьи и теперь могу свободно говорить с Вами опять как с человеком, а не как с анатомируемым мною «большим писательством».

Получилась у меня какая-то литературно-критическая повесть, за которую Вы будете меня нещадно ругать, буде она появится в журнале. Я же понимаю, что резал я по живому телу, а это всегда неприятно и когда больно, когда щекотно. «Знамя» ко мне так благоволит, что набрало первую половину, пока я еще не кончил второй, и я успел даже прочесть гранки.

Жил я последние две недели в вечном страхе, что вот меня схватят и поволокут, и не успею я закончить, ибо вокруг загорелся пожар. После того как 9-го мая опять прихватило, врач развел руками и категорически потребовал, чтобы провели клиническое обследование. Меня хотели упрятать в университетскую клинику по знакомству, сразу же, но мне во что бы то ни стало надо было в 7-й корпус Боткинской: во-первых, это привилегированное заведение, где можно работать; во-вторых и главное: рядом с нашим домом; в третьих: в этой же больнице лежит Толя со своей язвой, и Наташе, которая остается одна, хоть передачи носить в одно место. Но попасть туда, как в Царство Небесное. Пришлось звонить Чаковскому, чтобы написали соответствующую бумагу. «Ты – чудак! – ответил он, – бумагами это не делается, а делается звонками. И потом, почему в 7-й корпус? Там хорошо отдыхать, но ни хрена не понимают. Надо лечь куда-нибудь в заведение, где существует школа. Вот я позвоню профессору Рыжику, пусть он тебя посмотрит и решит, куда, а тогда я приму меры – во вторник буду у Демичева и все завертится».

Пришлось ехать к знаменитости, который сам меня, конечно, не осматривал, а поручил своему помощнику. Моя же цель была одна – чтобы написали они мне этот проклятый 7-й корпус. И, слава богу, мудрый семидесятилетний старец светило науки не обнаружил при помощи своего помощника во мне того, что могло их заинтересовать, то есть рака, что ли, и любезно продиктовал послание следующего содержания: «Дорогой Александр Борисович! Мой помощник, опытный врач Левитан, поговорил с А. Н. Макаровым, осмотрел его. Я тоже поговорил с ним (нет-нет! – вдруг вежливо закричал он машинистке: – «Я тоже осмотрел его»; понимал все старик; чудесный старик!). Опасений нет. Считаю целесообразным произвести обследование в 7-м корпусе Боткинской больницы». Словом, добились того, что хотели. Вышли с Наташей и крестились всю дорогу. Имя этого Рыжика в медицинском мире прямо-таки всех потрясает. «Ах, вас сам Рыжик смотрел! Ах-ах!» И Чаковский примирился и соответственно доложил Демичеву. И вот тут-то и вспыхнул пожар. Во вторник же звонок. Открываю дверь – и вваливаются трое в белых халатах, с огромным количеством аппаратов: и для кардиограмм, и прочие, и даже с каким-то подобием двухстороннего противогаза с гофрированной трубкой для вдувания кислорода. Они были потрясены и тем, что больной сам открыл дверь, и скудостью нашей квартиры. Звонок был столь сверху, что они, наверное, решили, что едут по крайней мере к высокому начальству.

«Уволокут, – думаю, – как пить дать уволокут». А статья-то хоть и кончена, но не отделана еще. Стали с Наташей их уговаривать – не надо, мол, сразу хватать, он и сам дойдет, поставьте просто на очередь, предварительный диагноз известен, опасности нет, сам Рыжик смотрел.

И опять же Рыжик помог! Да и Карай тоже. Показали мы им все собачьи фокусы его,  
Страница 70

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

после чего они и подобрили. Ну, говорят, коли так, пусть нам в клинику 4-го управления министерства РСФСР пришлют медицинское заключение, пусть нам его пришлют, а направить вас в 7-й корпус в нашей власти. Но бумага нужна.

Опять звоню Чаковскому. Он говорит, что заключение осталось на столе у Мелентьева, которому и поручил продвигать дело Демичев.

Ну, Мелентьева я и сам знаю, думаю, завтра позвоню. А утром, не успел проснуться, звонит какой-то начальник из 4-го управления министерства. «Мне, – говорит, – все доложено, что у вас вчера были. Только пришлите медзаключение, и мы немедленно». И т. д. Говорит любезно и вроде даже про сительно. Звоню Мелентьеву – Юрий Серафимович, дорогой, золотой, перешлите мою бумагу в министерство, дабы отправить ее в свою клинику, а я уж сам буду звонить в их отдел госпитализации – телефон они мне сообщили. Господи, думаю, денька четыре бы протянулась эта канитель, мне бы и хватило? Тем более что с 9-го никаких приступов не повторялось и я даже поправляться начал, сидя на самой строгой диете. Мне бы вроде уж и ни к чему ложиться-то. Но все равно придется, уж больно высоко залез.

И вот сегодня впервые позвонил в этот проклятый отдел госпитализации. Отвечают: бумаги есть, все в порядке, мест пока нет, но, может быть, даже сегодня будут, звоните после обеда.

Так вот все-таки и запрут меня, а на сколько, одному богу ведомо – буду напирать на то, что ведь на обследование, а не на лечение, и что чувствую я себя вполне прилично. Наташу жалко – она больше всего страдает, как же вдруг я без нее окажусь, а она одна. Беда. Бред!.. Она совсем замучилась, и Толя в больнице, и к нему бегай, и очерк, объявленный по радио, не задался (да и как тут задаться, когда живем, как на пороховой бочке) – передавали старый.

Вот и все мои труды и дни.

Вы-то как? Здоровы ли? Преодолели ли свою ипохондрию?

Пермь все время вторгается в наш дом. Вчера передавали от вас КВН. Юра был очень разочарован – он ожидал, что Вы обязательно будете в жюри, хотя я и уверял его, что Вам это ни к чему. Очень я надеюсь, что к этому времени, как о Вас пойдут конференции, я ускользну от эскулапов.

Низко кланяюсь Марии Семеновне. Привет Вашим потомкам.

Обнимаю Вас. А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Упрятали-таки меня в лечебницу. И вот уже неделю все исследуют, но пока ничего, кроме «ужасного колита» не нашли. Но найдут, они такие дотошные. Лежу я в Боткинской, все-таки в том самом седьмом и даже в 7-м «А», что здесь, кажется, высший класс. Во всех палатах одни нач. отд. министерства да заммины республик – все лица важные и в годах.

Мне повезло. В нашей палате всего трое: один зам. мин. с/х Мордов. АССР чудесный, милый, тихий человек. Он болен, видимо, серьезно, его уже и оперировали, но держится он молодцом, хотя... Читает Гроссмана «Достоевский» и вечерами беседуем об эрозии почв и других с/хоз. бедах.

Второй – старый мой приятель Сергей Наровчатов. Этот погрузился в Льва Толстого и за «Войной и миром» поедает «Анну Каренину». И, естественно, удивляется. Я уж ему говорю: «Вот напишу в мемуарах, как меня вместе с неким поэтом в больницу положили, а он впервые читал Толстого». Сам же я все еще за давлен рукописями, которые не успел прочитать и они залежались месяца два (а все Вы виноваты), и теперь читаю огромный том воспоминаний о Маршаке. Как прочел страниц 200 – это одна четверть – воспоминания всяких двоюродных, четырехродных сестер и каких-то пенсионеров, которые когда-то, в 1918 году однажды видели Маршака. Бог знает что, о Маршаке два-три абзаца общих, справка, как и когда встретились, а о себе страниц десять, а то и больше: кем когда был (а), краскомом или гимназисткой, с кем вместе воевал или какие преподаватели были в гимназии...

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Прервал писание, поскольку таскали еще на обследование и опять ничего пока не нашли. Ей-богу, врачи похожи на критиков, о коих Твардовский писал:

Что мне критик, умник этот,  
Что читает без улыбки,  
Ищет, нет ли где ошибки,  
Горе, если не найдет.

Но это я зря. Все же здесь я чувствую малость лучше. И надеюсь, что к Вашему приезду в апреле буду на свободе.

Вторую часть статьи из «Знамени» еще не получил, судьбы ее не знаю, волнуюсь, а по ночам просыпаюсь в холодном поту, вспоминая, что то не так и это не так, – нет, не по поводу их мнения, а самому кажется, что что-то недоговорил, не те слова нашел.

Вот вы пишете, что перед переизданиями все перелопачиваете, а у меня это как-то не выходит, а ведь, наверное, надо бы уж уметь.

Размеренный порядок, установленный здесь, волей-неволей приучает к какойто растительной жизни, ни о чем путем не думается, ни одной гениальной мысли в голову не приходит, и слухи никакие не доносятся извне, разве что узнаешь, что вот один именитый поэт до того заездил по заграницам, что попал к Ганнушкину – у него мания преследования (очень жалко мужика, он хороший, хотя как поэта я его не особенно люблю – рационалистичен очень). Да еще одна поэтесса и ее супруг подрались в ресторане и избили того, кто принялся их разнимать, а теперь жена избитого на них в суд подает. Не везет братьям-писателям.

Понимаете ли Вы, что я скучаю о Вас, вдвойне теперь скучаю – пока писал все Вы были рядом, а...

Теперь вот, когда бумаге  
Известна и грусть моих слов,  
Вы с мельником, может, на тяге  
Подслушиваете тетеревов...

...Черта лысого! Оказывается, Вы не тетеревов подслушиваете, а пишете «критических статей». Только что пришла Наташа и принесла «Комсомолку» с Вашим «Добрый словом». Эту статью я воспринял как урок себе – вот, мол, пока Вы там кондепаете свои статейки... Хорошая у Вас статья, и очень я пожалел, что не знал ни Якубовского, ни повестей его. Почему, ну это Вы поймете, если появится моя статья. А статья у Вас хорошая, сразу узнаешь Астафьева с его верой, с его убеждениями. А про чернолесье – это очень здорово, неужели правда, что это слово стали переносить на хвойные леса – мне как-то не попадалось.

Погода у нас какая-то дрозглая, сырая, то серый снег повалит, то дождь пойдет. Да и у вас, наверное, не лучше. Кончилась весна света, пошла весна воды. А все-таки она весна... И все-таки скоро можно будет ловить рыбу. Зимойто так и не пришлось, а я завидовал Вам, Вашим ершам, и утешался тем, что Ваш потомок все же обставил Вас по этой части.

А все же скучновато здесь и главная беда – голова какая-то, на холостом ходу. А посему кончаю. Не забывайте.

Кланяйтесь Марии Семеновне и всем потомкам.

Обнимаю Вас. А. Макаров.

Дорогой Петрович! Родной Вы мой!

Спасибо за доброе письмо. Я, кажется, помаленьку налаживаюсь, но спасают, думается, не столько врачи, сколько работа: свалилась на меня тут в больнице верстка книжки, проверка цитат во второй половине статьи о Вас и, наконец, за два дня до сдачи в набор, самое статья с замечаниями мудрой Л. И. Скорино. Но как раз к сегодняшнему дню я от всего отделался, даже от внутренних рецензий, которые задерживал для «Сов. писа». Теперь трепещу. Редактор с версткой книги



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

еще не приходила, и кто знает, что она там надумает в связи с указаниями выше. Статья же должна появиться в двух номерах – майском и июньском. Говорю W должна, потому что до тех пор, пока не увижу журнал в киоске, обычно не верю, что все благополучно. Статья получилась большая, с разными выводами и отступлениями, и я не думаю, что в ней Вам все понравится. Мне и самому далеко не все нравится, и кое-что писал с оглядкой на юбилейный год, стараясь, чтобы лик Ваш был достойно светел, и обходя острые углы. А Людм. Ив. мне в этом всемерно помогала, вычеркивая и снимая слишком острые цитаты. «Что это значит?» – спрашивала она меня (т. е. С. А. Дмитриева – зава критикой). – «Это он (Толя) понял на своих боках в милиции». – «Его что, там били?» – «Да», – уныло подтверждал Муля. «Так зачем же об; этом писать? Достаточно, что об этом писатель написал».

Словом, правка шла за счет снятия всяких неприличностей, какие Вы в своих писаниях допускаете. В конце же она потребовала, чтобы я раскрыл Вам «духовные очи» и указал цель; и путь. Что я по своему разумению и учитывая обстоятельства и выполнил. Получилось что-то вроде того, чего требовала от Вас и оппонент Ваша в «Урале» по поводу статьи «Алмазы», только, разумеется, чуть тоньше.

Но вот что я и в самом деле подумал, когда присочинял конец. Хотите Вы или не хотите, но путь Ваш пролегает в направлении современного сегодняшнего романа, и Вы очень нужны. Когда-то Вы отгрохали роман, не будучи еще писателем, а теперь самая пора. Я понимаю, что легче всего, может быть, сказать «правду о войне», которой никто не говорил, только кому эта правда нужна сейчас, будущая война вряд ли будет на нее похожа. Это не относится к «Пастуху и пастушке». Я говорю не о ясной уже близости, а о даях Ваших.

А современный роман, где бы действовали люди разных поколений, и старушки, и Ваше, и молодежь, ой как нужен. Мы же все время жизнь берем в створе того или иного поколения... А нужен роман, где бы о молодежи писал человек с опытом. Вспомните, как менялись поколения в романах Достоевского, ведь он и Алешу Карамазова, и «Подростка» стариком почти писал. И Базарова подметил не кто иной, а человек сороковых годов Тургенев.

Но я, кажется, начинаю пересказывать конец собственной статьи. И меня, ейбогу, не страшит, что Вам в ней понравится или заденет; чего бы я в ней ни говорил, мне думается, каждый поймет, что я Вас очень люблю. И очень хочу, чтобы Вы стали большим и замечательным. На статью-то в том отношении я ни каких надежд не возлагаю, ну прочтут, увидят, что я Вас прочитал, но ведь даже Вас-то прочесть не могут, настолько Вы, как писатель, рассыпаны по разным изданиям. Но это ужасно, и в этом отчасти «Мол. гв.» виновата. Вам надо, надо уходить, и не в «Сов. Россию», а в «Сов. пис.», где есть умные редактора, вроде Верочки Острогорской либо Лины Ивановой, Льва Левина, которые и с Лесючевским могут сразиться – сцепиться, при необходимости, не то что Ваши молодоговардейские мальчишки, трепещущие перед своим начальством. В люди-то Вы вышли, а Вам на люди выходить нужно, и вряд ли «Мол. гв.» Вам поможет в этом. Чем дальше Вы отходите от «Перевала», тем меньше, становитесь их автором. Дело ведь не в возрасте героев. Мне даже думается, что и в романе своем, который я так ясно вижу, как будто Вы его написали, должны быть главные герои – молодые современники. Ведь Вы же их хорошо знаете. У Вас в собственном доме целая троица, и тема отцов и детей должна быть поставлена, только не так односторонне, как ее ставят наши «молодые». Вы же нашли свою интонацию – рассказ от первого лица, и ее не надо бояться. Достоевский вон все романы от первого лица писал, а кто это замечает? Но это давало ему своего рода свободу, объективность освещения, что ли.

Видимо, с апрельской поездкой у Вас тоже разладилось. Я все ждал, что Вы приедете, а Вы еще по льду реку собираетесь переходить. А у нас и лед давно прошел.

Через неделю-полторы я надеюсь из больницы выбраться. Лечащий врач на меня смотрит одобрительно. А к профессорам и консультантам, славу богу, меня здесь не таскали – так, вливают в вену глюкозу с витамином да рыбий жир впускают с другого конца. Вот и все лечение. Ну, еще порошки какие-то дают.

Толя лежит в соседнем корпусе. Вижу его каждый день. Он то в веселом настроении, то впадает в меланхолию, когда ему вливают кровь. К маю его тоже, видимо, выпустят. Наташа превратилась в чиновника по особым поручениям при моей персоне, по-современному говоря, просто в курьера и совсем измучилась, бедняга, Аннета и Юра цветут.

Вот и все пока.

Низко кланяюсь Марии Семеновне. Привет всем домочадцам. И помните, Вашей лирической публицистикой, как бы ни восторгался ею, Вы на люди не выйдете. Подумайте о чем-то большем.

Целую Вас. Ваш А. Макаров.

В один из последних приездов в Москву я рассказал Александру Николаевичу повесть «Пастух и пастушка» и о том, как возник замысел этой повести. А возник он прелюбопытно, вроде бы и случайно, но и закономерно, совершенно не похоже на другие замыслы.

Я работал в областном Пермском радио корреспондентом по горнозаводскому направлению и однажды, едучи в город Кизел – центр угольного бассейна, совершенно для себя неожиданно проспал свою остановку и с испугу вышел на каком-то глухом разъезде, с пачкой сигарет и книгой «Манон Леско» в кармане. Забравшись на гору, я целый день читал эту книгу и курил табак.

Был солнечный осенний день, вдали меланхолично курились копры, тихая гористая земля, ископанная, исковерканная человеком, подрытая, подернутая желтой травкой, испятнанная пнями спиленных лесов по косогорам, исполосованная электро- и всякими другими линиями, грустно молчала под тихим, тоже синеньким небом, по которому растекалась дымная муть и, словно бы не решаясь грязнить вечную, синюю небесную святость, отслаивалась от неба, приникала к хребтам, оседала на них.

Чем-то древним и грустным прошибало и это «промышленное» небо, и эту старую уральскую землю, изрытую, пустынную, из недр которой люди добывали уголь, руду и всякую всячину, необходимую для того, чтобы крутить колеса заводов и машин, заряжать орудия войны и труда, строить и сносить, сажать и рубить, и поскольку самого человека нигде на этом унылом разъезде не было видно, а сердце ныло от только что прочитанной книги, поведавшей о страдальческой и прекрасной любви Де Грие и ветреной Манон, ветренность которой, впрочем, была не оскорбительная, не отталкивающая, наоборот, даже манящая, – то и возникла во мне тоска по человеку чувства, что ли, – но не только работы, еды и необходимого для утоления плоти и продления рода физического сближения. «Ну неужели мы разучились любить и страдать так же возвышенно, «до смерти», как в те давние годы любили эти вот двое, скорее всего выдуманные аббатом Прево?» – такой или примерно такой вопрос задавал я себе тогда, а писатель, да еще молодой, задавши себе вопрос, немедленно захочет получить на него ответ. А так как вопрос-то возник «вечный», то и ответа на него не было, надо было искать его в жизни людей окружающих и тех, что были с нами и до нас...

Началась внутренняя, довольно мучительная работа, появлялись и исчезали какие-то образы, герои, заголовки будущей повести, сюжетные «ходы и выходы», сперва смутно, но потом все ясней вырисовывалось строение будущей вещи, на строении этом появлялись крыша, труба, крылечко, окна, и в окна эти даже живые люди стали выглядывать...

Александр Николаевич осторожно подвигал меня садиться за повесть, начинать ее «выкладывать на бумагу», ведь уже рассказал наизусть, но нет, весп-то еще недоставало мне, какого-то внешнего толчка или внутренней потребности садиться и писать именно эту, а не другую вещь. Чтоб ее невозможно было не писать. Так как писать вообще очень трудно, а трудности этой работы виделись заранее, то я и оттягивал, отдалял, как мог, так называемые «муки творчества», которые, увы, существуют не только в воображении сатириков и веселых юмористов.

Дорогой Виктор Петрович! Твое озорное письмо меня совсем было развеселило. Читал его в саду, куда меня уже выпускают гулять. Иду назад, а навстречу Нилин, мрачный еще больше, чем всегда, на филина похож, буркает: «Комаров накрылся». Я сначала не поверил. Оказалось, в самом деле. И почемуто такая тоска напала, жалко человека, из-за какой-то мелочи и вот... Ну уж о резонансе не говорю, бог с ним, с резонансом. А вообще-то не везет нам... Никак не удается нам добиться сплочения. В общем, целый вечер бродил по коридору и был не в своей тарелке. Толя, который все знает, забежал из соседнего корпуса и объявил, что он еще раньше всех знал, у них в палате будто бы лежит какой-то дядя, связанный с этими

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

делами, и во время полета все радовался, мол, и я премию отхвачу. И вдруг ему позвонили по телефону друзья, вернулся в палату, схватился руками за голову – погиб Комаров, что-то нам теперь будет?

Уж не знаю, какое он там участие принимал. Толя-то попал в этот корпус благодаря Наташиным хлопотам, и лежат с ним все какие-то инженеры, люди дела, а меня окружают одни чиновники – начальники, про кого мой сосед, зам. мин. с/хоз. Мордовии сказал: «Все мы здесь шаромыжники и зря народный хлеб едим». Хороший мужик он, и пролежал я с ним бок о бок месяц, да вот вчера выписался, и не на жизнь, а, видимо, на смерть – резали его и зашили – рак печени, как говорят. А мужику всего сорок пять лет, душевный парень, никак не пойму, как он в замминистра угодил? Жена у него, трое парней – один институт кончает, другой на первом курсе, третий – четырнадцати лет. Вот все о пенсии волновался – дадут, мол, шестьдесят рублей, что делать? Болело у него, видать, крепко, и зуд мучил, но хоть раз бы пожаловался, так улыбаются грустно, и все.

А я вот пока еще здесь, и разве узнаешь у врачей правду. Но поскольку не резали меня и на выписку не предназначали, видимо, еще поживу маленько. Врач решила выписать в субботу. Но я упрямился на пятницу – мне, говорю, еще говеть и исповедаться нужно, а в пасху попы не исповедуют. Не могу же я во грехах оставаться. Уговорил. Но только гонят меня в санаторий, видимо, в Малеевку, после праздников, я сказал, не больше чем на две недели, и с пятого обещали. Но я-то вернусь в Москву лишь шестнадцатого, а у тебя первая конференция 15го. Наташа узнает в бюро все – на какие числа твои встречи. Очень мне хоте лось бы на них быть.

Вот так-то, дорогой мой Виктор Петрович.

Вылечили ли меня? Подлечили, да, но все же балует мое чрево, урчит и поет на разные голоса. Ну да бог с ним, лишь бы отсюда вырваться. Вот ты говоришь, редактор не едет, я тоже весь издергался. У меня рядом, да не идет, верстка валяется ровно три недели. Я думал, они хоть цензору сразу дали, не тут-то было, там три полосы не так оттиснули, так вместо того, чтобы за три-то недели из Тулы эти страницы потребовать, редакторша сама еле-еле прочитала, сегодня вечером обещала прийти. Значит, пойдет на сверку, а потом лишь к цензору, а там он что-нибудь накундепает – и новые волнения, и еще одна сверка...

Боюсь за статью о Симонове – много там про культ, а теперь это слово чуть не запретным стало. Только что вышли «Солдатами не рождаются» с моим послесловием, и Симонов мне прислал экземпляр с надписью: «Милый Саша! Спасибо тебе, что помогаешь мне так писать, постараюсь писать так и дальше. Мне очень важно то, что ты сказал, особенно теперь». Вот это «особенно теперь» меня и пугает. А ведь в книжке статья-то хоть и поразвернутее, а все на тот же лад... И вся задержка из-за лениности редакторши...

Ну вот все и выяснилось. Конференция 15-го и 16-го в библиотеках Лавренева и Володарского, и еще авторское выступление на заводе. Я уж позвонил в бюро, что буду и 15-го и 16-го, и в Литфонд сообщил, что поеду в Малеевку не с 5-го, а с 4-го, если еще вообще туда меня пустят. А нет, черт с ними, уеду на десять дней в Тарусу.

Прочел «Литературную Литву» – альманах. Там рассказ К. Воробьева о детстве. Хороший рассказ, написан хорошо, но так, как будто его Астафьев писал. Знаю, что тебе этот писатель нравится и пишет он действительно хорошо, и все же вспомнил его книжку и вот этот рассказ, и как-то никак не уловлю, где он сам свой. Пожалуй, все же в той повести о батальоне, погибшем под Москвой.

Ну вот, дорогой мой Виктор Петрович, в письмах-то мы перешли на «ты», а как это при встрече получится?!

Очень я сочувствую Марии Семеновне, желаю ей поскорей окончательно от хвори избавиться и за мужем следить в оба глаза. А то вишь разгулялся – от всего освободился – и от Литфонда, и от секретарства отбрыкался, так ведь и просчитаться можно. Ныне должности и печататься, и жить помогают. Разве не так?

Родной мой! А не пора ли свой талант по ветру пускать перестать? Уж больно русский характер! Ты скажешь, я это потому пишу, что самому пить не дают. Эх, если бы ты знал, как жаль мне тех, разделяющих нас лет, из которых добрых десять

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

я тоже попить любил. Спыхватишься, ан поздно... Ну-ну, не буду морали читать, лучше еще раз твое письмо перечитаю. Так-то.

Обнимаю.

Привет потомкам. Очень рады будем видеть Марию Семеновну в Москве.

Наташа, Аннета и Юра кланяются.

Твой А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Я, как всегда, забыл самое существенное, за что Наташа меня ругательски ругала.

Вы же с Марией Семеновной можете остановиться у нас. Если вас это не устроит, то хоть с вокзала-то ехать к нам, а потом уж искать что-либо более для вас удобное. Нас ведь до 15-го не будет. Дома будут Толя и ребята, у которых есть всегда свой угол. Мы, видимо, вернемся 15-го днем, и все равно часам к пяти-шести тебе надо приехать к нам, ко мне, а машина придет за нами, чтобы везти нас на муки в библиотеку Лавренева. Нужно только, чтобы вы заранее написали, какого числа приедете и в какие часы, чтобы кто-нибудь дома был и вас дождался. В крайнем случае, у соседей над нами будет оставлен ключ, который отпирает, лишь нажмешь чуть на себя (как английский замок). Карай тебя знает и не удивится. Но постараемся устроить так, чтобы кто-то, Аннета или Юра, были дома, если Толя будет работать. И если не приедете числа 13-го или 14-го, то лучше всего остановиться у нас, а там как хотите. Кто его знает, как там будет со всякими гостиницами. К тому же Наташа очень соскучилась по Марии Семеновне.

Значит, напиши, когда ждать.

Твой А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Вот видите, до чего доводит пианство – и печенка, и селезенка, и все нутро протестует. Вот будете в Москве, обязательно разыщу письмо Чехова брату Николаю, где он говорит, что человек обязан уважать свой талант, и буду читать вслух – Вам в наказание и назидание. Все-то мы думаем, что молоденькие, ан раны наши нет-нет да и заговорят, и не только к дурной погоде, а и по поводу. Да и только ли физические.

Я понимаю, что очень Вам трудно, только сами Вы мало себе помогаете, гордость заела, а в наше время не гордость нужна, а пробойная сила. Впрочем, только ли в наше? Вот вспомнился диалог из «Леса» Островского (я его наизусть помню. Не «Лес», а диалог), старого лакея и юного Буланова.

Карп:– Ах, барин, барин, молоды Вы очень!

Буланов:– Сам знаю, что молод, я вон гимназии еще не кончил...

Карп:– Другие и гимназий не кончали, а какие ловкия...

Буланов:– Да на что ловкия-то?

Карп:– А на все! А особенно на то, что мимо рук плывет.

Вот так-то, мой друг! Другие вон свои рукописи в два-три издательства одновременно тащат и ждут, где скорее клюнет. Ну да об этом мы поговорим по приезде. А то Вы все спасаетесь тем, что бежите в «обитель дальнюю трудов и чистых нег». А Вам спастись рано, надо сперва стенку лбом прошибить. Да не листовничную, а белокаменную, а потом уж и в скиты уходить или «махнем, мой друг, в шатры с тобой, к цыганам, там не умеют долго горевать». Это уж в зависимости от охоты. Да и цыгане-то теперь где? Все в той же белокаменной, в театре «Ромэн» режутся.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Из больницы я выбрался в пятницу, а в субботу была верстка второй половины статьи. Так что пасху и Первое мая я вроде бы с Вами провел. Да и вообще у меня такое ощущение, что я живу в Перми: то по телевизору показывают Пермский оперный, то состязания пермяков с московским медицинским на КВН, то вот сегодня Пермское хореографическое училище. Открываю сегодня том Добролюбова, и тот открывается на рецензии, которая называется «Пермский сборник».

Раньше я как-то не замечал этих пермяков, знал только что бабушка звала Горького «пермяк – солёны уши», и этим мое образование ограничивалось.

Чувствую себя вроде ничего, правда, после больницы дня два не мог привыкнуть к дому ни в бытовом, ни в физиологическом отношении, а теперь вроде наладился.

Завтра уезжаем с Наташей в Малеевку, вернемся 15-го днем. Машина за нами на конференцию придет в пять тридцать. Наташа узнала, что Вы заказали гостиницу на 14-е, и что-то там говорила, что, может быть, с семнадцатого ей уж очень хочется, чтобы Вы и при нас денька два у нас побыли, а до нас-то и бог велел. Но «устроительница» сказала, что она с Вами еще будет разговаривать. Если дома никого у нас не окажется, ключ будет оставлен под дверь, и в любое время дня и ночи располагайтесь в кабинете, как у себя. Ейбогу, он не хуже гостиничного номера, хотя и захлавлен книгами.

Да, что Вы читаете Олдингтона – «Смерть героя?», «Вражду», «Сущий рай» или уж «Дочь полковника»? Господи, до чего же я старый – все это еще до войны читал, и от «Вражды» словно очумелый ходил и все мечтал об острове Эа. Только после нашей войны никаких островов Эа не осталось, из чего логически можно заключить, что после третьей мировой...

Ну да ладно, не буду. А действительно, замечательный человек и писатель. Он ведь у нас побывал года 3–5 назад, да тут же, воротясь в Швейцарию, и помер.

Очень, очень интересно, что Астафьев как мастер эпистолярного жанра расходится с Астафьевым-прозаиком: в письмах пишет: «Ах, почему хорошие люди мрут, а подлецы живут?» А в повестях пишет, что «не один-де подлец безнаказанным не останется». Где же мы с Вами лицемерим, дорогой мой Виктор Петрович?!

Ну ладно, не буду дразниться, из Санькиного возраста я вышел давнымдавно, а распрыгался потому, что на свободе после месячной изоляции себя почувствовал.

Кланяйтесь Марии Семеновне и потомкам.

Обнимаю Вас. Ваш А. Макаров.

В журнале «Молодая гвардия» напечатали мою повесть «Где-то гремит война». В журнале этом в тексте всегда бывала масса грамматических ошибок и обязательно кем-то, уж на последнем рубеже, вырубленные, а то и вписанные фразы.

Так было и на этот раз. И когда дело дошло до публикации этой повести и «Кражи» в издательстве «Молодая гвардия», большие сложности вызвали кем-то и почему-то выброшенные куски и фразы, да и мной самим от усталости и апатии похеренные страницы...

Александр Николаевич был первым редактором возобновленного журнала «Молодая гвардия», но ушел от него скоро и с большим облегчением, хотя уже взял разгон в работе, и журнал потихоньку становился на ноги, но не встал и до сих пор встать не может, потому что очень уж бесцеремонно обращаются и с журналом, и с редакторами те, кому надлежит им руководить.

– Как возможно так работать, когда редактора руководящие товарищи не уважают и обращаются с ним, как с мальчишкой. Собрались однажды обсуждать номера журнала, вышедшие за год, ну не бог весть что в них было, но было, и вместо обсуждения прозы, поэзии, публицистики давай чихвостить редактора. Из ЦК комсомола мальчишки орут: «Он такой разэтакий!»; из секретариата Союза писателей им поддакивают: «Да, да, рассякой и разэтакий», и кто-то из ораторов подает здоровую мысль: «Снять его, выгнать в шею, а Шолохова попросить возглавить журнал!..» – «Вот эт-то да-а! Вот это здорово! Как раньше-то не додумались?!» – «Шолохова! Шолохова!..» И все это в моем присутствии, – горестно качая головой, рассказывал Александр Николаевич. – Не посоветовавшись ни с кем, в том числе и с самим

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Михаилом Александровичем... А они ведь поорут, подергаются, заранее зная, что Шолохов не пойдет, не поедет в Москву добывать последнее здоровье на этом журнальшке, и уйдут, разбредутся по своим уютным кабинетам, а мне ведь завтра в котле кипеть, журнал выпускать, с людьми, в присутствии которых меня с г...-м смешали, работать, не имея кадров, полиграфической базы, даже помещения не имея, не говоря уж о поддержке со стороны товарищей, руководящих этим громоздким органом. С бухтыбарахты взяли постановили: «Возобновить толстый журнал!» – и точка! Дальше как будто их ничего не касается. В общем, теперь меня ни в какую журнальную, должность арканом не затащишь, а в редакторы тем более.

На похоронах Александра Николаевича была одна-разъединственная представительница журнала «Молодая гвардия» – Лиля Русакова, сотрудница отдела прозы, и та, как выяснилось, по своей, по доброй воле. Никому более из «Молодой гвардии» в голову не пришло почтить память первого редактора. Впрочем, этому журналу и его руководителю из ЦК комсомола всегда не хватало, и по сию пору не хватает, одной очень важной штуки, которая зовется коротко, но емко – этикой. И не только в журнале «Молодая гвардия», не только в издательствах, не только в творческих организациях, но и в общественных предприятиях и службах граница между этическими и элементарными человеческими отношениями бывает размыта до водянистого вида или начисто ликвидирована.

Вот вам два примера из «творческой жизни», которые, уверен, в любом человеке воскресят сразу сотни примеров неуважения и унижения элементарных, обыденных прав гражданина.

Я с детства ценю и люблю старинную нашу киноактрису Елену Алексеевну Тяпкину (напомню ее последнюю роль, замечательно острую роль – эпизодическую! – в кинофильме «Война и мир» – тетушка Наташи Ростовской). Случилось так, что на фронте, посмотрев с ее участием «Радугу», я загадал себе невероятное: «Если выживу, вот бы встретиться!..»

А известно, если чего пожелаешь, да еще на краю жизни, иногда и сбывается. Елена Алексеевна и ее муж, заслуженный артист республики Михаил Лишин, решили сами меня найти – была пора, когда старые артисты, деятели кино и театра, мало занятые в кино и на сцене, сами создавали, точнее, затевали какие-то студии, филиалы и даже театры. Вот и артист Лишин с женой и сотоварищи задали себе задачу создать театр-студию, которая бы инсценировала произведения малоизвестных молодых авторов, и на глаза им попала моя повесть «Перевал», и они решили встретиться с автором.

Из театра того, как и из большинства затей тех времен, ничего не получилось, но зато я побывал в первый раз в жизни! дома! у живых! артистов! – да мало того, что побывал, еще и просидел до полуночи, буквально через час чувствуя себя у них как дома и, совершенно покоренный замоскворецким хлебосольством и разговором, многое рассказал о своем житье-бытье, а Елена Алексеевна поведала мне собственную трагедию – у нее погиб в ополчении единственный сын, когда она была на съемках той самой «Радуги» в Алма-Ате...

Прошло не менее десяти лет, прежде чем мучивший меня, занозой застрявший рассказ оказался на бумаге, назывался он «Старое кино» и, конечно же, по всем нормам морали и по моему желанию посвящен Е. А. Тяпкиной. Рассказ печатают в толстом журнале «Север» и просят разрешения перепечатать оттуда в журнале «Советский экран». И каково же мое удивление, Елене Алексеевне потрясение посвящение к рассказу исчезло. В этом бойком, малоквалифицированном и, по этой причине, многотиражном журнальчике малоквалифицированные работники посчитали, что и так много чести сделали Астафьеву, перепечатав его рассказ, «улучшив» самовольной правкой и сокращениями, а уж посвящение какой-то женщине с такой примитивной русской фамилией – вовсе претензионная наглость автора.

А Елена-то Алексеевна, человек очень старый, обросший друзьями и знакомцами, порой и знаменитыми (она, к примеру, училась вместе с будущей мировой кинозвездой Милицей Корьюс в гимназии, и где бы вы думали? В Киеве! И зовет ее по старинке Милкой. Но об этом я расскажу как-нибудь отдельно). Так вот, старушка моя, живет она в доме престарелых актеров и времени у нее очень много, всем-всем друзьям, вплоть до Парижа, сообщила, что вот дожила, удостоилась рассказа с посвящением, а посвящение-то и тью-тью.

Елена Алексеевна начинала сниматься еще в немом кино, работала во многих

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

театрах, в том числе и у Мейерхольда, навидалась и натерпелась всего, выносила и не такие удары и несправедливости, но все-таки зачем это? Почему? Рассказ «Старое кино» я, между прочим, много раз переиздавал, и как только недосмотришь, как потеряешь бдительность – нет посвящения, исчезло. Воистину черт горами ворочает, но пакости творит невежда с обычным человеческим лицом, обыкновенными человеческими руками и не всегда затрудняется понять и осмыслить, что пакостное дело злее Божьего.

Вот вам пример обратного порядка – уже с посвящением мне.

Возвратился из поездки по Алтайскому краю Николай Рубцов, возвратился просветленный, сияющий, душевно обогатившийся – человек тихой вологодской земли, он открыл новую и очень красивую, не похожую на его родину ни нравом, ни видом, буйную и пространственную страну Сибирь.

Открытие потрясло и вдохновило поэта. Он привез с собой новые стихи и замыслы и, поскольку жили мы через два дома, сразу же явился к нам поделиться своим богатством и душевной радостью (других материальных благ и богатств у него никогда не было, да они ему были и ни к чему).

Хорошие, уже зрелые стихи читал нам Николай Михайлович. Чувствовалось, что он переживает какой-то внутренний подъем, что в поэтическую зрелость входит душевно обогащенный, готовым решать большие нравственные задачи, жить в поэзии не по заниженной норме, как живут и благополучно прозябают в ней целые косяки посредственности. Жить и творить по завышенным нравственным и гражданским задачам трудное дело, но оно становилось поэту по плечу.

Примерно это я и говорил тогда Николаю Михайловичу, Коле, как всегда до самой смерти дружески и братски называл я его, говорил как старший брат и сотоварищ по перу. Коля зарделся, бормотал какие-то неуклюжие ответные слова и все спрашивал, с какой-то, как ему казалось, тайной, на самом же деле легко отгадываемой детской многозначительностью: «А какое? Какое стихотворение, Виктор Петрович, тебе из сибирского цикла больше понравилось?» И я ответил: «Шумит Катунь». Коля ушел в мою комнату, сказал, чтоб ему не мешали, оттуда вернулся, сияя своими маленькими, выразительными черными глазками, и всем лицом сияя, и протянул мне листок со стихотворением «Шумит Катунь», сверху которого было написано: «В. Астафьеву».

Мне за мою творческую жизнь посвящено немало произведений, в том числе и поэтических. Я всегда пытался и пытаюсь делать людям добро и не только пером, но всем, что и где мне доступно. И мне люди за добро платят добром, какое им доступно.

Не скрою, посвящение Николая Рубцова, в котором я и близкие, сведущие в литературе люди и тогда уже предполагали большого поэта – еще только предполагали! – было мне особенно дорого еще и потому, что мне дарил стихотворение мой собрат по жизненной доле, бывший детдомовец, и как человек искренний, внешне колючий, иногда и грубый, он делал подарок с какой-то редко наяву пробуждающейся, точнее, редко кому показываемой нежностью и доверительной непосредственностью.

Не стало Коли, Николая Михайловича Рубцова. Посыпались на него, как у нас часто водится, посмертные похвалы, пришла давно заслуженная слава, начали выходить одна за другой книги – и снова «сюрпризы»: в одном издании «Шумит Катунь» печатается с посвящением, в другом – нет.

Я понимаю, что не всем людям мое имя и работа моя по нутру, да и есть целая категория людей, которым я совсем не хотел бы быть «по нутру», и пишу совершенно иногда осознанно для того, чтоб растревожить, если не ушибить это самое нутро. Но, кроме меня, есть воля покойного человека, воля поэта, и тут уж, любя не любя, но, как говорится, «почащей взглядывай». Соблюдай хотя бы против своего мстительного норова этические нормы, выполняй волю покойного, ибо для нормальных, уважающих себя людей она всегда была свята, а святого, достойного почитания не так уж много нынче на свете осталось. И кому как не писателям и их издателям дорожить этим, хранить этические остатки и нормы, еще позволяющие человеку чувствовать себя человеком?

В конце марта подались мы с женой в Быковку, решив встретиться там весну «от и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

до», то есть от первых потаек до полного тепла и ледохода, да и «расходиться» неприятную болезнь, которая мучит многих людей при сидячей работе, писателей же в особенности.

Хорошая та была весна, крепкая, днем припекало и даже пекло, на дороге вытаивали пятна серого, все еще вонючего силоса, по крышам текло, выпрастывались из-под снега трупелые, поросшие по оподолью и щелям зеленью тесины, оживились и азартно стрекотали сороки, а вороны, те наоборот присмирели: у них только что унялись свадьбы, накаркались, наигрались, набегались, налетались и старчески теперь сидели, черными шапками надевшись на колья оград, не то дремали, не то самок на яйцах караулили, не то длинно думали о чем-то. Но по лесам все еще лежали глубокие, чистые снега; речка лишь в излучинах слегка «отпотела», утренники выдавались крутые, и мы радовались – мало будет клеца – он как раз в эту пору окукливается в гнилых пнях и валежниках, но если утренник-другой ударит за минус тридцать, такое здесь веснами случается нередко, куколкам клеца и всякой заразной твари конец.

Все было хорошо, уединенно, тихо, все располагало к хорошему рабочему настрою, и я пробовал работать, но мешала проклятая болезнь, которую по причине стыдливости скрывают и от которой мучится немало людей. К ней, к этой болезни, нельзя привыкнуть, но притерпеться можно, если не начнется ущемления. А оно и началось ни с того ни с сего, в самую неподходящую пору, в самом неподходящем месте – больницы нет, от города далеко. Пока я терпел и спасал себя «домашними средствами», наступили распары, с полей сошел снег, вскипела речка, прилетели скворцы и повыбрасывали из скворечников уютно там устроившихся воробьев. По водохранилищу давно уже не ездили на лошадях, да и ходить сделалось опасно.

Попали. День ото дня мне становилось хуже и хуже, от боли начало схватывать сердце. Но вдруг снова завернул такой крутой утренник, что даже лучи яркого солнца крошились от мороза и белым пеплом сыпались вниз.

По скользкому, почти зеркальному льду, выбирая пятнышки выщербленной луды, мы с женой кое-как перебрались через четырехкилометровую ширину водохранилища, до станции – еще пять, а я уже идти не могу. Но только миновали кирпичный завод, глядь, вслед нам мчится черная «волга» и в ней вроде бы знакомый нам большой начальник. Голосуем. Жена чуть под колеса машины не бросилась, но, обдав нас газом, бросив в нас крошками мерзлой грязи, «Волга» надменно удалилась.

Какое-то время мы стояли молча и растерянно. Да, в машине был наш хороший знакомый, добрый в общем-то человек, изувеченный на войне. Он не узнал меня в рыбацкой куртке и в старой шапке, ссохшейся от дождей и мокрого снега. Но он же видел, не мог не видеть – сам же инвалид, что на дороге больной, в три погибели согнутый человек с батошкой в руке...

Мне довелось потом быть с этим человеком в одной узкой компании, и я загадал ему загадку: «Из пункта «А» в пункт «Б» идут две машины – черная и белая, и на дороге больной мужичонка стоит. Так которая его подберет?» – «Не знаю, какая она там машина, черная, белая ли, мне безразлично, я всегда под беру больного и престарелого человека», – заявил он. Ох и «дренно» ему было, как говорят белорусы, когда я его принародно срамил за спесивость и самоздравие, которому, увы, подвержен не один он.

В городе меня подлечили, и я улетел в Москву. В «Молодой гвардии» все еще шла канитель с изданием двух повестей: «Кража» и «Где-то гремит война». Я принадлежу к числу тех неудобных писателей, которые доделывают и дописывают вещи уже и опубликованные; у наших издателей пошла мода печатать произведения в том виде, в каком они появились в журнале. Нелепость, продиктованная в основном чувством перестраховки, боязнь, как бы писатель чего «не навставлял».

Мой редактор сделал двести с чем-то заложек в журнале – столько расхождений он обнаружил между журнальным и книжным вариантом и, казалось, даже гордился тем, какой он проницательный и как он меня «подловил».

Разговор шел уже не в отделе – а на «высоком уровне», у главного редактора, за чаем с конфетами и печеньем. Я дерзил начальству и хорохорился, было это в тот же день, когда должна была состояться та самая читательская конференция в библиотеке им. Володарского, о которой писал Александр Николаевич. К шести часам он должен был подъехать к остановке метро «Новослободская» и ждать меня там.



На улице валил мокрый снег, было промозгло, друг мой выглядел плохо, был он совершенно болен, но встретил меня с братом в аэропорту. Уж сколько я его ни умолял не ездить, не встречать, он все равно являлся, стоял у железной оградки и, заметив меня, начинал:

– И чья же это папа приехала? ~ А когда я ворчал на него, отшучивался: Да что ж, Вик Петрович, такой редкий предлог из Москвы смотаться, на лес посмотреть, покурить в машине и на людей подивиться, позавидовать: летают вот куда-то, шевелятся, а тут сидишь как проклятый, корябашь бумагу, таблетки глотаешь...

Я где-то и понимал его, и разделял его тоску по воле, по странствиям.

И вот, сидя в кабинете у главного редактора, все более тупея от болезненного и нудного разговора, я уже не столь думал о своем творении, сколь о больном человеке, который, не глядя на недуг, тащится из-за меня в какую-то библиотеку, стоит сейчас, поди-ка, на мокром снегу возле Новослободской.

И спросил я главного редактора, товарища Осипова Валентина Осиповича:

– Скажите вы мне на милость, что это такое? Все серые, даже худенькие романы и повести, напечатанные в журналах до и после меня, уже давно изданы, а мои повести вы сами называете хорошими и вот маете-маете мне и себе нервы?..

– Да потому они и изданы, что серы, стало быть, и бесспорны! – воскликнул главный редактор четко и в сердцах.

– Благодарю вас за откровенность! – сказал я и, бунтарски заграбастав из хрустальной вазы горсть конфет – для Александра Николаевича, ушел, зная, как меня снова будет бранить мой «суровый критик» за мягкотелость и уступчивость, а я ему с шуточками конфеток горсть... «Поскольку кончилась игра и унижение постыдно» – как сказал наш поэт-современник.

«Н-да! Живем! Творим! Изворачиваемся! А когда подышать начнем – ведь и в самом деле стыдно будет за такое проститутство.. Так что же? Не работать? Бросить всю эту волюнку? Ах; если б это было возможно!» – И тогда, по уходе из издательства, терзали меня подобные мысли, да и сейчас не оставляют. Усталости добавилось и сил убыло, да появилась «стенобоязнь» – термин этот принадлежит художникам и означает он, что тот или иной художник стал бояться участвовать в выставках, выставляться напоказ. Не я один принадлежу к числу тех людей, которые под любым предлогом удерживают рукописи на столе и в столе, заранее зная, как их, эти рукописи; будут подозрительно читать, что в них потребуют править, убирать, обрезать, – и «Зрячий посох» давно бы уж был доработан, напечатан и освобожден бы меня для другой работы, но «стенобоязнь» – это сила!

Ведь ни одна моя новая вещь, за исключением детских, да и то не всех, не проходила без задержек, придинок со стороны цензуры, без остановок, правок, доделок; и этот «опыт», знание, что ожидает тебя впереди – «помощь» и «редактура», тебе навязанные, чаще всего уродующие произведение сокращением, дописыванием и латанием дыр на ходу, деформирующие мысль твою; доведение автора до того, что всякая радость первосотворения исчезает и взамен является чувство подсудимого, не знающего собственной вины, – неполноценности, обиды и враждебности к людям, тебя издающим, точнее, терзающим при издании, – все-все это с каждым годом убавляет работоспособность, ибо убавляется оптимизм художника, наполняется его сердце грузом горечи, сознанием бесполезности своего труда, значит, и бесплодности твоей жизни.

Ох, не зря годами ничего не печатают мои друзья-«деревенщики», так хорошо начавшие работать в литературе; некоторые из них и вовсе бросили писать или пишут нерегулярно, «для себя», в стол – кому это надо, хотел бы я знать на старости лет? Неужели до сих пор не понятно, что творческую мысль не остановить! Исказить можно, приглушить можно, довести ее, да и общественное сознание, до апатии можно – это уж было в России не раз, совсем недавно было, да, видно, ничему нас не научило.

Однако вот такая любопытная деталь из моей творческой жизни: издавался я и издаюсь всего больше в «Молодой гвардии», и не всегда легко, чаще даже наоборот, но совсем не случайно захотел издавать собрание сочинений именно в этом

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

издательстве. Многое меня к этому подвигало, в том числе и такой вот уникальный документ, написанный тем же Валентином Осиповичем Осиповым, которому немало испортил я крови своим упрямством и петушистостью, и «документ» этот свидетельствует, что не одни авторы мучаются, чувство вины в душе носят и их издатели.

Дорогой Виктор Петрович!

Глубоко уважая Вас, посчитал своей естественной обязанностью сообщить Вам о своем переходе на другую работу – в журнал «Знамя» – пришло время и мне попрощаться с комсомолом (увы, годы!). Но мне хотелось бы надеяться, что наши творческие связи будут продолжаться. С чувством глубокой признательности за все, что Вы сделали для издательства, для меня, с самыми добрыми приветами, с надеждами на новые встречи.

Ваш В. Осипов.

Письмо Валентина Осиповича Осипова, в период написания этой книги работавшего директором издательства «Художественная литература», повторяю уникальный документ благородства и этической воспитанности. Не балуют и не баловали нашего брата письмами и вниманием ни писательские руководители, ни старшие писатели. Подхалимы и прихвостни не оставляют им, видно, времени для общения с нашим братом. Пример Максима Горького ничему их не научил.

За тридцать теперь уж с лишним лет работы в литературе я получил от старших писателей столько писем, что их не составит труда пересчитать: Константин Симонов, которому я послал свою первую московскую книжку, отозвался на нее большим и добрым письмом. Александр Чаковский, которому поглянулся рассказ «Ясным ли днем», напечатанный в «Новом мире», – написал об этом. Вадим Кожевников поблагодарил за сборник, который я составлял для Пермского издательства к 20-летию со дня окончания Отечественной войны и включил туда его рассказ «Март – апрель», да Михаил Алексеев написал личное письмо по поводу прочитанной им моей рукописи. Леонид Леонов прислал к полувековому юбилею поздравительную телеграмму и подписал книжку своей публицистики.

И как же мне не благодарить судьбу, которая послала мне так ко времени и такого умного и чуткого старшего друга, как Александр Николаевич Макаров.

Но ведь многим писателям судьба не сделала этого «подарка», и они живут и работают одиноко, варятся, как говорится, в собственном соку.

И встреч со старшими писателями, интересных, запоминающихся, не таких, когда тебя похлопают по плечу мимоходом или вяло пожмут руку и торопливо бросят: «Читал, читал. Недурно-с, совсем недурно-с...» – помчатся куда-то, тут же забыв о тебе и о том, что только что молвилось, а встреч, значительных для жизни и для работы, было не много, а раз – не много, думаю, самое место тут рассказать о них.

С Александром Трифоновичем Твардовским я встречался с глазу на глаз только один раз и проговорил всего пятнадцать минут.

Было это в конце пятидесятых или в начале шестидесятых годов, томно не помню, но помню, что тогда еще только начинались ныне ставшие модными, многолюдными выезды писателей и разных деятелей на периферию и в республики во главе с писательским, а иногда и цековским начальством – для «изучения жизни в глобальном и широком масштабе», как выразился недавно один речистый вождь Союза писателей, но если откавычить эту патетическую формулировку просто для показухи и коллективной пьянки. Нынче все это действие называется уже узаконенно и определено – «выездные секретариаты», и даже тема придумывается, допустим, такая: «Человек труда и отражение его героической сущности в советской литературе».

Тот многолюдный пикник, о котором пойдет речь, был назван пышно форумом, и ребята-остряки переименовали его.

Многословное, шумное было представление и в самый разгар уборочной тяжелая стояла на Урале осень, снежная, но местные руководители и партийные работники вместо того, чтобы работать, приветствовали и поздравляли дорогих гостей,

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

удостоивших чести их город. Такое же часто бывает и на больших стройках, на трассах и промыслах; тюменским нефтяникам порой нефть добывать некогда – все гости, гости, в особенности же достается ГЭСам, в частности, Красноярской и Саяно-Шушенской. Было дело: стихия разгулялась, на стройке сверхнапряжение, люди аварию предотвращают, а тут гости насаждают – и титулованные, и от печати, и от союзов творческих...

Приезжал в Пермь на то знаменитое литпразднество и тогдашний первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Александр Григорьевич Дементьев. Человек компанейский, разговорчивый, со стариковской снисходительной хитрецей, он сразу же стал душой нашей провинциальной творческой молодежи, и в отличие, допустим, от литвождей, которые и беседовать и кушать чаще всего изволили с партийным начальством, а с народом общаться посредством трибуны, Александр Григорьевич потихоньку-помаленьку узнавал, кто тут чего стоит, и днем-то маленько выпивал да народные песенки с нами попевал, а ночью изучал нашу продукцию, и, когда уезжал из Перми, в его потертом старом портфеле среди немногих рукописей лежали и мои три или четыре рассказа, на публикацию которых я особой надежды не питал, но уже и тем был приободрен, что вот «взяли», и не куда-нибудь, а в «Новый мир», к самому Твардовскому, который – слух шел по России – сам! лично! читал все!!! рукописи, поступающие в редакцию журнала.

Сейчас я уже не вспомню, зачем и почему оказался в Москве, вроде бы и по вызову журнала. Явился на Пушкинскую площадь, к заветной тяжелой двери рано поутру, не зная, что и редактор, и секретарь, и замы приходят в редакцию журналов не ранее двенадцати.

Какая-то сердобольная тетенька, вахтерша или уборщица, спросила: к кому я, зачем и, видимо, не первый я тут такой был и не последний, пригласила посидеть в полутемном коридоре, пока не появились сотрудники.

Я подтянул галстук на шею, штаны на брюхе, причесался, жду. Нет и нет моего Дементьева, кроме него я тут никого не знаю. Но журнал «Новый мир», кроме всего прочего, всегда отличался еще и журнальной этикой, привитой, как я теперь понимаю, деловым человеком Симоновым и укрепленной строгим Твардовским, – это я испытал на себе лично и в качестве безвестного автора, и в качестве уже широко печатающегося. Мимо меня раза два промелькнул молодежавый, румяный мужчина с волнистой прической, и не то я ему надоел, глаза намозолил, не то ему жалко меня стало, может, в силу все той же редакционной этики, он наконец обратил на меня внимание и спросил:

– Простите, вы кого ждете?

Я поднялся со старого креслица, одернул пиджак и сказал, что Александра Григорьевича Дементьева.

– А вы откуда?

– Из Перми.

– И давно здесь?

– Сутра.

– Так ведь...

Скоро я оказался в кабинете, где стояло несколько старых столов, заваленных бумагами, папками, гранками. И сам кабинет был стар и мрачноват изза давней покраски и чего-то черного вокруг, видимо, древней отделки из черного дерева. Мне дали чаю. Принесла его та же тетенька, что приветила меня утром и сейчас вот ободряюще улыбнулась, вынув из кармашка фартука два кусочка сахара. А человек с волнистым чубом все носился по закоулкам и лестницам; бросив мне на лету: «Простите, сдача номера...», однако он не забывал обо мне, как оказалось, и скоро положил передо мною сцепленные скрепкой гранки:

– Вот ваши рассказы. Посмотрите. Что-то тут не то... Мы уже хотели их ставить в номер, но... Словом, надо поговорить...

Набраны были три рассказа из четырех, но в каком виде! Я уже печатался к той

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
поре несколько раз в толстых журналах, испытал на себе редакционный произвол и бесцеремонность редакторов, однако такого...

Человек с волнистым чубом, еще более раздумавшийся от хлопот, беготни и забот, наконец рухнул в кресло за стол и сочувственно поглядел на меня:

– Ну что, удручены, расстроены?

Я покивал головой. Он набрал номер внутриредакционного телефона и позвал к себе редакторшу, фамилию которой не хочу здесь называть, ибо видел ее в «Новом мире» первый и последний раз. Я ее потом вообще нигде не видел.

Вошла женщина, тощая, коротко стриженная, неряшливо одетая, с сигаркой в зубах.

– Вот Астафьев, – указал на меня мужчина. – Тот самый.

– Н-на, – разомкнула обляпанные помадой губы редакторша и, вынув изо рта красный окурок, бросила его в пепельницу, под нос, как я догадался, своему начальнику.

– Может, вы побеседуете с автором?

– Беседовать? С автором? О чем?

– О рассказах.

– Это слишком смело сказано.

– Н-ну...

– Ну-ну, я уже набеседовалась насчет этих несчастных творений. Я сделала все, что могла. Может, вы сами продолжите ра-боту с автором? Но, предупреждаю – это бэс-пэрс-пэктив-но! – и с этими словами дама удалилась.

И человек с волнистым чубом, и я, автор, смотрели в пол. Мы оба были унижены бесцеремонностью и подавлены напористым хамством.

– Вы это... не обращайтесь внимания.

Я ничего не мог ответить. Я и без нее, без этой дамы знал, что с суконным рылом забрался в калашный ряд, то есть в литературу, да вот еще в «Новый мир» занесло! Печатался в альманахе «Прикамье» и продолжал бы печататься, и «метром» бы стал, пусть и провинциальным, и хвалили бы меня в местных газетах, и никто «бэс-пэрс-пэктивно» не посмел бы сказать – там рука руку моет: ты похвалишь, тебя похвалят, и, глядишь, ни шатко ни валко идет литдело – плодятся книги, продолжают «традиции».

Пришел Александр Григорьевич, обнял меня, по спине похлопал, раздеваясь, переглянулся с женщиной, скользнул взглядом по гранкам, которые я держал в руках.

– Побеседовали, Алеша?

– Побесе-едовали! – махнул рукой Алеша.

– Прогонять надо ее, змеину.

– Давно пора. И этот тоже хорош, писать еще не научился, а уж лезет пальцем в чирей.

Я тогда не понял, о чем говорит Алеша, то есть второй зам. редактора, Алексей Иванович Кондратович, очень хороший и добрый, мужественный человек, с которым не раз мы потом беседовали, тепло общались, да и по сию пору в короткие и редкие встречи не отворачиваемся друг от друга.

В одном из рассказов, а он единственный только и мог называться рассказом, и его я впоследствии дотянул-таки и напечатал в столице, остальные попросту отложил и после некоторых доделок тиснул все в том же многотерпеливом «Прикамье», – была упомянута фамилия отрицательного персонажа, списанного с натуры, а так как

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

«отрицательных» я и по сию пору писать ладом не научился, то было в той фигуре много сарказма, иронии и пр., пр., но толку и смысла было мало. По нынешнему рассуждению так и вовсе там путного ничего в этой жалкой фигурке не было, и надобности в ней не было, и выкинул я ее потом насовсем в литературный мусор. Но ведь смысл происходящего постиг я ой как не скоро. У фигуры той и фамилия была натуральная, еврейская, но плохие люди, гады, сволочи, продажные шкуры, ловкачи и рвачи по кем-то установленным и ревниво, даже болезненно соблюдаемым правилам должны носить в современной нашей литературе русские фамилии, ну, в крайности, украинские или белорусские. Но я же еще работал по методу классицизма: что вижу, то и валяю на бумагу, текущих «тонкостей» соцреализма не знал. Редакторша знала, вот и подвергла меня уничтожению. И поделом! Думай, что пишешь, понявши, научись так писать, чтоб все, даже отрицательные евреи, выглядели в твоих произведениях не только натурально, но и убедительно.

К двум часам в редакцию приехал Твардовский. Все как-то подтянулись, построжали. Александр Григорьевич забрал мои гранки, сказал: «Посиди», и они вместе с Кондратовичем ушли к главному редактору. Долго там были. Явились улыбающиеся. Александр Григорьевич пригласил меня с собой, в коридоре полуобнял и так вот, полуобнявши, ввел меня в большую, почти пустую комнату, скорее похожую на зал.

Я потом узнал, что у Твардовского в старом здании не было постоянного кабинета, и он мог оказаться в любой из комнат редакции. На сей раз он оказался в этой, большой, и, улыбаясь, шел мне навстречу, но я к месту прирос – смотрю на живого Твардовского и сам себе не верю.

Мне говорили после, что бывал он и зол, и нелюдим, и нетерпелив, и нетерпим, и резок с людьми, и отталкивающе ироничен. Но я же везунчик! Я попал к хорошему Твардовскому и хорошим унесу его образ в могилу, и сколько бы ни читал и ни слышал о нем худого, ничему не поверю. Этому неприятию худого в великих людях я научился среди людей и от людей.

Вот характерный пример: после утомительной осенней охоты лежали мы у костра на уральском разъезде Вереинском и ждали пригородный поезд. Человек нас пятнадцать собралось на огонь, и все чусовляне, всех я знал, и они меня тоже. Поезд опаздывал, темь наступила. Шел треп о том о сем, как вдруг на литературу перекинулся. Я тогда работал в газете «Чусовской рабочий», издал уже одну или две книжки в Перми и внимательно вслушивался в то, что говорит народ. Были здесь почти сплошь металлурги, и один из них, вальцовщик с мелкосортного стана, довольно начитанный, что-то прочел вслух из Некрасова, другой, не менее «начитанный», стал говорить о том, что все они, писатели, большие притворы, делают одно, да пишут другое. Вот тот же Некрасов картежник был, гуляка, бабу у друга своего отбил и увел...

– Это неправда! – твердо заявил вальцовщик.

– Так пишут же! В книжках.

– Мало что. Да мне сам Некрасов, приди он вот сюда, к костру, и справку с печатью принеси, что да, картежник, бабник, а я и ему не поверю, потому что во мне живет мой Некрасов. С детства живет! И он лучше всех людей на свете. Может, лучше того, какой был на самом деле...

Коротко и сильно пожав мне руку, Александр Трифонович отступил на шаг и внимательно на меня посмотрел. Какой выразительный и пристальный был у него взгляд, и глаза-то вроде белесые, круглые, но так много в них вмещалось! В тот день сверх всего светилось радушие во взгляде поэта, приветливость и желание делать добро, пусть и первому встречному, коим, к моему счастью, оказался я. А глубже и дальше лежала усталость, уже необратимая, понял я, усталость и печаль. И эта печаль проступала все явственней и ближе по мере того, как он вглядывался в меня.

– Воевали?

– Да.

– Где и кем?

– Солдатом. На Первом Украинском.

– Солда-атом!

– Он и сейчас ведет себя, как солдат в бою – не соглашается печатать заредактированные рассказы! – вступил в разговор Александр Григорьевич. – В «Новом мире»! – перешел он на привычный для него, несколько ироничный, самозащитный тон, который иной раз соседствовал и с ерничеством. – Ну, я пошел! – почувствовав мою и Александра Трифоновича неловкость, заторопился Дементьев.

Мы остались с Твардовским вдвоем.

Александр Григорьевич, видимо, позаботился о том, чтобы какое-то время нам не мешали и Твардовскому не звонили.

Я сел напротив Александра Трифоновича на стул, а он – в старое кресло с деревянной массивной спинкой, тоже крашенное черным или из черного дерева. Пиджак его висел на спинке, был он в чистой-чистой глаженной рубашке в светлую полоску, рукава рубашки были засучены до локтей, обнажая крупные крестьянские руки с утончившимися уже пальцами и чуть полноватыми предплечьями. Волосы, видимо утром только мытые, топорщились, были они тонкие, даже на взгляд мягкие, и, привычный на портретах, молодежавый, с гладкой строгой прической вбок, был сегодняшний, пожилой, Твардовский с этим вольным седым волосом как-то ближе, доступней, родственней.

И хотя вид у него был деловой, чувствовалось его расположение к беседе, к общению, он не смотрел на ворох бумаг и на мои гранки, положенные сверху, не рукосуйничал, не хватался за телефон, он тихо расспрашивал меня про житебытье и незаметно повернул разговор на войну.

– Да, это хорошо, что бывшие рядовые начинают писать. У них совсем нетронутый материал. Пишет о войне наш брат, военный журналист, офицеры, генералы, тыловые работники. Вы Быкова читали? Знаете?

– Читал. Но лично не знаком.

– И что же вам хочется написать о войне?

– Прежде всего хочется написать о запасных полках. Задать вопрос хочется – что это такое было? Зачем?

– Да-а! Запасные, запасные, – посмотрел куда-то в сторону Твардовский. Кормили там так и доводили до такого состояния людей, чтоб все они добровольно на фронт просились.

Заявление по тому времени не только откровенное, но и весьма смелое. Но это же Твардовский! Для него, понял я, состояние правды – естественная необходимость, его дыхание, его пища и суть жизни – ох какую силу духа, какое мужество надо, чтоб в наше время сохранить себя для правды! И хотя говорят, что раз солгавший уже не остановится, Твардовский и это смог, преодолел тяжкую, пусть и единственную ложь в своей жизни, когда, будучи молодым и удачливым поэтом, не заступился сразу за сосланных родителей, но, во искупление этой слабости, этого, столь обычного для тех времен, малодушия, тем самоотверженной боролся до конца дней, до последнего вздоха с ложью, и если литература наша хоть как-то и насколько-то продвинулась вперед, разрывая пути лжи, – пример Твардовского, его работа сыграли здесь и по сей день играют огромную роль.

Но мне иногда приходит в голову такая парадоксальная мысль: а не будь такой беды, такого нравственного проступка в жизни поэта, был ли бы он тем Твардовским, какого мы знаем? И отвечаю себе: нет, не был бы и уж наверняка не было бы самой горькой и самой чистой его поэмы «По праву памяти».

Испытание на прочность люди, прежде всего творческие, проходят не только закаливанием организма, но и ломкой его, перевоспитанием души.

У нас в литературе сейчас много людей, видящих и помнящих себя в виде пасхального кулича – сразу он явился свету круглым, пышным, сладким и праздничным. Но есть восхождение хлебного колоса на кем-то, чаще всего отцом и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

матерью, вспаханной земле. Именно с хлебным колосом, на ниве русской словесности, мне кажется уместным сравнить жизнь и деяния Твардовского – от уровня стихов далекой смоленской «районки» к Моргунку, к этому откровению молодого поэта, да и поэзии тех нелегких лет, еще и осложненных разгулом страстей преобразователей всех сфер жизни, и прежде всего крестьянской жизни, – ко всенародному, всем необходимому как хлеб, Василию Теркину, к лирике военных лет и, последовательно, к мудрой, весомо-спокойной роману-поэме «За далью – даль», а от нее к вершинам своим – поэзии последних лет и, наконец, к предсмертному крику гнева и боли «По праву памяти», долго скрываемой от народа, от того народа, плоть от плоти которого был поэт, может быть, последний русский поэт, заслуживший почетное и великое звание – народного.

Мы еще сколько-то поговорили о войне, но я не давал себе разойтись, лишь немного поведал о послевоенной жизни, стараясь выбирать самое «смешное», и от этого «смешного» Александр Трифонович поскорбел, опустил глаза и не то переспросил, не то подумал вслух:

– Награды в ящики заперли! А один вояка, говорите, медаль. «За отвагу» на блесну переклепал. Хороши! Все хороши! И вояки! И генералы, на произвол судьбы его бросившие. И генералиссимус наш дорогой...

– Но так всегда было, Александр Трифонович, после всякой войны бросали и предавали тех, кто добыл победу и спас шкуры власть имущих. Вон «Возвращение» у Ремарка. Да что Ремарк? С Римских времен...

Да что там Рим и Римские времена. Наполеон, бросивший сотни тысяч французов на медленное умирание, так и остался Великим императором. А солдат, им преданных, кто помнит? Или наш русский полководец таскал по весям и странам сотни тысяч русских мужиков. Может, великий генералиссимус и другие сиятельные лица сосчитали, сколько нищих, калек-солдат бродили по Руси, собирая милостыню, или, добавив очередную славную победу своему Отечеству, возвращались под надзор и батоги крепостника-барина все теми же невольниками и рабами, какими уходили они в «освободительный поход» или в очередную кампанию по спасению союзников, жирующих среди Европы. Было время, когда по приказанию русских воевод и царствующих покровителей, стрельцов, изувеченных в бою, и прочих ратных людишек выгоняли за ворота крепостей: и острогов, ими же срубленных на отвоеванной дикой земле, – на Божью волю и мирское пропитание, то есть на съедение волкам, поскольку царская казна не предусматривала и не отпускала провианту и денег на содержание инвалидов; «милости» ее распространялись только на тех слуг, которые могли еще служить отцу-государю, больным же и поувеченным – «Господь судья и спаситель».

«...Разделен издревле труд: города сдают солдаты, генералы их берут», как «брали города» – я знаю, и поэт, сказавший эту дерзость, знал, какой кровью брали, какими жертвами...

Не просто из-за войны опустела наша исконно русская земля, ибо потери России не восполнены и невозможны, они продолжают из поколения в поколение и будут продолжаться при таком браконьерском отношении к русскому народу и русской земле.

Запустение того и другого, одичание, уход в междомки ныне прикрывается хитрой, убогой и привычной уже демагогией, и то, что было исконной Россией, центром ее и душой, уже поименовали термином – Нечерноземье. Не земля, не страна, не родина, не народ, не нация, а НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ, на котором живут, точнее, доживают, не русичи, не славный и многотерпеливый народ, народпобедитель во многих войнах и в Великой революции, обретаются какие-то, мало кому ведомые, новые племена нечерноземцев, которые от деревни не ушли и к городу не пришли.

Был дом и поле на два дышла.  
Там ни двора и ни кола.  
России нет. Россия вышла.  
И не звонят в колокола.

О ней ни слуху и ни духу,  
Печаль никто не сторожит.  
Россия глушит бормотуху  
И кверху задницей лежит.

И мы уходим с ней навеки,  
Не уяснив свою вину,  
А в Новгородчине узбеки  
Уже корчуют целину.

Эти стихи появились на свет уже после смерти Твардовского, их написал очень благоверный поэт, и Россию переименовали уже после того, как не стало Твардовского – при нем не смели, видно, так широко и удачно развернуться с преобразованиями и новшествами на ниве сельского хозяйства.

– И так всегда было, – повторил я вслух то, что прошло-промелькнуло в эти минуты во мне.

– Да мы-то не всегда были, – будто упреждая мои слова, тихо и горько произнес Твардовский. – Мы, создатели нового общества, новой армии. И войны такой не было. Здесь, – ткнул он пальцем в гранки, – есть то, о чем вы мне говорили.

– Немного. Остальное здесь, – постучал я себя кулаком по голове.

– Вот и берегите ее, – мягко улыбнулся он, пододвинул к себе гранки и начал их листать. – Зачем же вы так делаете? – Я напрягся, подался вперед. Зачем так неряшливо, а то и нарочито сплетаете авторскую речь с повествовательной?

Я чуть было не ляпнул, что в этом «моя особенность», что за это меня и хвалят периферийные критики и редакторы... некоторые... Но тут он прочел такой пример из текста, что я обрадовался – слава богу, не успел ничего сказать.

Потом он наткнулся на описание дерева без вершины, дерева, сломленного давно бурей.

– А у дерева, да еще сломленного бурей, да еще такого сильного, как лиственница, которую вы описываете, много вершин должно быть! – И рассказал, что в Пахре, где он живет, есть поломанная ель, и что у нее, у ели, признающей вроде бы всего лишь острую верхушку, пошло несколько отростков и который-то из них станет и вершиной.

Это он говорил со мной о рассказе «Бурелом» и коротко, но в то же время очень убедительно доказал, что не буря и бурелом в рассказе главное, а столкновение людей под бурей, столкновение светлого с темным, человека пропащего вроде бы и сволочного потрясает не столько буря, сколько незапутанная, простая и честная жизнь такого же, как он, существа.

Я внял советам Александра Трифоновича и несколько лет спустя с большим трудом доделал тот рассказ. Называется он «Восьмой побег».

Конечно же, в короткой беседе с Твардовским были моменты, когда меня, человека норовистого, охватывало желание поспорить с Александром Трифоновичем, не согласиться, повозражать ему, да я сдерживал себя, поспорить-то я мог и потом, в уме, еще успею, но вот послушать многоопытного человека, может, более и не доведется. К той поре я уж немного понимал, что характер писателю нужен не менее, чем талант, однако норов ему ни к чему и, видя, как иногда из кожи лезет иной молодой автор, доказывая свою «правоту», я про себя вздыхаю:

«Э-эх, деревня-мама! Да он же старше тебя по всем статьям, значит, и мудрее. Учись, внимай, бери, пока дают! Не упускай счастливых минут драгоценного и редкого общения, подаренного тебе судьбой». Но и на это нужно умение, нужна внутренняя культура, которая начинается со сдержанности, с умения слушать и выслушивать вещи, иногда и неприятные, и разбираться в них, в себе и про себя, а не разводить словесный базар, да еще в присутствии людей старших, оторвавших время от себя, которого у них уже в обрез и которое читателю дороже, чем твой горячий спор, часто являющийся не чем иным, как молодецким торканьем в открытую дверь.

– Вы поработайте еще над рассказами и приходите к нам, да напечатайтесь так, чтобы сразу было заметно и достойно. – Твардовский вопросительно глянул за мою спину – там стояла седая женщина с ворохом сколотых бумаг. – Потом, потом, – приподнял он руки и как бы загородился ими.



Я поскорее стал подниматься со стула, чтобы откланяться Александру Трифоновичу, ибо в дверь просунулась уже седая голова Дементьева, еще кто-то там замаячил. Александр Трифонович улыбнулся мне ободряюще и чуть виновато, видите, мол, сами. А я твердил: «Спасибо! Спасибо!» – и делал какие-то торопливые, мелкие и тоже виноватые полупоклоны.

Александр Трифонович вышел из-за стола, подал мне руку и, не выпуская ее, как бы загородив меня плечом и левой рукой от кого-то, довел до двери.

– Ну что? Как? – спросил в дверях Дементьев. – Договорились?

– Договорились, договорились, – отозвался Твардовский, выпустив меня и уже с кем-то здороваясь. – Молодой человек поработает еще, подумает, и тогда уж...

– Ну вот и хорошо, вот и хорошо! – еще сильнее окая от волнения, принял меня Дементьев и проводил в коридор. – Витюша, ты хоть ел сегодня? Не ел. А подожди-ка ты меня, братец, в коридоре, и мы вместе пообедаем. Автора надо кормить. Ко-орми-ить. У него и деньжонок-то небось нету.

– Ну как это нету? Как это нету?! – захорохорился я, думая, что мы пойдем в ближнюю столовку. Но мы часа через два пошли в ЦДЛ. Александр Григорьевич занял отдельный столик, чтоб не мешали, не привязывались чтоб: «А то ведь пожрать не дадут...»

И за весь вечер – мы просидели допоздна – никого за стол не пустил, кроме своего друга Владимира Викторовича Жданова, человека симпатичнейшего, собеседника умнейшего. Несколько лет спустя он подарил мне свою книжку «Некрасов», выпущенную в серии «Жизнь замечательных людей», с трогательной надписью, и книгу эту я храню, как дорогую мне реликвию.

Много мы переговорили тогда и о многом. О моих рассказах и гранках, оставшихся на столе главного редактора, даже не упоминалось, к моей радости, и они, наверное, ушли туда, куда им и следовало уйти – в корзину.

С тех пор мои отношения с «Новым миром» были очень хорошие, почти дружеские. Дважды со мной заключали договор на повести «Кража» и «Пастух и пастушка», дважды поддерживали авансом и дельными советами. Но обстоятельство складывались так, что замордованный журнал не смог их опубликовать, однако оба раза, сперва Дементьев, а затем Лакшин добивались того, чтобы я не возвращал аванса и, более того, всякий раз журнал откликнулся на публикации этих повестей в других журналах добрыми рецензиями и статьями, а в 1967 году напечатали и рассказ «Ясным ли днем», который, как я узнал из статьи Алексея Кондратовича, понравился Твардовскому. Публикация получилась достойной журнала «Новый мир», во всяком разе, я не краснел за нее и долгое время ей радовался, равнялся в работе на этот рассказ.

Нет Александра Трифоновича на свете, к сожалению, нет, и люди работают в журнале другие и по-другому, но «старые новомирцы» мне по-прежнему родны и дороги.

Как-то в толчее писательского съезда юркнул я в буфет Колонного зала, а буфет там шире иного железнодорожного вокзала, и столы в нем из плах, модные столы, барачного фасона. Мчусь к стойке с питьем и бутербродами, как вдруг вижу за торцом стола одиноко попивающего кофе седого, но все еще свежего лицом человека. Я уж было промчался, да вдруг стукнуло:

– Александр Григорьевич! Голубчик! Сколько лет, сколько зим!

– Здравствуй, Витюша, здравствуй! – мы обнялись. – Какой ты был отсталый, такой и остался! – с горькой стариковской усмешкой молвил он и пояснил: Сейчас ко мне никто не подходит – не нужен. Это когда в «Новом мире» правил хвостом таскались, в ботинок от любви мочились, как щенята. Ноне отворачиваются. Смотрю, и ты мимо мчишься. Думаю, и этот хлюст!.. – Мне показалось, что у старика и голос дрогнул. – А Володя помер. Помнишь Володюто Жданова? Ждали мы тебя в Пахру, ждали. Следили за тобой. Не суетишься. Не суетишься. Много работаешь. Держишься. Рад за тебя. И Володя радовался. С Урала-то пошто уехал?

Посидели мы в сторонке, поговорили, чайку попили. А в Пахру навестить старика я

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

так и не собрался. Москва эта, как изредка в нее попаду, возьмет меня в такой оборот...

Впрочем, раз оправдываюсь, значит, виноват, и нечего красивые покаянные турысы разводить.

Даст бог, еще увидимся, поговорим. Не так уж много настоящих, бескорыстных, «бесплатно» в тебя верящих и поддерживающих людей встречается на творческом пути, особенно в начале его – «новомирцы» были ко мне именно такими.

А пятнадцать минут, потраченных на меня великим поэтом и гражданином нашего времени, я буду отработывать всю жизнь.

Когда я учился на Высших литературных курсах, семья моя оставалась в Чусовом – городке, как я писал, не только чадном, дымном, но и вечно бедном культуришкой, развлечениями, достатком, провиантом, транспортом, хозяйским доглядом, жилищным устройством. Зато всегда он был богат смертоубийствами, пьянством, дебошами, ранним износом людей, особенно на ферросплавном заводе.

А я еще суровость свою и принципиальность проявил, отдав детей в пятую школу, «татарскую», как ее называли в городе. Стояла она, пошатнувшись корпусом в лог, подпертая со стороны лога спаренными бревнами, полом вросла в землю, окна перекошились. «Татарской» она звалась по причине того, что половина ребятишек в ней училась татарского происхождения – в Чусовом жило много татар. Работали татары на высоко оплачиваемых, но и самых тяжелых работах, большею частью в горячих цехах, жили меж собой дружно, сплоченно, во все времена упорно справляли свои национальные праздники и обряды. Чувство собственного достоинства, трудолюбие, кристальная честность, порядочность и добросовестность татар вызывали к ним самое искреннее уважение русских людей, и можно смело утверждать, что жили они воистину по-братски, всеми силами помогая друг другу во времена бед и тяжких испытаний, коим явилась только что отгремевшая война.

Вот и захотелось мне, чтоб дети мои учились не в «образцовой» семнадцатой школе, а с рабочим классом, пусть в гнилой, холодной школе. И не раскаиваюсь, что я их туда отдал – гениями и вундеркиндами они не стали, да и в семнадцатой из них таковые не получились бы – задатков нет, но честными и добрыми людьми мои дети сделались, и в этом немалая заслуга пятой, «бедной» школы.

Однако, это я сейчас так рассуждаю, но тогда, учась на ВЛК, живя в хороших условиях, бывая в театрах, на концертах и в лит. обществах, покупая в магазине из продуктов все, чего душа пожелает, я чувствовал себя несколько смущенно, и хотя отправлял посылки с продуктами на Урал, все же угрызения совести терзали меня. И решил я – уж баловать так баловать – свозить свою семью в Дом творчества, аж в Дубулты, куда зимой принимали писателей с детьми, детей постарше – даже без пап и мам.

И вот поднарядились мои дети и жена, сводил я их в Москве кой-куда, даже в Большой театр – до се они это вспоминают, и катанули мы на поезде в заманчивую даль.

Приехали в Дубулты. Поселили нас в дальнем корпусе, среди сосен и кустов, всех четверых в одной комнате – мы и радехоньки. Напротив поселилась пожилая интеллигентная женщина и смущенно представилась тещей Лазаря Карелина. Почемуто в комнатах не оказалось лампочек, но скоро их выдали. Я ввинтил себе и теще Лазаря Карелина в комнаты лампочки, слышу – бранится кто-то в соседней комнате женским голосом, но матюки мужские. Тут является моя девица, пребывавшая тогда в самом что ни на есть любопытном возрасте, и сообщает, что тетенька почему-то ходит в обуви по столу и по всему, что есть в комнате, и кроет всех и вся, «как в Чусовом на улице». Я сказал дитю, чтоб она не совала нос куда не просят и не слушала бы того, что слушать в детстве не полагается. Дите посопело носом и унялось. Тетенька, побранившись, забрала жилье и ушла в другой, более удобный корпус, в более светлую и просторную комнату. Тетенька, как выяснилось, была не простая, но золотая – жена драматурга Арбузова, не та жена, что у него нынче, совсем другая жена. Она была вечно чем-то недовольна, говорила громко, вела себя везде и всюду мятежно, и однажды в Риге, в фирменном магазине, сняла и стала отряхивать норковую шубу на витрину с пирожными, и когда латышка-продащица закудохтала: «Что вы делаете? Как можно?», жена знаменитого драматурга дала ей четкий отлуп: «Погода у вас мерзкая. Снег. Шуба моя намокла.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

А мне она дороже ваших вшивых пирожных...» Латышка и заткнулась, слезы у нее на глаза навернулись, жена знаменитого драматурга уж громко, на весь магазин крыла современный театр, выворачивая его, как старую шубу, драной и грязной изнанкой наружу.

Съехались еще несколько писателей с женами, в том числе и не менее великий, чем Арбузов, драматург Ш. с женою – пара тоже колоритная.

Толпами и в одиночку начали прибывать на отдых утомленные писательские дети. Мои чада, наряженные в Чусовом и на чусовской манер, тут же и померкли, ибо те дети, скорее, главные среди «тех», меняли костюмы и платья по три раза в день. Никита Михалков, красивый, кругломордый парнишка с лучисто мерцающим блудным взглядом – так и по четыре. Да костюмы-то все по новой моде шиты, все с заграничными нашивками и фасонным покроем. Девчонки вокруг того Никиты вились роєм, и он их тоже отмечал. В ту пору мне и в голову не могло прийти, что из этого четырнадцатилетнего баловня и шалопая вскорости получится такой серьезный кинорежиссер и артист.

Прибыл с женою и забалованным нежным дитем мой земляк Б., известный в ту пору писатель, лауреат Сталинской премии, громивший в центральных газетах неугодных ему литераторов – сейчас я не называю его фамилии только из жалости к нему, ибо стал он совсем безвестным, одиноким, и даже когда в своей квартире что-либо говорит – оглядывается на дверь. Работал наездами в Доме творчества и славный мужик Нагишкин, катая очередную толстую книгу про Бонивура, бывал он то в Дубултах, то в Риге и от усталости или по какой другой причине тою же зимой погиб под электричкой.

Приехал, наконец-то, и такой человек, с которым мне хотелось познакомиться, – Ярослав Васильевич Смеляков. Но случая познакомиться все не было, да и новый, 1961 год накатил, и я подумал, что уж в Новый-то год, в праздник-то, все мы и перезнакомимся, поговорим, может, и повеселимся вместе – никогда еще с писателями не гуливал ни я, ни жена моя.

Теща Лазаря Карелина очень подружилась с моими ребятами, умно улыбалась, слушая их, радовалась тому, что нисколько они пока не избалованы, что само по себе удивительно в наше время, да еще при виде резвящихся писательских деток, слишком уж рано, как ей кажется, созревших для амурных дел и вольных поступков.

Теща Лазаря Карелина спросила у нас, как мы думаем встречать Новый год. Мы бодро ей ответили, что, наверное, купим бутылку коньяка, бутылку вина да и придем в столовую, там, в малом зальчике, соберутся все взрослые обитатели Дома творчества, ну, выпьем, поздравим друг друга, поговорим, может, и споем. Теща Лазаря Карелина сказала, что все это очень мило и что она тоже купит бутылочку вина и с нашего позволения присоединится к нам и побудет совсемсовсем немного, и незаметно уйдет, – она умела быть ненавязчивой. «Конечно, конечно!» – поторопились мы с женою приободрить пожилую женщину, которой тоже не хотелось в Новый год сидеть в комнате одной. Да и кому хочется?

Днем произошел в столовой прелюбопытный эпизод: из Риги на крепком газу явился Ярослав Васильевич и доложил своей жене, Татьяне Стрешневой – человеку столь же крупному, сколь и добродушному, – как он здорово договорился с таксистом: быстро приехал, к обеду вот успел, и вообще он человек удачливый, и таксисты здесь не чета московским – дал вот человеку всего лишь четвертную – и все в порядке! «А сколько на счетчике-то было?» – тихо спросила жена у мужа. «Два рубля, помнится, плюс полтинник на чай», – четко ответил муж жене. «Ты, Ярик, дал этому честному таксисту двести пятьдесят рублей старыми деньгами!» – расстроено сказала мужу жена, судя по одежде и манере держаться, лишних денег в доме не имевшая. «Как это двести пятьдесят?! Как это двести пятьдесят?!» – «А так вот. Двадцать пять рублей нынешних – это двести пятьдесят старых. А на счетчике было два рубля нынешних, а ты дал двести пятьдесят прошедших, старых денег, понимаешь?» – «Я правильно ему дал. Два рубля на счетчике, плюс полтина на чай!..» – все больше закипал поэт. «Нет, неправильно! – возражала упрямая жена. – Ты передал этому человеку-хапуге двадцать два рубля с полтиной новыми деньгами, что в переводе на старые деньги значит – двести двадцать пять рублей...» Тут поэт Смеляков вовсе вскипел, бросил вилку с наколотой на нее сосиской, вскочил на ноги: «Взгляните на эту дуру! – воззвал он к публике, которой в столовой, слава богу, почти не было. – Я дал таксисту двадцать пять рублей, а она говорит двести пятьдесят! Это как?! Это ж... Во, дура! Во, дура...»

Жена слушать мужа далее не стала, вихрем вылетела из столовой. Когда мы вышли на улицу, она нервно курила на крыльце и говорила чете Штейнов: «Вместо двух с полтиной высадил, идиот, четвертную этому честному латышу, и я же еще дура!..»

Ну, думаю, сейчас Ярослав Васильевич одумается, извинится перед женой. А он – шапку в охапку и, надевая на ходу пальто, все еще ворча и ругаясь, мимо жены, на берег студеного моря, в ларек, чтобы там объяснить мужикам сложную финансовую ситуацию, в какую он угодил, и успокоиться за стаканчиком винишка.

Вечером поднарядились мы с женою и пошли в столовую. Теща Лазаря Карелина сказала, что подойдет позднее, уж к двенадцати ближе, чтобы никого собою не связывать.

В зале-столовой стояла нарядная елка для ребятишек, которые собрались в Доме творчества уже давно, и они, кто в парадном, кто еще в будничном, снаряжали елку к празднику, накрывали столы, были возбуждены, как все дети в ожидании праздника.

Лишь в нашем зальчике было спокойно и безлюдно. Мы с женою сели за стол, выставили коньяк и вино и стали дожидаться остальных писателей.

Время близится к десяти, переваливает за десять. Ребятишки в большом зале уже танцуют, гремит музыка. А мы все одни.

Наконец появилась официантка Анечка, поставила перед нами сосиски с капустой, чай, по кусочку сыра и что-то подзамялась, стала с места на место переставлять посуду и все поглядывала на бутылки, нами выставленные. Я и коньяк-то какой-то дорогой отхватил – гулять так гулять! «Я тэ ж сибирака», как говорит мой фронтовой дружок Петька Николаенко, хохол, урожденный в Сибири. Он и нынче живет и здравствует в Алтайском крае, на должности зама председателя крупного колхоза. А я ведь не только «сибирака», но и писатель, член Союза, пусть и молодой, однако уже издавший несколько книг, печатающийся и в московских журналах, даже толстых, и жена у меня не на помойке найдена, на войне найдена, там и в партию вступила, да и работает, пусть и чусовским, но все журналистом!..

– Ви, чьто, купили вина, да? Для Новый гот, да? – спросила Анечка.

– Да, – говорим, – да! Почти всегда встречали Новый год дома – на людяхто некогда было, чаще – и не на что..

– Я дольшна вас огорчить, – опустив глаза и не зная, куда деть руки, продолжала Анечка. – Эти люти, – обвела она рукою вокруг себя. – Эти люти решили вас не приклящать, решили кулять пес вас, вы же купили вина, точнее сказать, сакасили ужин и вина, давали кухня теньги.

– Как же так? – растерянно произнес я. – Ну ладно, мы.. А как же теща Лазаря Карелина?

– Женщину эту они тоже решили не свать.

– Вот как! – посуровела моя жена. – Они решили! Ну раз они решили, пойдём, Витя, отсюда!

И несолоно, как говорится, хлебавши, даже сосисок не поевши, вышли мы на крыльцо с мраморными колоннами. Стоим. Молчим. Ветер дует с моря, сосны шевелит.

Я много пережил унижений в сиротском детстве, но столько, сколько я их пережил после войны, израненный, бездомный, выкинутый «из радов», – редко кому и приснится.

«Братья и сестры!» – слеза прошибала, умереть тут же за отца и Отечество желалось, и мы: одна – госпитальная медсестра, секретарь комсомольской организации госпиталя, второй – я, молодой и шибко начитанный железнодорожник, «скинули с себя броню» – откликнулись на отеческий голос, выполнили свой долг, потом нас за это так отблагодарили, что до сих пор кости от натуги и надсады болят.

И, казалось, что все уже миновало, мы выдержали, выстояли, в люди вышли, точнее – выбились, сами выбились, добывая последнее здоровье. И вот...

Я закипел. А закипевши, когда мне ударяла моча в контуженную голову, мог натворить всякое. Жена это знала и тянула меня в лес, на берег моря успокоиться. Но я не хотел успокаиваться. Я хотел напиться в своей комнатке и прийти сюда, «потолковать» с братьями-писателями. Такой у меня нехитрый, чисто русский план созрел в голове, когда появилась на крыльце Анечка с накинутым на плечи пальто и сказала, чтоб мы не расстраивались, что «это люти нехорошие» и гулять с ними нехорошо – «никакого утвольствия не получите», и что пока не поздно, нам надо «пешать ресторан Юрмала и просить отдельный столик, и токта путет хорошо». И еще она сказала, что они «перешивают всей кухней са нас, таких скромных лютей, и всей кухней притумали насчет Юрмала».

– Спасибо, Анечка! – крикнули мы и бегом бросились с территории Дома творчества, будто свалили мешок с солью с плеч. Анечка нам помахала рукой.

Ресторан «Юрмала» уже был закрыт. Мы постучали, и когда нам открыли, попросили позвать администратора или директора ресторана. На зов пришла крупная белокурая латышка, уже празднично причесанная и одетая. Мы ей в два голоса объяснили, что только что приехали, нам негде встретить Новый год, и просили нас приютить.

Латышка поначалу сказала: «Что вы! Все столики куплены еще са полмесяца». А потом на нас посмотрела пристально и вздохнула; «Что делать? Что делать? Знаете что! Есть столик для четверых официантов, Я пойду их просить. А вы пока молитесь, чтоб они сковорчивы были...» – и, обворожительно нам улыбнувшись, дама удалилась.

Не прошло и пяти минут – дама спускается по лестнице и так улыбается, будто не нам, а ей тот столик уступили – «Все по-рятке! Все порятке! Только вам надо найти еще пара. Столик на четверых. И быстро, быстро!..»

Новый год – чудесный праздник, и чудеса в этот праздник заготовлены для всех людей на свете. Только мы вышли из ресторана, навстречу нам пара, он и она. «Здравствуйте!» – говорят. Мы говорим: «Здравствуйте!» – «Вот мы, говорят, – молодожены из России. Сегодня только приехали на курорт, и нам не где встретить Новый год...»

«И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век...»

Это был самый памятный праздник в нашей жизни. Я другого такого, шумного, веселого и дружного праздника не помню. Латыши тогда еще мало были поражены ржавчиной национализма. Играл ладный оркестр, и мы вместе плясали, пели, за полночь и столы сдвинули, молодожены, действительно оказавшиеся молодоженами, все твердили: «Ну и везучие мы! Ну и везучие!»

Из ресторана мы с женою ушли в пять часов утра, многие, в том числе и милые молодожены, остались догуливать.

Проснулся я часов в десять, с ощущением праздника в душе и подался в столовку. Вся кухня навстречу: «Ну как было? Хорошо? Хорошо?» – «Во!» показал я женщинам большой палец. «А стесь было очень плохо, – сказала осунувшаяся лицом Анечка. – Отин человек рукался насчет вас, пил посута...»

Слегка позавтракав, отправился я по парку, решая вопрос: опохмелиться или не надо? Иду, посвистываю. Навстречу мне Смеляков, смурной такой, сердитый. «Здравствуйте, Ярослав Васильевич! С Новым вас годом!» – «Здорово! И тебя тоже», – пробубнил в воротник Ярослав Васильевич и, спустя время, слышу сзади: «Эй, парень! погоди!» Я остановился. И Смеляков остановился. Смотрит на меня издали, и вижу – неловкость его какая-то гнетет. «Опохмелиться хочешь?» – «Почему бы и нет». – «Тогда пошли!»

Идем. Молчим. Ярослав Васильевич впереди, я немного сзади. Вышли к морю. На дюнах ларек стоит, синий и пустой, единственный, еще не закрытый на зиму ларек, досконально освоенный Смеляковым, как я сразу же догадался.

– Здорово! С Новым годом! – сказал Ярослав Васильевич и бросил деньги на прилавок. Ларечник подал бутылку хорошего вина, поглядел вопросительно насчет

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
закуски. Ярослав Васильевич отмахнулся и взял лишь тарелку с конфетами.

Мы выпили вина, и я спросил, берясь за свой кошелек:

– Может, лучше коньяку?

– Кто же с утра коньяк жрет, деревня! У тебя че, денег много? Погоди, пропьем.

Допили мы бутылку вина, пошли по песчаному приплеску. Молчим.

– Ты откуда приехал-то? И чего пишешь? – спросил Смеляков.

Я ему коротенько рассказал о себе. Он сбоку глянул на меня, как бы удостоверюсь, что я ему наврал, и, не отводя глаз, сказал:

– Ты это, извини за вчерашнее. Свинство какое, в бога и спаса мать!

– Да ладно, чего там!

– Ладного тут мало! Не будь всепрощающим... они на голову нас... Еще выпить хочешь?

– Давайте. У меня в комнате невыпитые стоят коньяк и вино, да и жена заждалась.

В комнате, при жене, Ярослав Васильевич снова замкнулся, лишь сказал, входя: «Извините!» – да, взглянув на ребят, спросил: «Ваши?»

Потом мы снова ходили по берегу моря, уже обнявшись, и я все пытался затянуть: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, я к друзьям обращусь...» и, кажется, плакал. Смеляков потряхивал плечом и бурчал:

– Да ну тебя! Пой чего-нибудь другое. – И ободрял: – Голос у тебя еще ничего! Могуч!

Долго мы тогда ходили, говорили, пели, точнее, пел я. К сожалению, память подгулявшего человека коротка, и запомнил я из рассказов Ярослава Васильевича лишь то, как в юности он писал стихи. Но читать их некому, так, скараулив мать у печки, когда ей некуда деваться, он читал ей стихи, мать удивленно восклицала: «И откуда че берется?! И откуда че берется?!»

Вскоре уехала домой теща Лазаря Карелина. Я помогал ей нести чемодан до автобуса. Она сказала какие-то добрые слова о моих ребятах, мне пожелала, чтоб я оставался самим собою и никогда бы не сделался от славы и денег таким, как те, что обидели нас и за которых ей так стыдно, – они ведь тоже москвичи.

Погода стояла хорошая, редкая для Прибалтики в зимнюю пору, без дождей, без больших ветров и бурь, иногда даже солнце выглядывало. Хорошо работалось после московской толчеи и так славно встреченного Нового года. Я катал каждый день вчерне по короткому рассказу и написал их одиннадцать подряд, и один из них до сих пор переиздаю, а это уже удача.

Население Дома творчества стало убывать. Уехал Смеляков с женою, как выяснилось, единственный, кто заметил наше отсутствие в новогоднюю ночь и вдруг спросил у гулявшей писательской публики: «А где же тот пареньфронтовичок-то?» – «А черт его знает! – ответили ему. – Напился уж небось, валяется где-нибудь...»

Может быть, и удовлетворился бы этим ответом поэт Смеляков, но в действие вступила официантка Анечка и отчетливо так сказала на весь зал:

– Эти люта, Ярослав Васильевич, – обвела она рукой столовую, – решили не прикласить тех люти на прастник...

Вот тогда-то поэт Смеляков зарычал, как лев, наладился опрокинуть стол, но Татьяна не дала, и, хряпнув тарелку-другую, он ушел, долго искал парняфронтовичка, да не нашел.

Интересно было видеть, что население Дома творчества не испытывало никаких угрызений совести. Драматург Ш. разговаривал с нами весьма миролюбиво и, узнав, что на Урале у нас есть свой домишко и огород, воскликнул: «Что вам не жить?!»

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Своя ж картошка! А тут вон Артур Миллер приезжал – принимай его, он же нас принимал в Америке! И мы с Алешей (с Арбузовым, значит) высадили за раз три тысячи рублей...»

На Смелякова народы сердились, говорили, что испортил он праздник, что вообще человек он несносный и грубый. Впрочем, никакого на них внимания Ярослав Васильевич не обращал, вдруг расписался, повеселел, совсем перестал ходить к морю, в ларек, и лишь перед отъездом прогулялись мы с ним туда, да и то на короткое время.

Более ничего выдающегося в тот первый мой приезд в Дом творчества не случилось. Я притерпелся к колкостям, глупостям писательским, понял, что они «как все», есть умные, есть и глупые, есть воспитанные и хамы, есть и те, что «свои в доску мужики» – таким отныне для меня сделался Ярослав Васильевич.

Уезжали мы с остатком взрослого населения одним и тем же поездом до Москвы, и коли нас было четверо, купили четыре места, то есть все купе, и радовались тому, что все будем вместе, что отдохнули ребятишки и жена, я хорошо поработал. Ребятам теперь хватит рассказов об увиденном на всю зиму, мне – сил на учебу и московскую суету.

Ярослава Васильевича я встречал потом не много, но и не мало раз, все больше на семинарах, в работе с молодыми. Был он на этих семинарах строг, остроумен, порой резок, но молодежь все равно таскалась за ним хвостом, и я сам видел на читинском семинаре, на новом крыльце новой гостиницы, как «порусски рубаху рванув на груди», молодой дальневосточник-поэт кричал на всю округу: «Я теперь плевать на всех хотел! Меня сам Смеляков поэтом назвал!..»

«Смотри, не замастерись, – сказал мне как-то в кафе Дома литераторов Ярослав Васильевич. – Вон их, мастеров-то – полон ресторан! И у всех грудь вперед и башка задрана!» «Постараюсь, Ярослав Васильевич», – ответил я ему. Через короткое время после той встречи узнал, что тяжело он болен и, больной, из больницы пишет самоироничные, как всегда «доходчивые» и совершенно какието по-детски искренние стихи. Одно из них меня особенно поразило. Это «Ответ» на то самое самонадеянно-юное, ярчайшее и в поэзии Смелякова, всеми, особенно молодежью, любимое: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращусь я к друзьям...»

Поскольку «Ответ» отчего-то не пошел в народ и его мало знают, стихотворение же это достойно того, чтобы его знали: меж первым и вторым стихотворением – целая жизнь! и какая жизнь! – я воспроизведу его здесь:

Я на всю честную Русь  
заявил, смелая,  
что к врачам не обращусь,  
если заболею.

Значит, сдуру я наврал  
или это снится,  
что и я сюда попал,  
в тесную больницу?

Медицинская вода  
и журнал «Здоровье».  
И ночник, а не звезда  
в самом изголовье.

Ни морей и ни степей,  
никаких туманов,  
и в окно в стене моей  
голо без обмана.

Я ж писал, больной с лица,  
в голубой тетради  
не для красного словца,  
не для денег ради.

Бормочу в ночном бреду

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
фельдшерице Вале;  
«Я отсюда уйду,  
зря меня поймали.

Укради мне – что за труд?!  
ржавый ключ острожный».  
Ежели поэты врут,  
больше жить не можно.

...Сырым, зимним утром, да что там сырым, промозглым, слякотным, Слава Дворжецкий – прекрасный киноартист, поздновато открытый нашим кино и лишь частично реализовавший яркий свой дар, вез нас на своем грязнущем, полуразбитом «жигуленке» на Новодевичье кладбище, где похоронен Ярослав Васильевич, на еще одну годовщину поэта.

Слава не имел жилья в Москве, и Смеляковы приютили его на своей даче, потом и мать Славы приютили, и много кого и чего они тут приютили, одних бездомных собак не перечесать, того и гляди штаны порвут псы – разнопородные, такие же безалаберные, как и хозяева, – от благодарности и усердно, громко выражаемой любви к хозяевам.

Сзади в машине хохлилась от холода и вновь прихлынувшего горя Татьяна Стрешнева, теперь уже вдова поэта Смелякова. Все молчали, лишь иногда, на заносах и хлябах, минуя опасность, Слава нецензурно выражался сквозь стиснутые зубы. Четыре или пять аварий увидели мы на дорогах, пока добрались до Переделкина, где жили в бывшей даче фадеева Смеляковы. Дача та известна мне по рассказам Александра Николаевича Макарова, и это еще одно подтверждение тому, что судьба человека вообще, творческой личности в частности, развивается по каким-то совершенно определенным законам, вспомните письмо ко мне странной и умной читательницы, над которым вместе с Александром Николаевичем посмеялись и погоревали мы когда-то. Ну чем иначе, как не изгибом этой самой судьбы занесло меня именно на ту дачу, под застрехой которой стоял и мок когда-то мой друг, ожидая полосы «Литературной газеты»?! Но об этом речь впереди.

Я оглядывался на Таню, она ободряюще кивала, ничего, мол, ничего, все в порядке. С нею мы познакомились ближе в поездке по Молдавии. Я ее, Таню, узнал сразу, хотя после Дубулт и не видел вроде бы, подсел к ней в автобусе и заговорил об Ярославе Васильевиче и обо всех разных разностях. Таня кивала головой, соглашалась вроде, на одной из остановок и говорит кому-то:

– Где-то тут в нашей бригаде Астафьев едет, я давно хочу с ним познакомиться, а этот кривой меня совсем заговорил!

Таня есть Таня, обижаться на нее невозможно, и, захохотавши, я выступил вперед и представился ей.

С тех пор мы дружим, и я не часто, но все же вижу Таню, бываю у нее дома. Милый, славный человек, умеющий скорбеть и хранить память о любимом муже без привычной московской показухи. Трудно ей вести нелегкую свою семью, много работать над переводами и изданиями покойного мужа да еще и написать стихи, достойные памяти замечательного поэта – они называются «Вдова».

Ярослав Васильевич похоронен в дальнем конце кладбища, против «парадного» входа, где за нелепым, вычурным памятником покровителю муз, неутомимому борцу за мир и производство кукурузы, суетливому вождю Хрущеву (недоумеваю: чего ему среди монастырских-то древних стен и крестов надо?), – покоятся достойные великого времени и русской литературы писатели Твардовский, Исаковский, С. С. Смирнов, Кирсанов и еще некоторые.

Положили цветы, постояли, насквозь уже промокшие от кислого снега. Таня совсем согнулась, погрузнела, что-то попыталась рассказать и смолкла. Потом сходили к Шукшину – это в другом конце кладбища, положили отделенные от Смелякова цветочки в ворох цветов и красной калины. С мокрого, сиротливо плачущего портрета, обрамленного черными лентами, смотрел Василий Макарович, который совсем недавно был у меня дома; говорил, еще больше слушал, и поскольку на похоронах его я не был, то и не воспринимал его покойным в этой кладбищенской тесноте. Очень, должно быть, неуютно спалось здесь, на престижно-аристократическом кладбище, среди новоявленных и прежних сановников и знаменитостей, русским мужикам



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Смелякову и Шукшину, и приукрашенномоложавые их портреты выглядели чуждо среди нагромождения пышных надгробий и позлащенных грузно-каменных памятников. Им бы на травяной холм, в шумные березы...

Домой, на дачу, мы вернулись совсем продрогшие. Невестка и родичи Смеляковых, близкие и дальние, уже накрыли стол. Таня еще с ночи напекла пирогов, прикрыла их в горячей духовке.

Небольшим, но очень душевным кругом мы помянули славного человека и поэта. Я повинился насчет Новодевичьего кладбища, что, мол, мы – растяпы, так и не «достали» там места для Александра Николаевича Макарова.

Таня опустила глаза и заметила:

– Не сожалей, Витя. Пусть покоится там, где покоится. Ярик ведь тоже не зарился на Новодевичье. Он хотел быть похороненным совсем по-другому и в другом месте... – Она протянула руку к полке и уверенно достала, – видно, множество раз ее вынимала и читала, – «Декабрь» – самую, быть может, пронзительную, с трагическим ощущением и все с той же, но уже горькой самоиронией, предсмертную книжку Ярослава Смелякова. Коротко заглянув в нее, заложив палец между листков, Таня откинулась на спинку стула, закрыла глаза и в полной тишине прочитала:

Когда умру, мои останки,  
с печалью сдержанной, без слез,  
похорони на полустанке  
под сенью слабою берез.

Мне это так необходимо,  
чтоб поздним вечером, тогда,  
не останавливаясь, мимо  
шли с ровным стуком поезда.

Ведь там лежать в земле глубокой  
и одиноко и темно.  
Лети, светясь неподалеку,  
вагона дальнего окно.

Пусть этот отблеск жизни милой,  
пускай щемящий проблеск тот  
пройдет, мерцая, над могилой  
и где-то дальше пропадет...

Таня смолкла. И все долго молчали.

– Стихотворение называется «Попытка завещания». Посвящено Т. С. – это значит мне, – как-то отрешенно и далеко-далеко прозвучал голос Тани.

«Что же вы, московские жены, так плохо слушаетесь мужей? Не выполняете их последнюю святую волю?» – так или приблизительно так прозвучал мой упрек, может быть, вслух и не сказанный, но еще после смерти друга моего, Александра Николаевича Макарова, возникший во мне.

Таня не просто вдова поэта, сама – поэт, она услышала меня, ибо и самой себе этот упрек, наверное, адресовала не раз, многократно, ежечасно, как я потом понял.

– Горе, сколь к нему не готовься, все равно застанет врасплох, – тускло, вовсе не оправдываясь, как бы размышляя вслух, продолжала Таня. – Окаменела вся после кончины Ярика, ничего не понимаю, ничего не слышу. Опомилась, а Ярик уже на Новодевичьем лежит. А я вот здесь. Ну да что теперь? – вздохнула глубоко и протяжно вдова. – Давайте выпьем за то, чтобы земля ему пухом была, и- почитаем его стихи.

И до поздней хмурой зимней ночи сидели мы в теплом доме. Дом шатало непогодой, выло где-то вверху, на чердаке и в проводах, по окнам плыл снег, шумели черные и голые липы в саду, мерцал и плавился свет уличного фонаря, псы дремали под столом, доверчиво положив свои морды на наши теплые ноги, и было нам вместе грустно и сладостно-больно. Тихо звучали в полутьме тихие стихи.

Я сейчас уже смутно помню, как прошли конференции в библиотеках имени Лавренева и имени Володарского, но помню, что Александр Николаевич говорил очень хорошо и, к моему удивлению, страшно волновался. Я посмеивался над ним: тоже мне грозный критик! И преподаватель Высших (!) литературных курсов. И кстати заметил, что бросал бы он их – мизерный заработок, а трата нервов и времени огромная...

– Ах, Вик Петрович, Вик Петрович! Как вы не понимаете?..

Понял «Вик Петрович», все понял, но гораздо позднее, когда сам посивел и вкусил «прелести» человеческого одиночества. Чувство общительности у Александра Николаевича от природы естественное, его тянуло поделиться с людьми теми знаниями, которые его переполняли, и делал он это непринужденно, охотно, как бы ломая пополам ломоть крестьянского хлеба, наделяя людей той пищей, что у него была в «сердечных закромах», – добротой, душевностью, человеколюбием и огромной, заинтересованной страстью к литературе. Увы, с горечью убеждался я, что и «взять» от него, «задаром» взять то, чем он богат – охотников мало, близко их попросту нет. Нахлебников полно, но душевных, заинтересованных людей – друзей и даже слушателей – нет. Жена, дочь? Но сколь бы мне ни втолковывали высокоинтеллектуальные писатели, что вот-де он друг с сыном, с дочерью или с женой – не разделял я этой, высокопарно говоря, аксиомы, да и Александр Николаевич не разделял. Он знал по крестьянскому укладу жизни, что жена – это жена, дети – это дети, и неловко, дико смотреть, когда от слов иные папы и мужья переходят к делу, разыгрывая меж членами семьи «друзей».

Вот и были долгие годы Высшие курсы, поэтический семинар на них, отдушиной, где можно было «выпустить пары», поговорить к пообщаться с заинтересованными в поэзии и литературе людьми, пусть их на курсах бывает горсточка, остальные-то водку пьют, бабничают, бегают по «нужным людям», обивают пороги редакций и издательств. Но уж и горстка хорошо для литературы, заполненной в немалом количестве равнодушными и случайными людьми.

Тогда же, с разговоров о курсах, мы как-то совершенно естественно перешли на разговор о человечности. Посмеявшись над мимоходом оброненными мной словами в повести «Где-то гремит война» о том, что злодейство и злодеи не остаются безнаказанными, их, хотя бы и за гробом, но настигает возмездие, Александр Николаевич грустно, с глубоко затаенной болью произнес:

– Ах, Вик Петрович, Вик Петрович, если б это так было...

И начал говорить о том, о чем никогда почти не говорил – о своей работе под началом Ермилова в «Литературной газете».

Я и до того немало слышал о Ермилове, но все разрозненно, все из «вторых рук», а тут очевидец, «соратник». И какой же гнусный, подлый человек открылся мне, а ведь Ермилов был не просто человек, он ходил в «сильных мира сего», правил моралью и влиял на духовную жизнь, пусть не страны, не всего народа, но на часть литературной публики, и часть немалую. Сколь же наплодил он себе подобных, вероломных рвачей, делег, приспособленцев!

– Говорить по отношению к покойному Ермилову о какой-то морали, совести, порядочности просто кощунственно, – рассказывал Александр Николаевич, – где этим всем вещам следует находиться, там у него волос вырос, а уж кто-кто, но он всегда и всюду качал права за идейность. Пьяница, лодырь, распутник... В самой газете он почти не появлялся, ну изредка, на редколлегиях, экстраординарных совещаниях и в «пожарном» случае. Полосы подписывал у себя на даче, в Переделкине, чаще всего на даче у Фадеева.

Приеду я с полосами. В дом не пускают. Стою у стены под застрехой полчаса, час, дождь льет, снег лепит, в покоях Фадеева жеребячий хохот, визг, а я под навесом дрожу и думаю: «Хоть бы рюкзаку велели вынести, ведь даже ямщику раньше выносили...» Страшно было то, что Ермилов не был дураком, он был умен, по-своему умен, но погорел, как дурак. Жизни-то не знал, последнее время ничего и не читал. И Сталина, и культ уже изобличили, а он все в пьяном чаду пребывал. Но... дело грешное – злее божьего: и написал он передовицу во здравие Сталина, когда уже следовало – «за упокой», и поперли его отовсюду, ну не столько уж из-за передовицы, сколь потому, что минула пора таких вот направителей духовной жизни... Чего хмуритесь, Вик Петрович? Чего руки дрожат?..

– Я бы вот раз-другой постоял под дождем, ожидая полосы, потом взял бы кирпич и херакнул в окно этой блатной компашки!

– Эх, Вик Петрович, Вик Петрович! Я, может, за то вас и люблю, что вы бы вот херакнули, а я все чего-то боялся, наверное, зарплату потерять – ведь на мне челяди кормящейся рота, стоят, в затылок дышат, жрать хотят. Впрочем, какие это оправдания? – махнул рукой Александр Николаевич.

Уже после смерти Макарова довелось мне услышать о Ермилове многое такое, от чего, как говорится, уши вянут, но один факт, как мне думается, наиболее точно и ярко характеризует демагога, «главного героя нашего времени», как заключил в одном из разговоров незадолго до смерти злой и честный Шукшин.

По ехидному ли умыслу, по простоте ли душевной вздумалось тогдашнему редактору многотиражной газеты «За боевые темпы» завода имени Владимира Ильича, Соколовой Ирине Васильевне, заказать статью к юбилею Маяковского какому-нибудь видному критику (редакторов подобных газет иногда охватывают такие замысловатые «идеи», что диву даешься!). И пал ее выбор почему-то на Ермилова. Дозвонилась и – так, мол, и так, рабочий коллектив завода, того самого, что прежде был Михельсона, где стреляли в Ленина, жаждет прочесть квалифицированную статью о великом пролетарском поэте.

И договорить не дал редакторше «видный критик» – да для трудящихся такого завода он всегда готов! Да он ночи спать не будет!.. Только вот знать ему надо направление статьи... Редактор в недоумении: какое направление? «Я должен знать, – заявил без ужимок видный критик, – чего хотят газета и трудящиеся – чтобы я хвалил или чтобы я ругал Маяковского?..»

Самое подлое в «ермиловщине» то, что такие вот вахлаки, провинциалы, как я, всему, ну, может и не всему, но многому из того, что вещали всякие ермиловы, верили, пытались следовать созданному ими на словах идеалу советского человека.

Я сказал моему другу, что Ермилова не сподобился видеть, но вот Фадеева видел один раз, правда, и то уже мертвого.

– И-и-интересно! Как это вас нанесло? Интересно!

Ехал я в Ялту, по курсовке, первый раз в жизни на юг ехал – брюхо болело, а я, как всякий мохом обросший провинциал, думал, что раз юг, то там все вылечат, хоть брюхо, хоть душу. Ночевал на перепутье в Москве. Утром встаю все заборы газетами оклеены, с некрологом – Фадеев застрелился.

У меня тогда уже вышли две тощие книжечки, и я, «как свой», причастный к «литературному цеху» человек, побежал к Колонному залу, где был выставлен гроб с Фадеевым. Трижды вставал я в очередь и трижды прошелся мимо гроба, где весь седой, совсем не молодежавый, как в кино и на карточках, какой-то трагически отстраненный, с успокоенным и в то же время, казалось, напряженно-страдальческим лицом лежал Фадеев и словно бы вслушивался в шаги тихо бредущих, кашляющих людей, в их сдержанный говор – оценили ли его поступок? Поняли ли смысл выстрела, которым он хотел предупредить людей и прежде всего меня, только-только вступающего в литературу: «Так, как жил я – жить нельзя...»

Играла музыка, звучали Гендель, Берлиоз, Моцарт, Вагнер, Глюк, Бах, Бетховен, помогая мне если не разобраться в происшедшем, то хотя бы ощутить сложность происшедшего, трагедию жизни творца, и не только этого, и не только творца, а многих его современников, заблудившихся на расстани двух дорог, с указателями «честь» и «правда», и разорванных надвое вершинами жизни – долгом и совестью.

Но я не мог сосредоточиться на той, как мне казалось тогда, главной мысли – в Перми, в отделении Союза писателей таскалась по столам книга, которую лениво читали молодые уже современники и последователи Фадеева, – книга постановлений секретариата Союза писателей СССР с сотнями фамилий писателей, за малым исключением реабилитированных посмертно. И этот вот седой, благообразный, величественный даже в гробу человек имел прямое отношение к их умерщвлению, затем и к реабилитации. Ему бы хвалить себя за доброту, за то, что вот «осознал», «пожалел» пусть и убиенных, как это торопливо делали в те дни костоломы и насильники всех мастей и званий, а он взял и сам себя

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
реабилитировал. Пулей в сердце. «Нет, лучше откровенный выстрел, так честно пробивающий сердце», – написала в заключении одна из поэтесс (реабилитированная посмертно), и строки эти, думается мне, слуха Фадеева не миновали.

– Я полагаю и так хочу думать – это нас, литмладенцев, предупреждал Фадеев тем выстрелом: не живите, как я, не живите! Не проматывайте свои таланты в речах, на заседаниях, в болтовне и пьянстве, не крутитесь, не вертитесь, не суесловьте, не лижите сапоги вождей, как бы ни были они велики, а сидите за столом, работайте, чтобы не было такого движения, как у меня: от «Разгрома» – честной, долговечной книги, до слащаво-жалких, беспомощных главок о «рабочем классе» в «Черной металлургии», которые лизоблюды тут же начали возносить чуть ли не до масштабов «Войны и мира»...

– Вы это в лесу придумали или действительно тогда, у гроба, уже так зрело мыслили? – сурово, даже зло поинтересовался Александр Николаевич. – Если в лесу, то да будет еще раз благословенна природа, так облагораживающая мысли человека! Только это слишком благородно для того человека, которого вы видели в гробу.

Почему, отчего так неприязненно и раздраженно отнесся Александр Николаевич к Фадееву в том разговоре – не знаю. Может, под влиянием минуты, недомогания, изменившейся «литературной погоды», тем более что ему была известна моя неприязнь ко всякого рода вождизму вообще и литературному в частности, и он эту мою неприязнь не очень-то одобрял, вразумлял меня терпеливо, что надо благодарным быть тем, кто в ущерб своей работе «везет воз», «направляет» и «заправляет». На что я ему резонно возражал, что ценил и цену писателя только по таланту, а не по должности, но что, может быть, это действительно большое благо для отечественной словесности, когда некоторые руководящие товарищи не плодят торопливых, напрочь оторванных от жизни книг и «везут воз», как им кажется, общественно полезный. Этой позиции я придерживаюсь и до сих пор, однако с годами пришел к заключению, что если талант руководителя и писателя неразрывны и человек целен в том и в другом, то это не во вред – во благо литературы.

Я не был лично знаком с Николаем Семеновичем Тихоновым, что, однако, не мешало мне, как и многим-многим писателям, относиться к нему с глубочайшим почтением, надежней себя чувствовать в жите и работе, когда он представлял интересы нашей литературы в международных организациях, да и в наших «высоких сферах».

Думаю, что из потерь последних лет смерть Николая Семеновича Тихонова это самая осязаемая потеря, и это не только мое мнение, это мнение всех здравомыслящих в советской литературе людей.

Такого единого мнения не было и нет о Фадееве, и тем нужней, мне кажется, всякое, не выборочное слово о нем, его лично знавших. Повторяю давно известную российскую мудрость:

«О покойном только хорошо или ничего» – и тут же повторю еще одну известную истину: женщины, особенно литературные вдовы, любят писать о своих близких только во благостных тонах и в светлых красках, «принаряжая покойных», оттого становятся благостнее, высветленнее, а то и святее сами. Тем не менее я воспользуюсь любезно мне предоставленными дочерью Макаровых, Аннетой Александровной, воспоминаниями Натальи Федоровны об отношениях между Фадеевым, Ермиловым и Макаровым, хотя, повторяю, сам к ним отношусь с некоторой осторожностью, ибо думаю, что Наталья Федоровна далеко не беспристрастный в данном случае автор.

«Шел недобрый 49-й год. Я была в одной партийной организации с Сашей организации Союза писателей, и волей-неволей оказалась свидетелем того, как все больше расходились пути-дороги во взглядах на литературу между Фадеевым и Ермиловым. Не было, кажется, ни одного собрания, на котором бы не стоял вопрос о том, что «Литературная газета» не сделала того-то или не так-то сделала другое. Словом, обстановка была накаленной, тревожной, да кто ее не помнит. Отругали Макарова за положительный отзыв о романе Симонова «Дым отечества».

К декабрю 49-го года отношения между Ермиловым и Фадеевым дошли до апогея: причиной их было различное отношение к критике, к писателю, к борьбе за него.

События разворачивались стремительно и драматично.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Владимир Владимирович жаждал во что бы то ни стало разгромить панферовский роман «Высокое искусство». Фадеев воспротивился. Конечно, он видел недостатки романа, но трагедия Федора Панферова-художника не могла не вызвать в нем сожаления и сострадания.

В. В. Ермилов отнесся к этому иначе. И он решил действовать через голову Фадеева, адресуясь к пленуму Союза писателей, который должен был вот-вот собраться. Статья под названием «Дурное сочинительство», написанная со страстью и блеском, как и многое, вышедшее из-под пера Ермилова, была готова накануне пленума. Ермилов хотел, чтобы его выступление стало «гвоздем программы», но газета выходила в среду, а пленум начинался во вторник. Владимир Владимирович добился того, что номер вышел на день раньше. С мокрыми еще оттисками «Литературной газеты» приехал на пленум и собственноручно развесил их в зрительном зале на спинки стульев делегатов.

Макаров был глубоко огорчен происходящим.

– Жестокий цирк, – сказал он тогда, – прямое избиение. Почти вся редколлегия была против этой статьи, но Владимира Владимировича понесло!

Однако «гвоздя» не получилось: пленум шел как обычно, доклад Фадеева был спокоен, касался многих волновавших литературную общественность вопросов.

...Выступление Ермилова было остро критичным – он занял испытанную позицию наступления, обвинял секретариат ССП в плохом руководстве газетой, в раболепстве перед авторитетами и т. д. Во время заключительного слова Фадеева Ермилов кричал с места, перебивал, дошел до оскорблений. И тогда Фадеев сказал: «Ермилов как скорпион – сам себя жалит».

Владимир Владимирович, возмущенный, покинул пленум.

В следующем номере «Литературной газеты» нужно было напечатать заключительное слово Фадеева. Однако Ермилов сказал: «Пока я редактор печатать с фразой о скорпионе не буду!»

В тот день я со своей маленькой дочкой поджидала Сашу на улице. И вдруг в дверях возник Владимир Владимирович – в распахнутом пальто, с трубкой во рту. Лицо его было гневным. Он рванулся было к своей машине, но остановился, увидев мою семилетнюю дочку, поставил на тротуар свой огромный портфель и, нагнувшись, погладил ее по голове. И совсем уж неожиданно пропел ей вполголоса:

Жареная рыбка, бедный мой карась,  
Где ж твоя улыбка, что была вчерась?

Девочка засмеялась, но в этот момент хлопнула редакционная дверь. Ермилов выпрямился и мгновенно переменялся – из редакции вышли сотрудники газеты.

– Где Макаров? – сердито крикнул Ермилов. – Я его уже одну вторую часа жду!

Саша подошел.

– Попрошу вас отправиться со мной. В машине поговорим о следующем номере.

Саша сказал мне, что Ермилов едет в Переделкино, к Фадееву. Домой он явился поздним вечером, замерзший. Мы сели в подъезде на подоконник – место наших душевных бесед. Я приготовилась, как всегда, записать его рассказ.

– Ничего не могу тебе рассказать, – сказал Саша. – Я не был у Фадеева.

– Как?!

– Ермилов всю дорогу ругался, а когда подъехали к Переделкино и оказалось, что говорить о номере уже поздно, выругался еще раз и крикнул мне: «Ждите меня в машине. Через десять минут буду». Исчез. И вернулся через три часа. Я сидел, сидел, замерз! Вышел побродить, погреться. И сквозь двойные рамы услышал такую перебранку, какую могут позволить себе только очень близкие друзья. Стало неловко – словно подслушивал. Пошел было к машине, тут дверь настезь. Появился Ермилов, за ним Фадеев. Он посмотрел на меня невидящим взглядом, и я от

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
неожиданности забыл с ним поздороваться, думаю, он этого не заметил.

Дорогой Ермилов долго молчал, а потом сказал тихонько:

«Ну, Антей, конец. Прощайте...»

...Больше Владимир Владимирович в редакции не появлялся, хотя следующий номер был подписан еще его именем.

Пока не назначили нового редактора, газету вел Макаров. Седьмого февраля он получил от Фадеева следующее письмо:

Тов. А. Н. Макарову

Посылаю заключительное слово по докладу на пленуме. Правка вынужденно большая, т. к. стенограмма отвратительно безграмотна.

Очень прошу после перепечатки сверить (считать).

Это единственный «канонический» текст, поэтому прошу после перепечатки один экземпляр послать в ССП Варваре Петровне, а другой мне (можно вместе с версткой, на дачу, так как я весь день сегодня на дачах).

Как Вы думаете освещать прения? Если широко, то, может быть, мое заключительное слово пойдет только в субботу?

С приветом

А. Фадеев.

Посылая верстку, пришлите и этот черновик.

А. Ф.

..Одиннадцатого февраля «заключительное слово» Фадеева было напечатано. Без фразы о скорпионе.

Утром, вернувшись с дежурства по номеру, Саша рассказал мне о встрече с Фадеевым. Он заехал в ЦДЛ – купить что-нибудь в буфете к завтраку и решил выпить сто граммов коньяку. И вдруг услышал:

– Саша! С утра! Не закусывая!

Фадеев сидел один, завтракал и пригласил Сашу за свой столик. Спросил:

– С дежурства?

– Да. Приходится иногда эти сто граммов выпить, а то рабочее колесо в голове никак не может остановиться, а от этого шалешь...

– Понятно... Именно так: не может остановиться – не глотать же с утра снотворное. Помолчали. Фадеев спросил неожиданно:

– Почему, когда вы приехали с Ермиловым в Переделкино, не вошли в дом?

– Ермилов не приказал.

– А-а, боялся нашей коалиции?

– Наверное.

– Но вы же три часа ждали, замерзли небось, что же не вошли?

– Стеснялся.

И тогда Фадеев засмеялся:

– Ну и ну! Попытался я себе объяснить такое невероятное явление – почему это критик Макаров ходит у меня во дворе и даже не соблаговолит войти в дом: презирает ли меня, чуждается ли? А тут, оказывается, так просто «стеснялся». Ну, Саша, я рад! Честное слово, рад, что ты (он вдруг перешел на «ты») такой простой и свой.

Фадеев задумался, потом снова заговорил:

– А все же устоял ты: не поддался Ермилову!

И опять замолчал.

– А ведь он чертовски талантлив, но... я всегда говорил: у него один тяжелый недостаток – он не верит в загробную жизнь! Сказал и испытующе взглянул на Макарова.

– Понятно, о чем речь?

– О будущем, – вставил Саша.

– Ну и башковитый же ты мужик! Люблю таких, ей-богу!..

В газету был назначен новый редактор – Константин Симонов.

Симонов внял просьбам Макарова и согласился отпустить его из газеты предполагалось назначить Макарова заместителем главного редактора журнала «Знамя».

– Там все же больше будет возможности заняться творческой работой, говорил Симонов.

Макаров и соглашался, и был огорчен: снова чужие рукописи, снова сидение за редакторским столом... «Нет, больше так невозможно!»

И Саша пошел к Фадееву.

Фадеев был занят, и прорваться к нему не удалось. Тогда тут же, в приемной, Александр Николаевич написал генсеку письмо:

Уважаемый Александр Александрович!

Вчера К. М. Симонов поставил меня в известность о том, что он как главный редактор «Литературной газеты» и руководство Союза считают целесообразным, освободив меня от обязанностей редактора раздела «Литературной газеты» и учитывая, что по моим склонностям и характеру я больше подхожу для работы в журнале, назначить меня заместителем редактора или ответственным секретарем журнала «Знамя».

Около года назад такое же предложение делали мне Вы и, как Вы помните, я ответил тогда тоже согласием. Я и теперь вполне согласен с решением освободить меня от должности члена редколлегии «Литературной газеты». Желание же К. М. Симонова совпадает с моим желанием.

Что же касается моего назначения в редакцию «Знамени», то, ни коим образом не возражая против подобного назначения в будущем, я очень бы Вас просил, Александр Александрович, не делать этого в течение ближайшего года. И вот почему: я крайне нуждаюсь хотя бы в одном году для творческой работы, для работы писательской, а не редакционной, и просто для того, чтобы соприкоснуться с живой жизнью.

Года два назад я написал книжку в семь листов о поэзии А. Твардовского. В свое время эта книжка рецензировалась в «Советском писателе», была одобрена, и мне предложили внести некоторые дополнения. Однако время шло, я не имел возможности приняться за доработку, а по истечении еще года понял, что хочу написать эту книгу просто заново. Материал для книги в ее новом виде у меня готов, но для того, чтобы сделать, мне нужны три-четыре совершенно свободных месяца, тот «творческий отпуск», который хочется думать, я заслужил за три с половиной года

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
напряженной, всепоглощающей работы в газете.

Моя литературная судьба складывалась не весьма благоприятно. В 1938 году я окончил Литературный институт и сразу же был призван в армию для прохождения срочной службы. В армии я пробыл два с половиной года, из них только год в многотиражке. Через три месяца после того, как я демобилизовался, началась война и я, работавший тогда ответственным секретарем журнала «Краснофлотец», пробыл в этом качестве до января 1947 года, то есть до назначения в «Л. Г.». Редактором «Краснофлотца» был В. Р. Щербина, одновременно редактировавший «Новый мир», и при этом положении ответственный секретарь оказался почти наглухо прикованным к редакторскому столу. Затем три безвыездных года в «Литературной газете». Я чувствую, что превращаюсь просто в аппаратного работника, теряю связь с живой жизнью, а это для литературного критика, по-моему, смерти подобно.

В свое время мои статьи привлекли внимание некоторой свежестью взгляда, но ведь эта свежесть была исключительно от того, что я шел в литературную критику от жизни, что у меня был какой-то запас живых впечатлений, запас, который с тех пор не пополнился. Беда нашей критики, самая серьезная ее беда именно в том, что она пишет о том, чего не знает, что представляет себе смутно, в виде разграфленных схем, лишенных живой плоти. Критика профессиональная не сможет никогда подняться до необходимого уровня, если у нас не поймут, что критик – это писатель, что знание реальных прототипов литературных героев для него так же, если не более, необходимо, как для писателя.

Мне думается, и для меня, и для органа Союза писателей, в котором мне потом придется работать на редакторской работе, просто необходимо, чтобы я провел ближайший год на оперативной и творческой работе, в качестве, например, специального корреспондента той же «Литературной газеты». Такая работа в газете, как по литературным, так и по внутренним темам, позволила бы мне снова войти в жизнь, познакомиться на местах с литературным процессом, то есть сделать то, что нужно было делать и будучи редактором отдела, но чего я не делал, право, не по нежеланию. Работая спецкором газеты, я мог бы одновременно выполнять поручения Союза писателей.

Это очень бы помогло моему творческому росту. Душа-то у меня, Александр Александрович, лежит все-таки к критике, а не к редактированию статей других авторов. Впрочем, и право на редактирование тоже определяется качеством собственного творчества.

Вот почему я очень прошу Вас пересмотреть вторую часть Вашего решения, пока оно еще не приняло организационных форм, и думать обо мне как о литературном критике, нуждающемся в серьезной поддержке, а не как о редакторе.

А. Макаров.

Через день Фадеев пригласил Макарова. Он сидел торжественный и недовольный. Протянул руку через стол, потом махнул – садитесь, сказал:

– Прочел ваше заявление. Мы не можем отпустить вас. Вы нам нужны, а ваши мысли о критике чрезвычайно интересны. Вы правы: критик должен знать жизнь, ему, как и писателю, надо ездить, видеть и много учиться.

Макаров возразил:

– Вы сказали, критику, как и... писателю. Но ведь критик и есть писатель, в особой форме воспитывающий читателя, а не приложение к нему, критика не служанка литературы, а самостоятельный жанр.

– Эх, как вы за нее стоите! – усмехнулся Фадеев. – Вот и напишите мне все ваши соображения по этому поводу, буду делать доклад о литературе, скажу и о критике. А вас введем в комиссию по критике: там нужны такие убежденные люди. И в комиссию по теории литературы. – Он снова стал читать заявление. Соберем критиков, поручим вам доклад – высказывайтесь, спорьте, доказывайте.

– Зачем мне это?

– Как это зачем? Может, вы и правы больше, чем сейчас думаете, а я не прав.



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

– Уверен, что прав, – настаивал Макаров. – Жизнь покажет.

А Фадеев продолжал:

– Потом соберем молодых критиков – со всего Союза – и будем растить новую смену. Вот тут вам все карты в руки!..

Потом Фадеев заговорил о молодых поэтах, прозаиках, вспомнил статью Макарова, написанную пять лет назад, – «Рожденные в битве».

– Хорошо вы тогда сказали, что поэзия тех лет пришла к нам в треугольных конвертах. Межиров, Максимов, Николаева, Тушнова, Соболев, Гудзенко и прозаики: Калинин, Тендряков, Бондарев. Да, угадали в них подающих надежды писателей. Как-то дальше будут развиваться их таланты? Не выпускайте их из поля зрения. Пишите о них. Я бы тоже писал, да дела завалили...

– Вы, Александр Александрович, изо всех сил стараетесь, чтобы и меня они завалили, – заметил Макаров.

– А ты думал, я тебя отпущу? Нет, не настало еще время. Я только вот что могу сделать для тебя... – И он протянул Макарову его заявление, на первой странице сверху была резолюция:

«Дорогой Александр Николаевич! Рад бы помочь Вам душой, да дела не позволяют. Идите, дорогой, в «Знамя», как было предложено и договорено. Отпуск творческий месяца на два я вполне поддерживаю.

С сердечным приветом.

А. Фадеев

– Понятно! – произнес Макаров, дочитав резолюцию. – Я чудес не ждал... Я себе еще в юности предсказывал, что писать буду свои книги в шестьдесят лет... как Даниель Дефо.

– Вот именно! Осталось только непременно дожить до шестидесяти, подхватил Фадеев. – А пока поезжайте и хоть начните книгу о Твардовском: начало – великая вещь.

\* \* \*

В 1955 году Александр Макаров был назначен главным редактором журнала «Молодая гвардия». Это было его последнее назначение, подписанное Александром Фадеевым. В апреле 1956 года состоялся последний их, самый большой за десять лет разговор.

В начале марта Макаров встретил Фадеева на набережной Москвы-реки. Выглядел он удивительно одиноким, в походке усталость. Пошли вместе. Фадеев произнес:

– Да, вот так-то, Саша, уходит жизнь – не догонишь...

Помолчали. Наконец Александр Александрович стал спрашивать о журнале. Отметил:

– Хорошо, что предполагаете в редколлегию бывших фронтовиков: Винокурова, Тендрякова. Слышал, что приглашать писателей ездил к ним домой. Верно! Так сразу снимается формальность, официальщина, которая губит нашу работу... Вы и у Веры Васильевны Смирновой были? Знаете, что у нее сын погиб?.. Хорошо, что поддержали ее. Согласилась она в редколлегию?

Фадеев замолчал надолго. Что-то неотвязно приковывало его мысли. Александр Николаевич, стремясь развеять его плохое настроение, заговорил о своей недавней поездке в Калязин. Фадеев оживился:

– Вы связаны с Калязином?

– Это моя родина.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

И тут обнаружилось, что они земляки. Фадеев родился в Кимрах. Детство Макарова прошло в селе Константинове Калязинского уезда, в 55 километрах от Кимр. (Лет 70 назад из Калязина ездили на лошадях в Кимры, чтобы попасть на «чугунку».)

Фадеев спросил:

– А остался кто-нибудь в деревне?

– Нет. Я рос сиротой, у бабушки, а она пять лет как померла...

– Нет милых душ... есть могилы, – задумчиво произнес Фадеев.

– И могил нет. Калязинское кладбище на дне Большой Волги... Бабушкина могила хоть и цела, да вырваться недосуг. Александр Александрович вздохнул:

– Недосуг, недосуг, всю жизнь недосуг... А ведь с тех людей все начиналось, и в нас все от них... – Неожиданно спросил: – А вы хотели бы начать жизнь сначала?

– Да. Только без совершенных ошибок.

– Хорошо вы ответили! Да – начать сначала, но без ошибок. Я бы постарался – хоть без одной.

– Без какой, если не секрет? – спросил Макаров. Александр Александрович ответил:

– Надо было писать и только писать.

– Это сейчас вы так думаете, – возразил Макаров. – А вернись все сначала, вы бы снова так «ошиблись»... Ведь то, что вы делали, было общественной необходимостью, и не мог никто из нас от этого отклониться. Вы же сами мне это десять лет внушали...

– Хочу писать, – тоскливо повторил Фадеев. – Надо осознавать все, что произошло. Слишком много пережито, перевернулось...

– И даже вывернуто корнями вверх.

– Вот именно! Приживутся ли снова эти корни? И что скажут о нас в будущем?

– Что мы заблуждались, ошибались, недопонимали, – ответил Макаров, – но никто не сможет обвинить нас в корысти.

– Смогут! – ответил Фадеев. Лицо его потемнело, на нем отразилась боль и отвращение. – Я тут с такой гадостью столкнулся... и эта гадость была адресована мне... Я не боюсь врагов. Но несправедливость – жестокая сила! Она мешает думать, писать, быть самим собой.

– Но все равно справедливость восторжествует, а наветы развеются, как дым, и очень скоро. И книги ваши будут жить! – страстно говорил Макаров. – А знаете, и в моей жизни ваш Метелица сыграл решающую роль: в 38 году моя жена влюбилась в него, а заодно и в меня, и помчалась за мною в армию!

Фадеев пожал ему руку:

– Почему вы мне об этом никогда не рассказывали? – и грустно добавил: Некогда было.

– Скольких людей делали лучше ваши книги, во сколько судеб вошли ваши герои!

Макаров опять перевел разговор на «Молодую гвардию».

– Приходят в журнал совсем молодые, они уж и не воевали – детьми были. Талантливые, дерзкие! Один очень интересный – ему 23 года.

– Кто это?

– Евгений Евтушенко. – Хорошие стихи?

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

– Да. Острые. Ищет... путается, снова ищет.

– Им надо помочь, – сказал Фадеев. – Они не видели того, что видели мы. Они не видели войны с фашизмом – им будет нелегко разобраться.

И пошел разговор о связи поколений, о неумирающих традициях нашей литературы. Закончился он неожиданно. Фадеев сказал:

– Устал я, Саша.

Эти слова были как крик боли – и, не пытаясь больше повернуть разговор, Макаров только попросил Фадеева посмотреть посланную ему рукопись первого номера «Молодой гвардии» и прислать что-нибудь из его писем в следующие номера журнала.

Фадеев пообещал...»

Наступило лето 1967 года. Я жил в Быковке, ездил в Сибирь. Изредка писал Александру Николаевичу. Ответы получал хотя и бодрые, но чувствовал, что дела моего друга на поправку не идут.

Дорогой Виктор Петрович!

Два твоих письма лежали у меня на столе, когда я вернулся из поездки к родным пенатам. Бросил все на полдороге и второго смотался в Калязин, где Наташа вот уж год обещала выступить.

Поехали на машине и прямо с ходу в родную деревню Осташкове.

Пусто в деревне, хоть шаром покати. Отцовский дом, в котором живут, и тот чужим и запустелым веет. Дети у хозяйки выросли, дочь замужем и учителем в городе, и она зиму с нею жила, коров продала, кур вывела – дом не дом, так, строение. А бабушкин дух и вовсе выветрился. Никакого чувства не пробудилось во мне, зашел так же, как бы и в любой дом зашел, – видимо, с возрастом даже воспоминания детства теряют свою власть.

Полуслепая соседка чистит картошку, рассказывает, что сын вот уж два года не приезжает – тот, с которым я и сейчас переписываюсь и которого в свое время Есениным заразил. Живет старуха с дочерью – девицей, рожд. 21-го года, так и не вышедшей, как большая часть ее подруг, замуж – все такие девицы работают тоже не в деревне, а в Калязине, за шесть верст, в «Красном швейнике». Зато теперь не пешком ходят, а на велосипедах ездят. Выходить им было не за кого, да и сейчас в деревне один Юрка-киномеханик, постарше Анкеты на три года, красивый малый и добрый очень, только по доброте своей он еще лет десять назад сошелся с Лидочкой, старше его лет на 16, да так при ней и остался, в прошлом году расписались, теперь воспитывают дочь. Раньше семья восставала против, теперь смирилась. Закормил он нас сметаной и творогом.

Новости в деревне какие? Вчера закопали Аннушку Колпакову, жену первого председателя колхоза, посаженного в 1934 году и где-то помершего, женщину с трагически-черным, дурным глазом. Глаз у нее действительно был дурной. Бывало, пойдешь на рыбалку, встретишь ее на пути – рыбы не жди. А жила она напротив, и никак ее не обойдешь.

Вот и все «деревенские новости». Посидели мы часа два со старухами, порадовались они, что не забываем, и махнули в Калязин. А дорога – врагу не пожелаю – одни колдобины и выбоины, вся исковерканная тракторами. И пыль, пыль, пыль... В калязинском техникуме обрели пристанище в комнате для приезжих, очень милые, хорошие люди вокруг – учителя техникума. Встретился со своим приятелем комсомольской поры, директором модельной фабрики неугомонный человек, думает перестраивать свою фабрику, чтоб оставить по себе память, когда уйдет на пенсию. С утра, с пяти часов копается в огороде, где у него яблонь тьма, и все меня поучал, как надо заниматься в наши годы физической работой. Надо, конечно надо, да где же взять не силы, а возможности.

Ловил рыбу. Берет, как и у нас, лещ, а рыбалка была приличная. А вообще дни шли так: Наташа прочла что-то около семи лекций, а я сачковал, да и мало кого здесь интересуют наши съезды и литература. Ездил на Олексинский ручей, где обычно

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

ловил рыбу, на лодке, на водохранилище, в лес, еще два раза побывал в деревне, ездил в Мышино, в деревню, где живет племянник бабушки последняя родня. Вот человек, который может быть примером, даже пионерам. Пастушит. Увидел нас, затрубил в свою дуду-трубу, строен, загорелый, веселый и довольный, несмотря на свои 60 лет! Похож он на бабушку донельзя, и характером, и лицом, да и на меня тоже, только не характером, а лицом. Выпили мы коньяку, вспомнили о детских годах (в детстве-то я жил возле этой деревни), попрощались с пожеланием встретиться, а может, и навсегда...

Вернулся в Москву с грудой рыбы, жареной и замороженной в холодильнике (езды-то ведь пять часов), и с флюсом и малым, но не прекращающимся нытьем в животе (видно, и мне придется по Эссентукам ездить), и дня два пребывал в какой-то душевной прострации. Пустота деревень, которыми проезжали, как-то особенно легла на сердце.

А тут еще личные огорчения: после зимней болезни что-то мне изменили глаза, газетный петит разбираю с трудом, видно, придется заводить очки, а уж что это за жизнь, «коль мартышка в старости слаба глазами стала». Только сегодня вернулся к Николаевой и с остервенением дописал главу о «Битве и жизни». Хорошо кое-кому возвращаться к воспоминаниям детства – удобней оно и прелестней, а тут идешь как на принудилковку из вытрезвителя.

Вот о тебе было хорошо писать, что-то уж очень родное и близкое, а тут заводы, инженерия... Кстати, статью об Игн. Рождественском, конечно, я читал в «Октябре», просто у меня это не влезало, вернее, лезло, да я испугался, что уже в начале статьи разбалтываюсь так, что конца-краю не видать, и не без горечи я опустил это. Но ты написал и много другого (о газете, о стихе), что не премину использовать, если бог даст дожить до книжки.

Московских новостей не знаю, скрываюсь. Прочел статью Евг. Носова. Уж очень он ее раскудрявил. Мысли-то дельные, но не столь уж новые, а попробуй поймай их в этих кольцах дыма от самокрутки солдатской.

Думаю, что письмо это не застанет тебя, ну ладно, может, и потом прочтешь, а мне же так хочется поговорить с тобой. Август, что ж август, я не меньше его жду, да как бог даст. Марии Семеновне и ребятам низкий поклон. Наташа и мои ребята салютуют.

Твой А. Макаров. В Литву мне что-то не хочется, но надо. Поедем 18-го.

Дорогой Виктор Петрович!

Скучно что-то мне стало, ох как скучно. Десять дней прошло после съезда, а кажется, бог весть когда были эти дни нетворческого отпуска, и снова я в какой-то каше неперedefьываемых дел. Вот уж неделю сижу в Малеевке, а за свою Николаеву и не принимался. То верстка свалилась, то есть не верстка, а сверка уже, ее и читать не надобно бы, а как не прочитать и лишний раз не позлиться – не так бы надо, а вот эдак, да в сверке править не положено. И трепет перед тем, что еще скажут цензоры. А они, возможно, и ничего не скажут, просто уж такое воспитание получил, живу вроде щедринского зайца, которого волк под куст посадил, приговаривая: «Сиди и годи, пока я тебя съем, а, может быть, хаха, и помилую».

Аннета засела за реферат об Авижюсе, и ей хочется дать совет, пришлось прочесть «Деревню на перепутье» – роман не дурен, но ведь имена и фамилии у этих литвинов такие, что язык сломаешь и память не удерживает, да еще и фамилии, и имена на один лад – зовут Викторас, кличут по фамилии Астафьевас, а автор, говорят, то по имени, то по фамилии называет, вот тут и пойми, тот же человек или другой. Потом свалились на голову поэты, претендующие на прием на Высшие ЛК. Десять дён, 28 книжек. Они хоть и тонюсенькие, но все же надо время, чтобы прочесть и разобраться, чем одна отличается от другой. Кстати, между ними и твой кемеровец Баянов, тебе он, помнится, очень нравился. Он и в самом деле прелестный парень, видимо, с очень доброй душой, и стихи настоящие, с деревенской, милой сердцу, тональностью и манерой, причем все это у него не наборная вода, как у Бокова часто, а своя, ключевая. С удовольствием написал ему «доброе пути» на курсы, на которых ему, кстати, побывать надо. Вторая книжка у него не хуже первой, но и не

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

лучше, сердце-то большое, а кругозор маленький. По правде говоря, до сих пор я ценил курсы больше всего за то, что они дают возможность завязывать связи, но вот из разговоров твоих и Знаменского понял, что вы что-то на них еще получали, что они в чем-то стимулировали вас. Возможно, это еще больше относится к прозаикам, с поэтами у меня бывало и наоборот – начинали писать хуже или уходили в прозу. Стихи ведь рождаются на непосредственности, на том, что не ведаешь что творишь, а вот как раскроется механика, так оказывается, и писать-то не умеешь. Впрочем, у молодых поэтов есть то преимущество, что они могут в прозу уйти. А уж прозаикам сунуться некуда. Так-то.

Что делается в Москве – не знаю. Наверное, все еще обсуждается вечер Паустовского, который был довольно с горчицей. Каверин, открывая, заявил, что в литературе у нас есть направления, и назвал Булгакова, и лишь потом юбиляра. В зале запахло жареным. Так и пошло: каждый выступающий говорил тоже с намеками: Яшин – что Паустовский изменил его жизнь, напечатал в «Литературной Москве» «Рычаги», сделал его, Яшина, бедняком, но зато честным человеком. Балтер говорил – плел что-то о трагедии художника, который не может сказать, не знает, что сказать, хотя к Паустовскому это никакого отношения не имеет, это Балтер, десять лет назад написавший средненькую повестушку, не знает, что сказать. В общем, получился этакий оппозиционный вечер, а сверху было сделано все, чтобы он был таким. Ведь это надо же было: к 75-летию ничем не наградить старика. Ясно, что весь зал был настроен возбужденно и «запретное» падало на благодатную почву. И никого из писательского начальства, даже приветствие только из московского отделения.

Нет, ей-богу, мы, наверное, совсем отупели (ты видишь, я говорю – мы, подразумевая, конечно, не вас – провинциалов, а себя как человека, возведенного в ранг члена правления и уже чувствующего себя имеющим отношение к власти). Ты-то, наверное, скажешь: ну и лучше, что поглупели. А мне все-таки почему-то обидно, что делать, старого закала я человек и все еще к сердцу принимаю наши просчеты. Ну что стоило на съезде хотя бы заявить, что вот, мол, было серьезное письмо, и есть предложение передать его на рассмотрение секретариата. Была бы хоть видимость порядочности, тайны не было бы, и то слава богу. «Положительная сторона съезда, – сказал мне один товарищ, – в том, что он обнаружил полную ничтожность нашего писательского руководства».

Благодарю покорно, хорошо эдак острить в литературных кулуарах, но для читателя-то не существует писательского руководства, а есть просто писатели, и он по докладам не о докладчиках судит, а об уровне всей писательской братии.

Здесь, в Малеевке, писателей что-то не видно. Есть Радов, который вот уже три дня пьет, как только уехала Римма; есть Пашка Железнов, стихов которого я не читал с тридцатых годов; есть Таланов, о котором ты, верно, и не слыхивал. Впрочем, в «Жизни зам. людей», кажется, есть книжка о Качалове. Есть его жена – Серафима Бирман – превосходная актриса и умнейшая женщина. Ей 76 лет, но сидеть с нею за столом и прогуливаться – наслаждение: какие воспоминания, и если б только воспоминания, какой острый ум, интереснейшие суждения о современном театре, об актерской молодежи. Жаль, ленив я записывать.

Иудейская война, поначалу всех напугавшая, за два последних дня приобрела какой-то комический характер. Говорят, будто Насер обратился к У Тану с просьбой о перемирии. Дай-то бог, не хочу я (на этот раз я) этой войны, как и никакой войны не хочу.

И какое-то странное, мистическое ощущение у меня от нее – «Перешли Кедрон», «движутся в направлении Тивердиадского озера», «бои у Вифлеема», ведь все это памятные с детства, евангельские названия, по этим местам Христос ходил – в Вифлееме родился, в Иордани крестился, на Тивердиадском озере рыбаков в апостолы вербовал. Вот уж воистину: «неисповедимы пути господни!»

Ну вот и все мои впечатления, и что-то уж очень мое письмо напоминает послание Хлестакова своему другу – а вот еще, а вот еще... А на улице дождь. А Наташа повезла в Москву мою сверку. А я скучаю и, вернее, даже стосковался и по тебе, и по Марии Семеновне – поговорила бы она сейчас про жизнь, глядишь, и стало бы веселее.

Обнимаю вас, счастливые быковчане. Не забывайте нас в своей лесной обители трудов и чистых нег.

Твой А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Вот до чего я дошел, письма написать некогда. Совсем заездила проклятая баба – покойница Галина. Написано 60 страниц, а конца-краю не видать. А нужно два листа. Но приходится все выяснять для себя на ходу, ей-богу, такой искренней конъюнктурщицы еще не бывало. Но как труженик, она не может не вызывать уважения, да и талантлива была, вот тут и крутись.

Из Малеевки вернулся третьего дня, в самом рассвирепелом настроении: работу не кончил, рыба не ловилась, у Наташи флебит на ноге и опять лежит в лежку, да еще хнычет, что ходить не может. Неудобобытные нам попались бабы кипучей энергии хоть отбавляй, беспокойности не занимать, а немощи их то и дело подводят.

А тут лето, вдруг, не успел приехать, вместо 9-10 по утрам сразу тридцать! Жара несусветная, и мозги тают. Очень хочется съездить на Родину, в Калязин, приглашают, не знаю, сможем ли. А 15-го надо ехать в Литву с Аннетой. И выходит, что Николаеву никак мне до отъезда не кончить. А тут еще звонки – юбилейные номера приближаются, и всем чего-то обещаешь. До чего дошло: звонит из «Октября» Стариков, просит прочесть роман Бубеннова, они, видите ли, не могут решить – плох он или хорош. Наташа отвечает, что он, то есть я, член другой редколлегии, у вас, мол, свои есть, а он в ответ: «Нам нужен порядочный человек». Господи! Да неуж так перевелись порядочные люди? Да и не могу я быть порядочным, мне покой нужен и Бубеннова я не люблю.

Сегодня утром взбесился, говорю жене: «Звони по всем номерам, и в «Вопли», и в «Дружбу», ото всех предложений, скажи, отказывается, извиняется, простить просит, но не может, болен, на пороге к издыханию». И на анкеты никакие отвечать не буду – ведь все эти анкеты и споры выдумали, потому что печатать нечего.

И книжку еще цензор не читал, все еще где-то валяется, а у меня там не какие-нибудь безобидные рассказы о деревенском детстве, а все политика про Симонова да про культ. Слово же это ныне для цензоров хуже, чем «жупел» для купчихи Островского, у которой от слова «жупел» все поджилки тряслись. Впг и хочется рвать и метать, а что рвать, что метать, и лошади на дворе нет, а то бы пошел да вдарил, было б на ком злость сорвать. На жену зверем посмотришь, на том и утрешься. Напиться невозможно – и без того в животе нетнет да и поноет. А я труслив, страсть. Да нет, пожалуй, и не трусость даже, а устал от всего, ну прямо вот так устал, как когда-то рабочий поэт С. Воронов, коего Горький в сборниках «Знание» печатал:

Я устал от шума жизни,  
Бестолковой и угарной,  
От кичливости богатства,  
От забитости нужды,  
От продажности и торга,  
От культурности базарной,  
От наивного восторга  
И бессмысленной вражды.

По форме не ах, но по содержанию.. мало что изменилось в нашем мире, разве лишь забитости поубавилось весьма, зато и наглости прибавилось. А дальше, у того же С. Воронова, было уже про вас:

Я ушел в лесную чащу,  
Где, задумчиво-угрюмы,  
Сосны старые толпятся,  
Где кудрявится река,  
Где...

Ну и так далее, про что мне писать нечего, поскольку не белые снега, авось растаяли.

Марии Семеновне низко кланяюсь, и Наташа, она ее целует (тебя пока нет), а вот я целую обоих.

Привет от Толи, Юры, Аннеты;

Твой Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Я все медлил с этим огорчительным для меня письмом: все думал, авось обойдется и приеду к тебе, уж очень мне этого хотелось. Однако человек предполагает, а бог располагает, и милосердный еще не счел достойным простить грешника и продолжает испытывать его животными терзаниями.

В Литву я поехал полубольным, всю дорогу нудно ныл проклятый живот. Не надо было ехать, да нужда погнала. У Аннеты отпуск, и другого случая не было, чтобы ей что-то показать, да и ее работу там проконсультировать.

Встретили нас там хорошо, поселили в комнатах Литфонда – есть у них там тайная гостиница – на случай, если номеров в нормальных не окажется. У Аннеты дела пошли как нельзя лучше, к тому же ждал приятный сюрприз – Наташина книжка про отцов вышла на литовском, а мы не знали. Встречи были редки, на лето Вильнюс писателями беден, все на взморье, но полезны и содержательны – с Беляускасом, Пвугасом. Ихняя «Вечерка» даже дала информацию – вот-де какие гости нас посетили. Съездили в Каунас, еще раз поблаженствовал в музее Чюрлениса. Кстати, в отделе народного творчества Христы очень напоминают пермских, только их искусствоведы, в отличие от вашего пермяка, считают, что он держит руку у лица не потому, что защищается от удара, а потому, что скорбит о делах людских.

Рыба там ловится в самом Вильнюсе, в реке Нерис, за два шага от Союза, плотва такой величины, какой я не видел, и ловится на улиток, которых тут же на прибрежных камнях можно найти в избытке.

Словом, все преотлично, но вот проклятый живот не давал покоя. И пришлось мне вместо первого вернуться только вчера, все ждали, что будет лучше. А за три дня до отъезда так прихватило, что потом два дня лежал в полной прострации и все засыпал. Ну куда мне в таком состоянии ехать? Завтра потащусь к врачу. А вообще хочется только лежать и плевать на все. И как ни обидно, не могу я приехать: хворый гость хозяину в тягость. Эту пословицу я сам придумал, и она мне очень понравилась. Хочешь, продам, возьму недорого. Вот так-то.

Очень я рад, что у тебя пока все благополучно, жаль, что старик болеет. Привет ему от меня, скажи, что я благодарен ему за такого сына, на котором бедные критики могут зарабатывать деньги, да еще с удовольствием и отрадой. А дети, что ж, дети – они теперь какие-то необыкновенные, но я надеюсь, что и тут перемелется – мука будет. Не все же мука.

Порадовало меня, что ты вплотную занимаешься, вернее, собираешься заняться своей «Пастушкой», а там, глядишь, и к роману пора подойдет. Пусть он пока где-то в тебе шевелится незаметно, хотя и ножкой еще не стучит.

Надо ли писать, что это время я не работал, не до того было. Прочел лишь для «Сов. писа» рукопись воспоминаний о Светлове и нашел в одной из них, у какой-то, незнакомой мне, Федосюк утешительные для меня слова: «Я – не Николай Островский. Когда мне плохо, я работать не могу. Вот станет легче, начну писать. Мне еще столько сделать надо». Вот и я начну, когда станет легче. Даже за правку статьи о Николаевой не принимался. Обидно лишь, что все оттягивается статья о поэтах – Жукове (Иванове) и Казанцеве (Томск). Я ведь их расспрашивал. Они вроде обнадежились, а теперь небось думают: вот трепло, только за нос водил. Ведь все-таки, что греха таить, у вас, писателей, мнение о нас, критиках, такое, что пишем мы не по вдохновению, а просто обмакнул перо – и пошла писать губерния. Тебя ведь я тоже с год мурыжил.

Ну пока и все мои огорчения, если не считать еще того, что наш Толя последнее время что-то чересчур взбрыкивает и устраивает сцены. В общем, кисло, тошно и кюхельбекерно.

Да, вот Алигер написала о Светлове прекрасно, чертова старуха, прямо чудо сотворила, прочел я – словно с живым встретился и пришел в то самое состояние

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

моей какой-то ноющей любви к поэту, к этому милому человеку, и боли за него, м. б., самого человеческого и мудрого из встреченных мною в писательской среде, да и не только.

У Наташи вышла книжка, наконец-то. О судьбе моей книжки пока не знаю.

Низкий поклон Марии Семеновне, тайно от тебя целую ее.

Пожелание успехов ребятам.

Твой А. Макаров.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Видимо, наши письма разошлись, хотя по моим расчетам к 11-му вы должны были получить мою скорбную эпистола. Надеюсь, оно не пропало, а вдруг. В нем подробно я описывал и пребывание в Литве, и свою досадную хворь, каковая мешает мне приехать. Повторять все мои lamentации нет смысла. Вы и сами поймете, что для меня значит отказ от поездки, о которой я год мечтал. Но что поделаешь? Опять просвечивали, опять ни хрена не нашли и посадили вновь на престрожайшую диету. Больше они ничего выдумать не могут, а на воды пока не советуют, поскольку непонятен я, и внутренности мои окутаны газами, как планета Юпитер, и разглядеть ничего невозможно.

Вот и кончилось тем, что завтра еду в Тарусу, видимо, на месяц, не сидеть же в Москве, и буду там на пише св. Антония, с предписанием поменьше двигаться» да и куда там двигаться. Разве лишь:

Выйду я на реченьку,  
Сяду на гумно,  
Самому себе я  
Надоел давно.

И взаправду надоел. Не хватало, чтоб тебе еще надоedal.

Новостей у меня никаких. В Москве никого, кроме эскулапов, и не видел, и охоты нет. От них узнал, что Паустовский давно уже плох, сознание просветляется лишь временами.

Ребят своих разгони по работам да не печалься очень, придет пора, возьмутся за ум – жизнь заставит. В том-то их и беда, что жизнь мало чего их заставляла. И больше всего я сочувствую Марии Семеновне, волнуется небось, страдает, а, ей-богу, перемелется, мука будет. Моя ведь тоже после десятилетки учиться не хотела, на фабрику пошла, а потом взялась за ум. Вот только Андрюше армия, наверное, грозит. Это, конечно, не сахар.

Вот так. Поезжай с богом на свой Енисей, взлелеивай своих пастушат и берегись зеленого змия. А главное, изредка пиши мне.

Обнимаю тебя крепко. Марии Семеновне кланяюсь.

Наташа шлет горячий привет, Толя тоже, а ребята мои вновь укатили в Литву.

Твой А. Макаров.

Летом же, по-моему, в июле я еще раз побывал в Москве. Нарочно не давал телеграмму, чтоб не беспокоить и не обременять больного человека. Иду в Домодедове с самолета, подхожу к оградке и слышу: «И чья же это папа приехала?..» Смотрю, за оградкой, в своем неизменном бушлатике, или в бежевой рубашке – не вспомню, стоят Александр Николаевич с Толей и делают мне ручкой. Расцеловались. Я стараюсь не очень пристально смотреть на друга своего – стал как головешка, весь почернел, худ, папиросу уже торопливо не смолит, в кулак не прячет. «Бросил курить. Совсем бросил. И не выпиваю совсем, ни граммулечки. Ладно, вот благодаря вашему приезду хоть за город выбрался, на березы посмотрел, подышал...»

Оказалось, они звонили в Пермь, узнали номер рейса и нарочно выехали за



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

несколько часов раньше в аэропорт, погуляли по березовым рощам, послушали птичек, сена свежего понюхали – кажется, это была одна из последних «вылазок» Александра Николаевича на летнюю природу.

Машина у Макаровых была старенькая «Победа». Александр Николаевич на ней и разбивался – и шрам у него на верхней губе белел от этой аварии, но братец его Толя знать ничего не хотел, шофер «скорой помощи», он привык ездить беспрепятственно и с ветерком.

– Ты мне угрожь еще и Вик Петровича, – ворчал Александр Николаевич, – так рад не будешь. У него нахлебников-то побольше, чем у меня, – кормить не обрадуешься... – И все оглядывался ко мне с переднего сиденья, щупал за плечо, за грудь. – Ну, как вы-то? Вы-то как, дорогой мой? – А в глазах, смотрю, у него слезы поблескивают, и такой он больной-больной весь. – Не начал «Пастушку»-то еще? Не начал? Ах, лентяй! Ах, лентяй! Она не отпустит не надейтесь! Я знаю, боитесь ее – трудная вещь, вот и ждете, когда засохнет. Не дождетесь! Не из тех она вещей. Писать придется. Ну, а харюзки-то как в Быковке? Бочажок-то мой размыло?

Мы так и не смогли в личном общении окончательно перейти на «ты», хотя и понуждались к этому сами и нас понуждали наши жены. Отношения, они что погода, как сложатся, так и сложатся. Можно всю жизнь быть на «ты», подписывать книги «братски дарю» и не испытывать к человеку не только братских, но даже и вовсе никаких чувств, а бывает и наоборот.

Много мы в тот раз и о многом переговорили. Словно чувствовали, что больше не увидимся. Тогда же, в разговоре о человеческой памяти и о человечности вообще, я сказал, что недавно услышал, будто древние называли память «зрячим посохом». Александр Николаевич встрепенулся:

– Зрячий посох! Какое хорошее название статьи или книги!

Ни я, ни он не предполагали, к какой книге и когда пригодится и к месту станет этот заголовок. Неисповедимы пути и замыслы литературные! А у нас в издательствах все еще упорно и настойчиво составляют планы на пять лет вперед, и находятся писатели, что умеют потрафить «плану» и даже написать книгу по «соц. заказу».

Профанация, вовсе уже неуместная ныне, когда часть писателей работает так высокопрофессионально, так глубоко и серьезно исследует действительность, осмысливает жизнь и самую мысль, и литературное движение в стране, упорный поиск в духовном бытии народа, в нравственном развитии общества. Уже от такого недостижимо высокого плода, как самопознание, отдельные художники вкушать начали, потому все эти планирования выглядят до обидного нелепо, как будто «Выхожу один я на дорогу» или «Пророка» можно выдать в плановые сроки. Думаю, что даже сам автор Чингиз Айтматов не мог бы и себе назвать сроки своего блистательного романа «И дольше века длится день», ибо не один день и год вынашиваются подобные вещи. И вообще шедевры пишутся не каждый день и даже не каждый год. Как же быть с ними? Тоже в очередь, в затылок их ставить на пути к читателю?

Конечно, выстраивать литературу по ранжиру и издавать согласно строю: сперва командиров, потом их помощников, потом всех остальных – гораздо удобней, но это уже поток, а поточные линии уместней в промышленности, но не в литературе, если ее воспринимать всерьез.

По закоренелой привычке чем-нибудь удивлять Александра Николаевича я привез несколько заметок и прочитал ему:

«Это случилось недавно в устье реки Амазонки. Охотник на крокодилов, промышлявший в этих местах, вернувшись, показал любопытный трофей. Кроме шкуры убитого им гигантского крокодила присутствующие увидели извлеченный из желудка животного... бронзовый крест «За заслуги» и портсигар с нежной надписью: «Дорогому Вильгельму от Марты». Крокодил, видимо, когда-то вкусно пообедал одним из прятавшихся в Латинской Америке нацистских преступников... Остается надеяться, что обед крокодила был действительно сытным и достался ему не сухощавый пехотинец, а упитанный эсэсовский генерал...»

Можно допустить, что достался крокодилу обыкновенный индеец или мальчик

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

полудиких амазонских племен, выменявший эти трофеи на плоды, рыбу или мясо у путешественников или купивший их, как игрушки, на каком-нибудь пестром рынке маленького латиноамериканского городка. Как бы там ни было, эта заметка из американского журнала «Ньюсуик» обошла всю мировую прессу, не минуя и нашу, самую благодетельную, где каждый день, из номера в номер утверждается, что человек человеку друг, не глядя на его вероисповедание и темное прошлое, и где порой, как следствие этой аксиомы, в скромном уголке, набранные петитом, появляются заметки такого рода: «До сих пор жители села им. Бабушкина вспоминают тот трагический день, когда погиб их односельчанин Н. П. Репин – участник и инвалид Отечественной войны. Преступники – однофамильцы Даниловы, оба не раз прежде судимые, люди без определенных занятий. В тот день они с утра пьянствовали. А затем повстречался им Репин. Даниловы пытались отнять у него часы, чтобы продать их и выпить на вырученные деньги. Пенсионер не испугался двух здоровых мужчин, оказал сопротивление. Тогда А. Данилов, скрутив жгутом рубаху, накинул ее на шею Репина...»

И далее в этой унылой, спокойной рукой написанной заметке сообщается, что одного Данилова приговорили к расстрелу, другого к двенадцати годам...

На первый взгляд, никакой связи нет между двумя заметками – небо и земля! Америка, да еще Южная, и Россия, да еще и северная, ан нет! Потолковали мы, потолковали с дорогим моим критиком и пришли к выводу – есть! И то, и другое идет от пренебрежения к человеческой жизни, от неуважения и бестрепетности перед смертью, порожденной, кстати, не фашистами, а до них, и более всего слугами Христовыми. Усмиряя вольную Фландрию, великий инквизитор Торквемада воевал на белом коне, велел выгнать население, впадшее в «ересь», к дорогам и, объезжая коленопреклоненных мирян, разбивал им головы дубиной, бил по выбору, чаще детей, женщин, стариков, чтоб запомнилось устрашающее, карающее действие, бил долго, отдыхая в пути, потребляя крепкую и обильную пищу, чтобы могучие его силы не иссякли, бил после долгих молений, целований креста, и за один выезд разбил тысячу черепов, после чего Фландрия сразу стала истово верующей во Христа и несколько столетий шелестела тихими молитвами, дрожа осиновым листом при одном только упоминании карающего всадника на белом коне.

Фашисты лишь продолжили темное дело черных душ и Христовых слуг, а вот и результаты: по улицам многих цивилизованных городов сего беспокойного мира ныне люди боятся ходить, опасаются друг друга, и в особенности молодежи, враждебной, злобной, подгулявшей или нажравшейся какого-нибудь дурманящего зелья, жаждущей развлечений и крови; сытым молодцам нужна кровь и хоть маленькая война, а если ее нет, то хотя бы описания насилий или «смешных» историй в газетах о том, как крокодил сожрал человека, как два молодца повесили односельчанина на родной сельской березе, под которой когда-то их отцы вместе играли в городки, бабки и мячики.

Но подлость не всегда бывает кровавой, она может быть почти ласковой. Недавно из Норильска в вологодское село, где я часто бываю, сынок прислал на похороны матери пятьдесят рублей. У старухи кроме сына не было родственников, и хоронило бедную женщину «опчество» – ее старенькие, немощные подружки, и как же они были удручены поступком сыночка покойной, выбившегося в люди, получающего большую зарплату, да еще и с «северным наваром». И с торопливой, почти суеверной надеждой толковали друг другу, что у них дети «не такие».

Другой «сынок» оказался более заботливым и предприимчивым. Не желая забрать из деревни старенькую мать к себе – некуда, жилплощадь всего три комнаты на троих! – он ее, безграмотную, полуслепую, бросил на областном вокзале в надежде, что ее подберут в домработницы, в няньки, сунув в карман старушечьей жакетки такую вот записку: «На прокорм легка и не вредна».

Я иногда жалею что у нас отменена порка – автора этой записки я порол бы лично, отложив на время писательское перо.

– Так что же это выходит, Вик Петрович? – съязвил, лежучи на постели, больной и страдающий критик. – Как же быть с российской жалостью? С той самой, которую вы и ваши верные друзья, да и я тоже, так хорошо помним, лелеем и воспеваете?

– Не знаю, – ответил я. – Многие устойчивые понятия пошатнулись во мне, сдвинулись с места... «На дне души светло и виновато лежат осколки дружбы и любви», скорее – лежит скарб и тряпье, и не в душе, а в утробе, как в ларьке

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

утильсырья. Мне стало сложно жить и работать, и я по-иному теперь читаю слова Тургенева о том, что «жизнь – это тяжелая работа». Иной раз мне кажется, что даже на фронте было легче, ну, может, и не легче, а проще – это уж точно. Я начинаю завидовать обывателю, его спокойной, самодовольной и невозмутимой жизни. Вот послушайте, что я накарябал об этой самой российской жалости, для себя накарябал.

«...И не откуда-нибудь, а с крестьянских дворов, из деревень российских, где, обнаружив убиенного, дабы умаслить строгие власти, «догадались деньжонок собрать», на лопатках мужицких, грязью налипшая, придет в «питеры» и даже царских врат и палат достигнет мужицкая трусоватая и дешевая жалость, уверенная в своей силе и непорочности. И – ой! сколько светлых русских голов, не боящихся ни цепей, ни польмя, ни казематов и сырых крысиных ям, сломится и падет перед нею ниц с раскаянным рыданием.

Не она ли, эта российская жалость, переросшая в царскую милость, на минуту до смерти обрушится на нашего гения и страдальца словами: «Даруется жизнь», и он, припадочный, больной неизлечимо, столь зла и ненависти познавший, вернувшись с каторги, замечется вдруг, переставши различать границы зла и добра, и сколько сил, титанической пере напряженности, надсады ума будет стоить ему восстановление размытой слезами миления невидимой черты меж добром и злом».

– Да-а, если так дальше дело пойдет, вы, чего доброго, в тупик залезете и писать бросите, – огорчился Александр Николаевич. – Не усложняйте-ка, не перемудряйте-ка себя. Есть в мире вечные, незыблемые истины: жизнь и смерть, любовь и ненависть, совесть и честь, обязанность и труд, и между этими простыми понятиями – все остальное. Наверное, надо быть в главном твердым: добро это добро, зло – это зло, утверждать первое и бороться со вторым. Вот и все. Понятно?

– Ну еще бы! Как в пионерском отряде: «Это наши, это – ихние. Все наши самолеты – соколы, все ихние – стервятники, все наши бойцы – герои, все ихние – трусы».

– Эх, Вик Петрович, Вик Петрович! Теперь я понимаю, почему вы не можете начать «Пастушку» – подзапутаться боитесь. Да ведь распутаться-то литератору дано лишь в работе, в осмысливании себя в мире, жизни своей, действительности, нас окружающей. Сами же везде и всюду пишете: «Раз в такое время родились», «раз такое нам время выпало...» – это не значит, конечно, раз такое время, тут уж на все надо махнуть рукой, не заставляя себя, свои мозги трудиться... «Нет ничего капризнее недомыслия, когда оно взбудоражено, и вдобавок чувствует, что в его распоряжении находится людское малодушие и людское искательство. Оно не уступит ни пяди, не задумается ни перед силой убеждений, ни перед логикой, а будет все напирать и напирать. Оно у всех предполагает ответ готовым...» Ну, это я вам уж своего любимого СалтыковаЩедрина начал цитировать. А коли я сяду на этого конька, то и не слезу. Пойдемте-ка на кухню. Шум был, беготня, собаку затоптали, звон битой посуды слышался. Результатом этой буйной деятельности мне явится морковный супчик в керамической черепахе и две ложки жидкой каши, а вам, глядишь, чего-нибудь и посущественней отломится.

Тут хозяин, что-то очень уж заметно шепелявящий, взял некую посудину с окна и вставил пластинку в рот, изготавливаясь к обеду, а я от провинциального простодырства воскликнул:

– Не может быть! Этакий грозный критик – и со вставными зубами?!

И сник мой критик, совсем потускнел, голову повесил. Наталья Федоровна налетела на меня в коридорчике курицей-паруньей:

– Ну, что вы, ей-богу, Виктор Петрович! Саша так переживает из-за этого протеза, из-за ранней старости, слабосилия...

Мне еще далеко было до пятидесяти, я еще не знал, что это такое полвека.

Александр Николаевич смеялся:

– Попрыгайте, потрясите кудрями! Он кудрями потрясет, нам по рюмке поднесет. Брякнет полста, перестанут вам подносить, а вы перестанете насмехаться над нами – стариками...

Но вся беда или отрада была в том, что я не воспринимал его как старика, обращался с ним в житье как с ровней, делая лишь некоторую скидку на хворобу, да и о ней часто забывал из-за его неунываемого нрава, постоянной готовности к шутке, к смеху. Не видел я его вовсе поверженным, смятым, он оживлялся при мне и оживал, и хорошо, что не отпускал от себя, последнее время совсем не отпускал, даже на маленькие хитрости пускался, и я благодарен покойному за то, – в Москве я чувствовал и чувствую себя потерянно, чужо, быстро устаю от многолюдства, трепотни, часто пустой и злобной. У меня возникает тараканье желание забиться куда-нибудь в щель, где потеплее. Вот и забивался, и слушал, очень многое «прошел» благодаря мудрому, ненавязчивому общению со старшим другом, да и учителем тоже.

Но шутки шутками, литература литературой, а дела у Александра Николаевича со здоровьем шли все хуже и хуже.

Вот и пришло от него последнее письмо, затем из Болгарии еще поздравительная открытка, бегло и наискось написанная слабеющей рукой.

Но я не знал, что они последние, и даже как-то не думал о том, что Александр Николаевич и слова «последний», «последнее» могут иметь какое-то отношение друг к другу.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Вот я и пишу свое первое произведение после болезни еще не покинувшей меня.

Ну что тебе сказать? Худо. Резали меня, вынули несколько камней, потому что у меня началась желтуха, и вообще уже было все равно. Из всей операции запомнилось то, как хирург трясет меня и чуть ли не колотит, и кричит: «Ал. Ник. Операция кончена». А я ему хочу ответить: «С чем вас и поздравляю», но, видимо, только хочу, а не могу, поскольку он продолжает трясти. Наконец, я что-то промывчал и вернулся к жизни. И тут же подумал – жаль, опять начнутся всякие истязания. И не ошибся. Вначале в хирургической палате меня буквально истерзали т. н. капельницей – втыкают тебе в вену иглу, а от нее шланг к банке, привешенной к столбу, и оттуда вливают литра два, а то и четыре всякой муры – плазмы, антибиотиков, физиологической жидкости, и все это по капле часа четыре, а то и пять вливается в тебя. И так две недели. Потом перевели в терапевтическое отделение, где уже ничего не вливали, а только кололи. Лежали там почти одни только инфарктники, целый день и ночь открывались окна, пока я не схватил воспаление легких. Но и это кончилось. И тогда Наташа забрала меня домой, где я и валяюсь вот уже три недели, пробуя иногда работать, иногда гулять, иногда есть. И все без охоты. Какое-то стабилизированное состояние ни хуже, ни лучше. Самое забавное то, что живот-то не перестает болеть, как ныл, так и ноет целый день, разве что сделают укол.

Стал лечиться у гомеопата, веселой и бодрой старухи лет 80-ти, известной всей Москве, – Абашидзе, которая, во-первых, сказала, что резали меня зря, и хотя и вытащили пять камешков, можно было и с ними жить, поскольку к моей болезни это имеет малое отношение (если вообще имеет), а во-вторых, по ее рецептам я каждый час глотаю какие-то одинаковые крупинки под разными названиями.

Дошли слухи, что в Болгарии такие болезни вылечиваются. Наташа развила бурную деятельность без моего ведома, и оттуда пришли сразу три вызова: от Общества болгаро-советской дружбы, от Союза писателей и от министра культуры, Павла Матева (он учился у нас в Литинституте). Паспорта получены, деньги обменены, и вот завтра мы летим в Софию. А зачем? Но уж теперь не отступишь, когда все и вся взбулгачили. Но ведь там примутся лечить по-своему, а что мне делать с гомеопатическими лекарствами, которые мы все же набираем с собой. Поистине черт те что. Ну да пусть идет, как идет, – этой любимой Тургеневым поговоркой я всю жизнь и живу.

Большое тебе спасибо за твои письма, особенно за те, что ты писал, пока еще ничего не зная о моих злоключениях. Уж очень они были хороши, и меня радовали тем, что бродишь ты там по енисейским крутояркам. Когда-то ведь там стоял Чехов и думал: «Какая чудесная жизнь со временем осветит эти берега». Вот видишь, и осветила; воздвигли Красноярскую ГЭС.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Вернемся ли к празднику – не знаю. Командировка у меня на полтора месяца, а виза вообще до марта. Ну да больше месяца мы там не просидим, не вытерпим, а уж пойдет ли дело на лад или нет, один бог знает. Или опять придется вернуться к моей гомеопатичке, которая обещает меня вылечить за два года.

Но если у меня все так же будет ныть брюхо, вряд ли я эти два года прожду. Я ведь нетерпеливый. А впрочем, что я могу сделать? Как писал когда-то поэт-конструктивист Н. Туманный (теперь он пишет, как Н. Панов, приключенческие морские романы: «Боцман с «Тумана» и др.). Так вот, как он когда-то писал:

Сам я револьвера не имею,  
Вешаться ужасно некрасиво,  
Яд дают в аптеке по рецепту,  
Прыгнуть в воду не хватает сил...

А ты, наверное, уже в счастливой Аркадии, кою, как известно, населяли именно пастухи и пастушки. Дай бог успеха.

Молодец, что не приехал на пленум, как мне передавали, скука смертная.

Напиши, но все же на московский адрес. Можно бы и на Софию, Союз писателей, но по своему опыту знаю, письма туда идут недели три, и ни к чему это. А я тебе напишу оттуда обязательно, о своих впечатлениях, хотя какие впечатления в Софии, где я уже был и, кажется, все переглядел.

Кланяюсь Марии Семеновне. Привет Андрюше и Ирине.

Все мои тебе шлют поклоны, а я обнимаю тебя. Вот так-то.

Твой А. Макаров.

Да, книжка моя вышла, но пока вот у меня есть один всего экземпляр, брошюруют литературу к 50-летию.

Твой А. Макаров.

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю тебя и Марию Семеновну с 50-летием революции. Желаем провести сей день в добром здравии и веселье.

Наташа, А. Макаров.

Потом долго не было никаких вестей. Я писал в Москву, беспокоился. И вот получил письмо от зятя Макаровых, Юры, хорошего, скромного парня и добряка большого.

Уважаемый Виктор Петрович!

Большое спасибо, что Вы нас не забываете. Вы прислали уже два письма, но, к сожалению, Александр Николаевич их не может прочесть.

Дело в том, что его недавно оперировали и он сейчас находится в тяжелом состоянии. Наши женщины совершенно расклеились, поэтому Вас пускай не удивляет, что письмо пишу я. Что касается диагноза, то это одному богу известно, ведь недаром говорят, что сколько врачей, столько и мнений. Александр Николаевич знает, что Вы ему прислали письма, и велел передать, что ответит Вам, как только ему станет лучше.

Вы, наверное, удивлены, что я не писал, по какой причине оперировали Александра Николаевича. У него началась желтуха, которую, по мнению врачей, можно только ликвидировать хирургическим путем. К сожалению, задета печень была и ему сделали чистку желчных путей. Оперировали его более двух часов. После операции приключилась еще одна беда – он заболел воспалением легких.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Сейчас Александру Николаевичу стало немного лучше. Дай бог, чтоб он скорее выздоровел.

Желаю Вам всего наилучшего. Передайте большой привет Вашей жене и детям. Женщины, Толя, Карай посылают Вам горячие поцелуи, если Вы не будете против, то и я с удовольствием к ним присоединяюсь.

Юра.

Это письмо на меня так благотворно подействовало, так успокоило, что я, еще какое-то время поболтавшись в Перми, переделав все «мелочи», освободившись от текучки, ринулся в Быковку с жадным желанием засесть за так давно и неотступно мучавшую меня повесть «Пастух и пастушка», втайне надеясь, что этой работой пораду и Александра Николаевича, который боялся, что я упущу «миг», повесть «состарится», замрет в душе и «отсохнет», как это бывало уже не раз и не у одного меня, хотя и твердил, что не отстанет, не отстанет, а все же боялся, ибо лучше меня знал, какие могут вещи приключаться в литературе и в жизни литератора.

Ему, да и мне, замысел повести был дорог. После того как я однажды рассказал всю повесть «наизусть», Александр Николаевич считал, что мне стоит только сесть и записать рассказанное, ибо повесть уже готова, сложилась, но я, лодырь, не хочу этого делать, предпочитая рассказывать «сказочки» и вообще отлынивать от стола.

Вот я и в Быковке. Один. Топлю печь, пою песни, играю со Спирькой, который без ума от того, что появился хозяин, и от, восторга чувств даже описался при встрече. На дворе осень. Поздняя.

Дураковатая и чудная была осень шестьдесят седьмого года на Урале. Начавшись, как положено ей начаться, покончив все свои дела в лесу, на пашнях и огородах, отбушевав листом, дождями и ветрами, распрощавшись с отлетными птицами и выдав заморозок, а потом и снег, осень вдруг задумалась о чем-то и забыла о своих сроках и делах. В сырой лени, знобкая, дремала осень в голых лесах, на голых лугах, полянах, и большая, всеобъемлющая тишина лежала вокруг. На Камском водохранилище не было чаек, не кружились ласточкибереговушки, не визжали стрижи в заоблачье, не чиликали трясогузки, лишь воронье лохмами сажу болталось по серенькому небу и падало в мокрые ельники, да канюки нехотя кружили над полями, без криков, стремительных падений на землю, кружили и кружили как неприкаянные, уснув в медленном полете. Веселились и оживленно чирикали щеглы, перепархивая по репейникам, да синицы из лесов перелетели к жилью, прижавшись к деревушке, и одна из них приспособилась ночевать в выгнившем углу моего дома и перед тем, как заснуть, долго шевелилась, царапала коготками над моей головой и, постукивая клювом, выбирала в пакле и гнилушках спрятавшихся на зиму мошек и мух.

Славно, ходко работается, когда вся вещь выношена до мелочей, когда она измучила тебя и озлила до того, что, освобождаясь от нее, ты чувствуешь облегчение от гнета, ощущаешь в себе светлую пустоту и свободу и, как мать, дивуешься на малое, беспомощное дитя, чуть пищущее беззубым ртом, глядящее бессмысленным туманным взором, напоминающее красную, голую, словно обваренную зверушку с криво завязанным крупным пупком, на середине которого насохла, запеклась твоя родительская кровь. Ой как много еще надо сделать, чтобы из этого чуть шевелящегося, полуслепого и беспомощного дитяти получился человек, чтоб встал на ноги и пошел в люди...

Далек и сложен путь книжки к читателю, путь, похожий на человеческую судьбу, и не случайно получилось у меня это сравнение. Я где-то понимаю графоманов и не удивляюсь их упорству в труде – они ведь тоже переживают радость творчества, восторг ожидания, а если получится дитя недоделанное, уродливое, порой без глаз и носа – это уж дело шестнадцатое – свое дитя все равно всех любимей, так же, как и «моя мама всех красивей!»

Черновик повести я написал за три дня. Не говорю о голове и о сердце, в каком они были состоянии, могу сказать, что даже рука у меня занемела в кисти, и на пальце у меня получилась мозоль от ручки.

«Так писать нельзя!» – говорили мне добрые люди. И сам я знаю, что нельзя, но иначе не умею. Слоняюсь месяцами, ничего не делаю; убеждаю себя научиться работать и отдыхать планомерно, однако как дело доходит до работы все полетело

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
вверх тормашками: и сон, и покой, и добрые намерения.

Вообще-то все работают по-разному. «Всяк дурак по-своему с ума сходит», вот и все, что я могу сказать о работе писателей, которых знаю. Вижу и знаю теперь, проработав в литературе тридцать лет, что учить писать – это все равно, что учить делать детей, то есть низвести интимную тайну до общего обозрения и применения, что ли, но и это ведь ничего не даст, у всех ведь еще свой характер, темперамент, физиология, мудрость, дурость – и то своя! И от нее, от дурости-то, да еще от многих непонятных вещей и происходит то, что называют уважительно – тайнами творчества, – и, не боясь повторений, добавлю: тайна творчества так же непроста и дает такое же редкое счастье, как тайна рождения человека. Я и теперь, уже несколько усталый от жизни и лет своих, с прежней запальчивостью предпочитаю судьбу великого певца – Марио Ланца, который, закончив арию легкомысленного герцога, вероятно, уже с остановившимся сердцем, вышел за кулисы, упал и умер. В тридцать восемь лет! Но его жизнь мне дороже и ближе, чем жизнь одного редкостного влюбленного в себя майора. Он до самой пенсии работал в одном из мрачных отделений Бутырской тюрьмы смотрителем, жил неподалеку от «производства», на Каляевской улице. В силу изменения общественных, внутригосударственных ситуаций – его «предприятие» снесли под корень, и он, оставшись не у дел, досматривал семью свою и держал домашних в напряжении, будто зэкун в Бутырке, и до того берег и лелеял свою бесценную жизнь, что обжаривал хлеб на сковородке, обваривал кипятком зеленый лук, ел из отдельной посуды, чтобы, боже упаси, никакая общественная «микроба» не попалась, не подточила бы его здоровье. В своих собственных глазах он сделался столь драгоценен, что всех остальных ставил ниже навозного червя. Привычка к обесцениванию человеческих жизней, угнетение их неволей и подчинением на протяжении многих лет дали столь закономерный результат. Кончил, однако, майор свои дорогие дни в муках мученических – и яростная самосанитария не помогла – умер от рака, и никто его не помнит, не поминает добром, даже дети родные.

Не-ет, лучше уж допеть свою арию, закончить ее, пусть и на последнем вздохе.

Разрешившись в три дня черновиком в сто двадцать страниц, совершенно обалделый и счастливый, я оглянулся вокруг и обнаружил, что нахожусь на Западном Урале, в деревне Быковке, в своей избе, которую думающие обо мне хорошо городские знакомые именуют дачей, в избе давно не топлено, на часах десять утра и, значит, последнюю ночь я вовсе не ложился спать (нехорошо жена будет ругаться!), но ее, жены, слава бор, тут нет и я один и что хочу, то и делаю! «Гр-р-роми захватчиков, рр-ре-бята-а!» – заорал я и стал затоплять печь. Дрова сухие, березовые, печка железная, колено трубы вставлено в раструб русской печи – гудит сооружение огнем, потрескивает – в избе веселее и теплее делается. И тут я услышал громкие рыдания во дворе: в порыве творчества забытый мною вовсе пес мой Спирька ревел на всю деревню, запертый под крыльцом. Я добежал во двор и услышал, как Спирька бьется в своей каюте, которую мой отец, «просоленный моряк», звал – «губахтой». Я отворил дверцу, и, чуть не сбив меня с ног, Спирька бросился с «губахты» на меня и от радости поцарапал мне когтями брюхо.

Я был довольный и счастливый, заголил рубаху и спросил: «Что ты, зверь, делаешь?!» Спирька лизнул меня в брюхо своим горячим сиреневым языком, впереди меня ворвался в дом и загремел чашкой, в которой я ему приготовил еду, но забыл ее вынести.

У меня кончился табак, хлеб – все, кончилось, и, главное, хотелось поскорей домой, прочесть черновик жене, позвонить в Москву и похвастаться Александру Николаевичу, как я тут ударно работнул. Но попасть домой было не так просто. Пароходы ходить перестали, лодки вытасены на берег, лед не встал, да и заберег-то еще нету, снег раза четыре уже выпадал и снова оплывал, затаившись лишь по ложкам и буреломникам, а его со всех сторон просасывало, точило, уносило, растаскивало, мокреть тяжело висела, брызги воды не светились, а свинцово падали, бились о пластами слежавшиеся на земле листья.

Слышал я, будто на воде оставлена Сылвенская переправа – такой белый катерок, почему-то кинутый на Камское водохранилище с Енисея, и везде у него по стенам цветные фото родных мне, сибирских видов. Столбы: «Дед», «Перья», «Колокол», и даже в одном месте излучина реки снята, а по ней, с букашек величиною, рассыпаны избы моего родного села Овсянки.

Привязал я Спирьку за речкой, у бабушки Даши, на постой, и под горестный его

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

плач, с черновиком в рюкзаке, стриганул на участок Быковская база, куда этот самый катерок, по слухам, еще захаживал.

«База!» – пришло же в голову кому-то такое название! Располагаясь в устье реки Быковки, спертой подпором водохранилища, была здесь плоточная гавань; сам поселок, по пузо в грязи, пьяно валялся меж двух косогорьев разъезженных, раздрызганных гусеницами тракторов, заваленных железом, проволокой, гниющими лесоотходами.

Пустынно было в устье Быковки, тихо в поселке – сезон всюду кончился, всякий люд, как рабочий, так и праздный, покинул сии берега. По водохранилищу гнало мелкую волну, и она позванивала обломками тонкого льда по всему заливу, шевелила осклизлые бревна, брошенные у берегов и по берегам. У одного костерка на берегу сидело человек с десятков народу: мальчик в легкой, даже легкомысленной по такой поре курточке, старик с батошкой, несколько работниц стеклозавода, живших по одну сторону водохранилища, работавших по другую, на станции Сылва. И еще была там в шляпке канареечного цвета, аляповато покрашенная молодка не молодка, девка не девка, словом, женщина неопределенных лет.

Я спросил насчет переправы. Старик шевельнулся, пристально, словно бы изучая, всмотрелся в меня и сказал:

– Кто е знает? Вчерась была. А будет ли седни?..

– Будет, будет! – затрещала дама в канареечного цвета шляпе. – На той стороне нету, значит, в Троицу ушла, а из Троицы обязательно завернет. Как им не завернуть, они же знают же, тут же ж люди...

– Завернут, когда не напьются аль настроение будет, – мрачно заметила пожилая работница стеклозавода, хорошо, видать, изучившая нравы местных флотоводцев.

Сидели долго. Одна из женщин принесла топор, мы с нею попеременно перерубили сухое бревно, накатили его на было утихший огонь, и костер наш затрещал и оживился. Мальчик, отогревшийся возле огня, то и дело убежал из зауевя за каменный бычок» выглядывал катер, но скоро, обожженный холодным, сырым ветром, возвращался к огню и уныло ронял:

– Нет, не видно. – И почему-то виновато глядел на меня при этом.

Где-то я видел этого мальчика, но где, вспомнить не мог. Скорее всего на Винном Заводе, что по ту сторону Быковского залива, и, значит, мальчик перебирался сюда по скользким, обледенелым бревнам полузатонувшей гавани, там нырнуть – раз плюнуть. Гнала какая-то большая нужда мальчика в летней спортивной курточке на ту сторону или в город.

Мальчик еще раз нетерпеливо выбежал из заустенья, выглянул за каменный бычок и, как бы не веря самому себе, тихо уронил:

– Есть! Идет!

Все мы – набралось народу уже более десятка – выбежали за бычок, чтоб нас видно было, и замахали кто чем мог, а то еще, чего доброго, минуют нас товарищи речники со своим судном.

И катер сделал вид, что проходит мимо, но потом нехотя, как-то по-лебяжьи царственно развернулся, вошел в заливычик, ткнулся в отмель метрах в восьми от берега и прямо в воду выбросил трап.

Народ заметался по берегу, кто в ботинках, кто в кедах, кто в коротких сапожках, умоляя матроса, надменно стоявшего на носу, и капитана, нахохленно чернеющего в рубке, опершегося на руль и глядящего мимо и выше нас, в какието свои, зовущие дали, – сойти с отмели, пристать чуть ниже, пусть и на ветру – мы готовы стерпеть и холод, и ветер, только чтоб переправиться, или, наконец, к бревнам гавани притиснуться – пусть и скользко, и опасно – мы на все готовы.

Но на носу возле трапа стоял каменным изваянием матрос, и презрительная, пьяненькая улыбка трогала его изветренное, рано постаревшее лицо, и все так же смотрел в заманчивые дали товарищ капитан, который, как только истечет срок



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

стоянки – пять минут, даст какую-то заунывно-привычную лагерную сирену и, сердито фыркнув мотором, отчалит восвояси, и плевать ему на этот гомонящий народишко, что копошится и волнуется на берегу. Навигация кончилась? Кончилась! Когда она кончилась? У всех добрых людей еще в октябре. А сейчас какой месяц? Декабрь! Второе число! И что? Его вина в том, что там, вверху, перегреблась вся эта небесная канцелярия и забыла о заведенном на земле порядке? Зиме быть пора, льду быть пора, а тут вода, и начальство заставляет плавать. Заставляют – пожалуйста! Плевать! Не он убавлял воду, опять же она, эта разгребанная небесная канцелярия, стало быть, пусть она и отвечает за переправу...

Нет, не мог ни неистовый паршивец-капитан, ни его завшивленный забулдыгаматрос убить праздник в моем сердце. Я четырнадцать лет носил под ним повесть, она там шевелилась, что горячее дитя, не давала мне спать, жить: И вот я опростался от нее, и легкость во мне необыкновенная, ибо без вина я пьян от самосотворения, что ли, и я сказал себе: «Хрена, товарищи водники! Мы Гитлера уделали, уж вас-то как-нибудь заломаем!..» На мне были сапоги с длинными голенищами, я их развернул и, подставив спину, сказал мальчику:

– Садись!

Интеллигентно воспитанный мальчик проявил нерешительность, но его начали поощрять, шикать на него, и он робко взобрался на меня, обнял за шею голодными, худыми руками. Я побрел по воде и, свалив мальчика на трап, пошел за стариком. Тот долго кряхтел, бормотал что-то, взбираясь на меня, наконец угнездился и скоро уже на карачках, хватаясь за поперечины трапа, полз вверх.

– Жми, дед, на басы, деревня недалече! – кричал, похохатывая, матрос.

Дед взобрался наконец, встал на ногу катерка, покачал головой и плюнул себе под ноги. «Измельчали старики. Мой бы покойный одноглазый дед сей минут огрел бродягу батоном и в выраженьях не поскупился бы. Эх, времена, времена!.. И нравы!»

Ну в самом деле, где еще, в какой цивилизованной стране можно увидеть такую вот картину: стоит пассажирский катер, мужик на себе таскает пассажиров, тот, кому следует их обслуживать и уважать, издевается над ним и над пассажирами, капитан же, его непосредственный, так сказать, начальник, смотрит вдаль и о чем-то пространственно мечтает, не замечая куражу и даже торжествуя, что на нас отводит поганую душу его подчиненный. Летом эти молодцы забавлялись так: пристанут, возьмут людей, там, с горы, глядишь, трусит старушонка, бренчит бидоном – за керосином собралась, на спине ее громоздкая котомка: с продажей и с гостинцами дорогим деткам – в город. Катер стоит, ждет, но как останется бабке бежать шагов десять до трапа, капитан крутанет сирену, матрос лебедкою поднимет трап, да еще крикнет потрясенной бабке:

– Следующий раз дольше спи!

Уж меня ли удивлять отечественным хамством! Мне ли неизвестно «культурное» наше обслуживание пассажиров на суше и на воде – сам железнодорожником был. Но даже мои земляки – енисейские разбойники – мелко плавают по сравнению с камскими водниками, особенно на местных линиях. Асы! Они словно бы учились в спецшколе, где слова: «вежливость», «уважение», «культура» – выворачиваются, словно бросовая шуба, грязной овчиной наверх.

Последней тащил я даму в канареечной шляпе, и она отчего-то все егозила на мне, повизгивала, грея мой загривок шлепком и горячим местом. Чтобы поугагать нас, что ли, капитан крутанул сирену, дал полный газ, заработала было лебедка, поднимая трап, но я бегом достиг трапа и свалил дамочку на него, а сам уцепился за конец; матрос милостиво подождал, когда мы взойдем на палубу. Наверху, у кассы, доставая гривенники, все меня встречали будто героя, благодарили, и я, запыхавшийся, счастливый, шутил, ободрял народ и даже хлопнул крашеную дамочку по мягкому месту, отчего она игриво ойкнула и повела жгучим взглядом, в нос напевая:

– Знать бы, на каком таком веселом мужчине мы ка-атали-ся?..

– А на писателе! – бросил матрос, пробегая мимо кассы. И испортил песню, дурак! Интеллигентный мальчик посинел еще больше, старичонка уставился на меня, как на

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
новоявленную икону чудотворного спасителя, дамочка в канареечной шляпе  
попятилась и отчего-то сразу зашепелявила, начала просить прощенья:

– Ой, извините! Извините, пожалуйста!..

– Да чего там? Все мы свои, все советские люди! – пробовал я направить людей на  
прежний, беспечный лад. – Сегодня они нас, завтра мы их... обслужим.

– Нет-нет, что вы! – настаивала дамочка. – Мы слышали, что здесь где-то живет и  
работает писатель, но вы так просты с виду и в обращении. Уж извините нас... – И  
вдруг взвилась: – Негодяи! Тут такие люди ездют, а они издеваются!..

Ушел я вниз, ближе к клацающему мотору, думая о живучести сюжета обожаемого  
Александром Николаевичем классика. Все тот же примитивный вроде бы и бессменный  
у нас, на Руси, да у арабов, наверное, только и возможный Тонкий и Толстый. Не  
раз и не два ругал меня и еще кого-то обитатель Винного Завода, умнейший  
человек, ныне уже покойный, Борис Никандрович Назаровский, тоже бредивший  
Чеховым: «А вы что, одно сладкое хотите получать от чтения? Чехов на «сладкое»  
не годится. Читая его, неловкость испытываешь за окружающую жизнь, за людей, за  
себя, начинаешь ощипываться, заглядывать в себя, застегнута ли ширинка –  
проверять. Его глазами жизнь видишь – во какая сила убеждения! И всюду находишь  
подтверждение тому, что он изобразил «фактологическую сторону жизни», – как  
сказали бы нынешние велеречивые литературоведы; вроде пьяного мужика всюду  
натыкаешься на забор, рыло занозишь, нос разобьешь, исцарапаешься об эту  
«фактологию». И все это тихонько, ненавязчиво поведает грустный, страдающий  
тебе, но в то же время и вкрадчивый Антон Павлович – ждешь-ждешь, когда душу  
сладко знобить начнет, сердце заноеет от роковой любви и счастливого конца, а он  
или разрыдается вместе с тобой, или все в тот же грязный забор мордой. Вон он  
какой, застенчивый доктор в пенсне, с бородкой провинциального семинариста.  
Среди наших могучих и беспощадных писателей, быть может, более всех беспощадный.  
Но уж и страдающий сильнее многих – это совершенно точно».

«Вот приеду в Москву и порадую Александра Николаевича разговором с Борисом  
Никандровичем, и про случай на переправе расскажу. То-то распотешу критика!..» –  
думал я, подремывая на катере.

На этот раз или замерзли водники, или надоело им измываться над нами, перешли  
водохранилище быстро и враз учалились, а то раза по три подходят к дебаркадеру,  
проделывая сложную операцию учаливания, после, стаптывая друг друга, люди бегут  
к электричке, вверх по крутому яру, и, глядишь, только хвост электрички  
мелькнет красным оком на заднице.

Успели и билеты купить, и вагоны по душе выбрать. В вагонах полупусто, за окнами  
нагой лес, вдали отливает стальным блеском широкое водохранилище. У слияния рек  
Сылвы и Чусовой, возле скалистого обрыва, легкой корочкой темнеет рыбацкая лодка  
– там, на ямах, осенью сильно брал в прежние годы окунь, случался судак, пока  
было кому брать, теперь так ни окуня, ни чешуи. Все кудато к чертям подевалось,  
все поотравили, поисхряпали радители будущей жизни...

«Отговорила роща золотая», – незаметно для себя запел я под стук колес и так  
вот, со щемливо-грустным, но все же легким настроением приехал в город, достиг  
дома – на стиральной машине, стоящей в коридорчике, телеграмма – детки получили  
и даже не распечатали.

Разрываю бумажную перепонку, читаю раз, другой, третий:

«Александр Николаевич умер – Наташа Макарова».

«Александр Николаевич умер...»

Когда жена вернулась из магазина, рассказывала она после, застала меня на кухне,  
в шапке, в сапогах, со старым рюкзаком за плечами. Я сидел и горько плакал. И,  
давно не видевшая меня в слезах, она бросилась ко мне:

– Что случилось?

Вместо ответа я протянул ей телеграмму.

Через несколько часов первым попавшимся поездом ехал я в Москву. Я торопился, словно мог еще что-то поправить, чем-то приостановить печальный исход или увериться в том, что все это неправда, что произошла досадная ошибка. Но не зря говорится:

«Тихо едешь – беда догонит, быстро едешь – сам беду догонишь».

Первым попавшимся поездом оказался почтово-пассажирский, идущий из Владивостока. В нем шла беспробудная пьянка. Пьянствовали все, начиная от начальника поезда и кончая пассажирами, в большинстве своем демобилизованными солдатами и матросами.

Ремни из-под вагонов, крутящие динамо-машины, давно были утеряны и пропиты, в туалетах по щиколотку воды и грязи, которая растаскивалась обувью по коридору. Зловеще вздрагивали и качались вагоны, ахали не закрытые в тамбурах двери, что-то звенело, дребезжало, темные, неосвещенные вагоны, заполненные удалыми песнями и смехом, мчались на всех парах по России.

Поезд следовало остановить, сменить поездную бригаду, отдать под суд начальника поезда и прогнать с работы проводников. Но шутка сказать остановить поезд! Да еще почтово-пассажирский! И его переталкивали со станции на станцию, с «локтя на локоть», из отделения в отделение – подальше от греха.

В нашем купейном полупустом вагоне тоже вспыхнуло веселье – началось с нескольких пассажиров, переметнулось на двух молоденьких и миловидных проводниц. Тут же и солдаты появились. Какое без солдата веселье? Девки смекалистые попались: пропили у солдат что имелось, сплывили их из своего купе, потом и из вагона, закрылись и притаились – «прокрутили динамо» – так это ныне называется. Солдаты рассчитывали, что дружба пойдет дальше и глубже, давай ломиться в вагон, крушить изменниц боевыми словами. Проводницы ответно их крепким желдорматом крыли, особенно одна, в меховой шапке, лютовала. Я не выдержал, вышел в коридор.

– Девушка! Девушка! Вы такая молодая, красивая, вон на вас шапка так славно сидит – и валите такими матюками!

– А че! Они валят, мне уступать? Не уступлю, хоть пусть они и развоенные!

Что тут было делать? Я сказал:

– Молодец!

На что неустрашимая проводница ответила стихом:

– Кабы я не молодец, так и начальник нашего поезда был бы не засранец!

На этом разговор иссяк.

Тема исчерпалась.

С опозданием на двенадцать часов рано поутру мы примчались в столицу. Никто меня не встречал, не слышалось знакомое: «И чья же это папа приехала?» Со стесненным сердцем, с заранее возникшей виной перед кем-то и перед чем-то, сел я в такси и поехал по почти пустынному Садовому кольцу на Хорошевское шоссе, в дом Макаровых, стараясь не думать и все же непрерывно думая о том, что там меня ждет...

Встретила меня гнетущая тишина, какой и положено быть в доме покойника. Лишь Карай поднялся, с завыванием зевнул, растворив огромную пасть, подошел, обнюхал меня и махнул хвостом. Узнал.

Вышли из кухни Аннета, Юра, Толя, обняли меня, шепотом попросили быть потише: «Мама, кажется, уснула».

– Как она?

Аннета махнула рукой, что, мол, спрашивать.

– А вообще-то пока держится.

– Где Александр Николаевич?

– Здесь, – указала Аннета на дверь большой комнаты. Она была и столовой, и тахта здесь стояла, на которой спала хозяйка: две комнаты – не разбежишься.

– Кто там? – послышался слабый голос из кабинета Александра Николаевича.

– Виктор Петрович приехал.

– Пусть зайдет. Сначала сюда пусть зайдет...

И я робко переступил порог кабинета, где столько много сживал, столь много переговорил, переслушал и где порой и спал, на полу, меж стеллажами и столом. На месте, где привык видеть друга, лежала погасшая, бледная, с огромными мешками под глазами, женщина. Пахло лекарствами. Воздух был еще более сперт, чем прежде. Книжки горками возвышались на столе, и среди них сиротливая, как птичка, не ставшая на крыло и брошенная родной стаей, сидела чернильница-непроливашка с древними, засохшими на ней потеками и бороздками «на губах», о которые пишущий вытирал перо. Самой ручки не было, видно, укатилась со стола, упала, но вразброс, там и сям лежали карандаши, ломаные и новые шариковые ручки, рецепты, записки, белая кружка с питьем.

– Вот какое горе у нас... Ждала, знала, что грянет, а все равно врасплох... – слабо, с перерывами заговорила Наталья Федоровна. – Как он мучился, бедный, как мучился, если б вы знали...

Через какое-то время я, еще более робко, ступил за дверь большой комнаты, слабо надеясь, что уже если не всю квартиру, то хоть эту комнату отремонтируют, приберут, пока Александр Николаевич был в Болгарии, чтоб хоть в собственном жилище было светло и уютно больному человеку.

Нет, не отремонтировали, не прибрали. Видно, и в голову не пришло родным покойного такое решение, видно, и не приходила никогда мысль о том, что отцу тоже надо как-то помогать, создавать условия или хотя бы помнить, что они тоже «живут не одни».

Лишь вытащена была тахта, на которой умер Александр Николаевич, завешено чем-то зеркало на старом, неуклюжем гардеробе и убрана карточка со стены, на которой сняты были жизнерадостные, улыбающиеся он и она – молодые муж с женою. Там, где висела карточка, обнажилось невыгоревшее пятно штукатурки, на всем остальном все так же лежала пыль, темнела паутина по углам, пол был подтерт мокрой тряпкой, отчего обнажились щели в нем, трещины в шпаклевке, прослойки старых, одна на другую наложенных красок. Шторы на окнах были полузакрыты, и от этого комната выглядела еще сумрачней, пещерней. И среди этой комнаты, сделавшейся просторной без тахты, стола и стульев, в небольшом гробу сиротливо лежал маленький, усохший человек, в котором с трудом уже узнавался Александр Николаевич Макаров.

Говорят: «Болезнь съела». Да, это та болезнь, которая действительно съедает человека, высасывает соки, испепеляет плоть, мускулы, волю, силу, характер – она уничтожает человека всего, без остатка, и только потом приканчивает, особенно такой вот рак – рак поджелудочной железы. Через несколько лет на моих глазах от этой же болезни этой же самой железы, которая, сказывают, и величиной-то всего ничего, будет умирать мой брат, и мне доведется увидеть, что делает с человеком эта проклятая болезнь, – Божья кара, наверное, детсадовская шутка по сравнению с нею.

Я пододвинул стул и долго сидел возле гроба, глядя на обнажившиеся кости лица покойного, на обтянутые, почти обклеенные черной, горелой кожей. На всем лице лежала печать долгого, невыносимого страдания, исчертившего морщинами мук лоб, подглазья, бороздами, глубокими и темными, будто плугом проведенными, пролегали они от угла рта и крыльев носа, и только поза покойного с покорно сложенными на груди исхудальными руками, с плотно, в вечном сне смеженными глазами, свидетельствовала о том, что муки все-таки кончились, что страдающее тело, плоть его и дух наконец-то обрели успокоение, и хотелось по-древнему, по-старушечьи перекреститься и сказать: «Слава Богу, отмаялся болезный...»

О чем я думал, сидя у гроба покойного почти до самых сумерек? Конечно же о нем

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

прежде всего, о его жизни, потом: и о нас, остающихся без него, и о писателях, и о литературе, да и о родичах его тоже, которые от горя и безалаберности еще не совсем понимали, как я скоро убедился, – какая потеря их постигла, что выпал стержень, державший всю постройку, и семья немедленно развалится, расплывется по разным углам.

Но главное, о чем я думал (и что заслоняло пока близлежащие семейные неурядицы и разлады), это о том, что в современной нашей литературе некому пока заменить Александра Николаевича, что потихоньку, исподволь, как бы находясь в стороне, он все время, в последние годы в особенности, следил за нашим «хозяйством», пристально следил и, опять же незаметно для многих, но ощутимо влиял на него. Я более, чем кто-либо, знал об этом. Немалых духовных сил стоила ему эта забота о «нашем хозяйстве», о чем свидетельствуют не только опубликованные здесь письма ко мне, – а писал он много и многим, – но и вся работа его, весь труд, весь путь, не всегда ровный, но всегда выверенный сердцем, случалось, и против него, но вся жизнь и работа Александра Николаевича давала полное право сказать у его гроба любимые им стихи; «За каплю крови» общую с народом, мои вины, о, Родина, прости...»

В литературе, в особенности публицистической, образовалась пустота, и не скоро, не вдруг заполнить ее дано. Вот уж прошло много лет, но она так, помоему, и не заполнилась – полновесно и полноценно: что-то там мельтешит, в этой пустоте, суетится, бормочет и очень часто выставляет свои «наряды» вместо мыслей и искренних забот о жизни и движении литературы, которая одно время сделалась совсем уж одноликая, аллилуйная, и многие, а не единицы в ней стали вроде корабельных швабр, о которые вытирают ноги или которыми моют полы в придворных коридорах и высококельможных галюнах.

Со скрипом, с муками, с потерями и надсадой выпрастывалась наша литература из пут так называемой «лакировки действительности», от воспевания культа и просто от привычной, удобной лжи, которая хорошо оплачивалась, чтобы через короткий срок вернуться к исходным рубежам, опять к привычному культу, к его привычной демагогии, к лизоблюдству, к кормежке из отдельного корыта, возле которого с протянутой дланью толкуются «художники», вопя: «Возьмите меня!», «Дайте мне!», «А я дам вам!..» – забыв житейское правило крестьянских баб: «Начнешь давать – не поспеешь штаны скидывать!»

Из края в край лежала надсаженная войной страна; погруженная в летаргический сон, молчала обездоленная деревня, в которой жило ни мало ни много – более ста миллионов человек, но ее словно и не замечали, не снисходили до нее, от нее отмахнулись, как от чего-то малоприятного. Не любили и не любят блистательные наши вожди русскую деревню, вспоминали и вспоминают о ней только тогда, когда нужда припрет, когда некуда деваться, когда без нее, постылой, пропадет все, и великие идеи тоже, когда требовалось выкачать из нее хлеб, силу, кровь. Вот и обескровела она, вот и погасли ее тысячи лет хотя и тускло, но светившиеся окна, и вместо этой усталой, замолкшей деревни, где не стало мужиков, где по десять – пятнадцать лет не слышалось детских голосов и смеха, где все еще ходили и вымирали полуголодные, оглушенные войной и тяжелой работой, раньше срока состарившиеся женщины, угодливые дельцы снимают на киноленты селения, где счастье бьет через край; и даже такой одичавший от безделья, потерявший ощущение времени талантливый человек, как режиссер Барнет, снимает фильм о таком деревенском рае, что секретарю райкома ничего другого не оставалось, как выкатить рояль в поле и заиграть на нем браво, чтоб дело спорилось, и запеть песню на слова вечного «страдальца» и «певца России» Виктора Бокова: «Гляжу в поля просторные, на нивы золотистые, а вижу брови черные, глаза твои лучистые...» А ему вторил другой, не менее жизнерадостный «певец»: «Посмотри, милый друг, на полях золотые разливы, – это наша любовь расцветает вокруг, как же не быть мне счастливой».

А в это время мужик без руки и ноги, потерянных на войне, Петр Степанович Латышев, бригадир из колхоза «Красный пахарь» Чусовского района Пермской области, подрезав шинель – изнашивались полы, да и ходить по грязи в короткой одежде удобней, – дышал в деревушке Махнутино на каждый росточек и колосочек, выводя какие-то сорта овощей, хлебушек сея, выполняя непосильные поставки, сбирая надсадные налоги, агитируя плачущих баб на добровольные займы, ломал голову над тем, как бы все же баб-то сохранить, чтоб не примерли последние, чтоб не убегли в близкий город, и сам не спал сутками. Случалось, завязнет деревяшкой в грязи и вытащиться не может; баб крикнуть стесняется, а так, чтоб не

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

застревать в грязи, ляжет на бок и перекатится через ложок. Бабы с вопросом: «Где валялся?» И, человек непьющий, да и не на что было пить, он клепал на себя: «Да напился как свинья...»

Кто-то должен был взять на себя отвагу, проявить мужество и рассказать об этих вот Латышевых, о миллионах русских баб, о страданиях и подвиге народном. И коль выпало на долю родной литературы заменить собою церковь, стать духовной опорой народа, она должна была возвыситься до этой своей святой миссии.

И она поднялась! Хватило снова, в который раз хватило сил, таланта, неугасимой энергии выплатить «неустойку» нашему народу, подавить силой своего великого духа прекраснотушние и возвыситься до правды, горькой, не очень удобной, порой жестокой, но единственно возможной в жизни большого и трудового народа.

Быть пророком и даже проповедником всегда трудно, однако без попыток и потуг на это литературе существовать невозможно. Переваривая ту информацию, что обрушивается со всех сторон на нас, приходишь к невеселому выводу, что человечество, преуспев в одном, то есть в индустриальном развитии, отступило назад в духовном – оно попросту начало дичать, подтверждая это многими деяниями своими – лицедейством, ерничеством, цинизмом и в особенности внешним обликом.

Многие современные люди, не видевшие в глаза не только тайги, но даже обыкновенного леса, ведут себя среди людей, на городских площадях и улицах, как в тайге, шествуя по жизни без каких-либо указателей, прежде всего нравственных, и вид у них, и мораль дикаря-таежника, иным ультрасовременным жителям уже и до обезьян недалеко. Знаменитую английскую манекенщицу Пегги спросили, знает ли она что-нибудь о Шекспире? «А, это тот парень, что написал чего-то о черномазом парне, который задушил белую женщину...» Она слышет интеллектуальной манекенщицей. Можно за примерами и не плавать за море, можно их и дома сколько угодно найти. Не приходится уже говорить о чести, благородстве, нежности – эти качества не только утрачиваются, но и становятся обременительными, лишними, как бляхи, шаркунцы и прочие украшения на сбруе лошадей.

Недаром же так захлебно воспевается благородство, если его удастся встретить журналистам, и недаром же столь настойчив призыв (и кабы у нас только!) искать «положительного героя», показывать «положительный пример». Не странно ли наше передовое общество, столь много потратившее сил и крови на то, чтобы создать идеального человека, а то пряником понуждающие «искать его» и «показать», коли не сыщется – выдумать.

Отсутствие духовной опоры и замена его оружием лозунгом и все сокрушающим «героем» казалось когда-то делом прогрессивным, но привело к результатам неожиданным и горьким, идеала не осталось никакого, и мы не в состоянии даже выдумать что-либо, а вот наши «идеальные герои», будь то коммунист, труженик-страдалец, самоотверженный космонавт и т. д., – это лишь жалкое подобие все того же идеального «героя» – Иисуса Христа, и заветы Христовы, чуть подурмяненные. Но сколько крови ушло на эти «румяна»! «Не убий», «не укради», «не пожелай жены ближнего своего», «трудись в поте лица своего, и будешь счастлив плодами труда своего» – слегка подредактированные заповеди эти попали в обязательства ударников труда, сделались их основным направлением в делах и в стремлении к совершенству.

Литература наша проповедует преданность идее (богу новому), власти, обществу и попутно с этим, как неизбежное, прославляет терпение, послушание, воздержание и призыв к вечному беспрекословному труду, во имя царства лучшего (ранее – божьего), – сменились вывески, остался тот же обман, который творится уже нашими руками, в первую голову писательскими, и оттого, быть может, так снисходительно относятся к нам власти, меняются вожди, но снисхождение не меняется. Мы помогаем и властям, и церкви околпачивать народ – и оттого двурушничество искусства, его зависимость достигли небывалых размеров, неслыханной развязности и наглого самодовольства.

Горек мой вывод, горек тем более, что на моих глазах лучшая часть нашего общества разрушилась, погибла в голоде, войне и непосильном труде ради худшей, ничтожнейшей части своей.

Ну, а что же мы? Мы ничего. Мы живем. «И вертится планета, и летит к своей неотвратимой катастрофе». Такое человечество, какое есть ныне на земле, не может

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

долго существовать, да и нет у него на это морального права, одного животного желания – жить, сжигая зеленую земную красу в смердящих трубах, недостаточно, да и оно, нынешнее человечество, и недостойно памяти того человека, который жил до нас.

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,  
Потомок оскорбит презрительным стихом,  
Насмешкой горькою обманутого сына  
Над промотавшимся отцом.

Мысли все это не новые, наверное, банальные, но вот живешь на свете и после пятидесяти лет узнаешь, что воробей – самая свободолюбивая птица: в клетке умирает.

Я очень люблю свою Родину, Россию, но не в нынешнем ее облике – в гражданской глухоте и полураспаде; наверное, я уже и не люблю, больше жалею, как старую, неизлечимо больную, немощную мать, и все чаще и чаще тянет меня забыть, ужаться, унести куда-нибудь от этого гама, от напыщенных, из ума выживших, дряхлых вождей, обвешанных золотыми самонаградами, обремененных званиями и всеобщим подхалимажем, от безумства, все ощутимей дышащего холодом войны, уехать куда-нибудь на фарерские острова – они на краю света, аж за отшельницей Атлантики – Исландией, там и солнце-то бывает одну декаду в году, но там нет ни вождей, ни партий, ни грохота прогресса, там живут десять тысяч трудового народа: фарерцы ловят рыбу, разводят овец, строят жилища из глины, камня и травы, живут без вражды, без предчувствия гибели, живут способом самоуправления, отроду не воевавшие и не знающие, что такое оружие...

Но все-таки диво дивное: общество, загнанное в угол, оробелое, привычное стоять руки по швам, пережило и переварило не только разруху и ужасы войны, в большинстве своем порожденные бездарностью и фанфаронством наших «отцов». Но уже есть, есть такие писатели и ученые, и деятели культуры, и их с каждым годом все больше и больше, кому уже на всех наплевать, кому удается забывать не только близких и дорогих людей, но даже историю родную, либо делать вид, а то еще проще – подкрашивать ее, как пасхальное яичко. Вот только что на ладони было продолговатое яйцо, не очень чистое от старого гнезда, порой в насохшем курином помете и даже в мазках сукровицы, но бросили его в чашку с голубой краской, повертели, высушили – и никаких пятен на яйце, небесноголубое оно. Во Франции вон, говорят, даже кур приучили голубые яйца нести, в Израиле будто бы до того дошли, что куры несут яйца из одного желтка...

Ах, как хотелось бы некоторым деятелям, чтоб и в прошлом у нас все было красно и ладно и мы получали бы только голубое яичко, со сплошным желтком! И вот ведь оказия: мне тоже хотелось бы, да...где топор, что память враз отрубит», да и «не те годочки», – как тяжело вздохнул перед смертью великий гражданин и певец нашего времени Твардовский, к тому же и страшновато забываться: «Кто прячет прошлое ревниво, тот и с грядущим не в ладу!» – опять же мудрый Твардовский. И еще: «Народ можно обмануть – историю не обманешь», это уже Карамзин, всегда для России современный историк, потому что он не просто историк, но был и остается настоящим патриотом.

В сумерках в комнату не вошла, почти вползла Наталья Федоровна, пощупала за руки покойного, каждый палец по отдельности, погладила на лбу его волосы и тихо сказала:

– Идите, Виктор Петрович, поужинайте. Что же вы целый день голодный тут... – И, отвечая на мой немой вопрос, добавила: – Я пока не хочу и не могу есть, но я потом зайду к вам на кухню.

И она осталась одна.

На кухне был уже подвыпивший Толя, родственники, приехавшие из Калязина, из угла в угол шаталась огромная, нелепо одетая и сама вся какая-то нелепая, нелепости бормочущая старуха – мать Натальи Федоровны. Мы немножко выпили, стали ужинать. Толя было метнулся еще за бутылкой, но вошедшая в кухню Наталья Федоровна попросила:

– Не надирайся, ради бога! Умоляю тебя. Столько дел...

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

А делать-то никто почти ничего не делал. Лишь сама Наталья Федоровна кудато звонила, умиравшим голосом говоря: «Говорит вдова Макарова, да-да, Александра Николаевича... – И в зависимости, очевидно, от того, с кем говорила, иной раз добавляла: – Говорит несчастная вдова...»

Быстро она вошла в роль страдающей вдовы, но для настоящего страдания, знал я, время еще не наступило, пока еще оно, страдание, оглушило только, и оттого бесчувственно, заморожено тело, мозг, оттого и не так тяжело. А вот потом «отходить» начнет человек, и горе возьмет по-настоящему, за сердце, за печенки и селезенки, отпадет надобность в игре, наоборот, придет пора хоть немножко забыться, хоть часть его куда-то деть, на кого-то переложить.

Дело с похоронами осложнялось. Было третье декабря, через день праздник Конституции, а там еще и выходной. У нас по стране вообще, в столице же в особенности, задолго до выходного или праздника прекращается всякий труд, останавливаются службы. Надо было хлопотать, спешить, и назавтра я отправился в похоронное бюро, что в проезде Сапунова, по-за ГУМом, рядом с давно известным мне издательством «Советская Россия».

Я ожидал увидеть скрюченного, с разлитой желчью, беззубого старикашку, занимающегося похоронными делами, ну, как у Шекспира или на картинках эпохи Возрождения. Но, отсидев часа два в довольно представительной прихожей, с секретаршей, с вывеской «Не курить», с машинкой, с телефонами, попал к дородному, высокомерному еврею, который утомленно спросил: «Ну, что там у вас?» И только я назвал фамилию, не дав мне договорить, замахал руками: «Нет, нет! С Новодевичьим ничего не выйдет! Не выйдет, не выйдет! Да, мне звонили, и снизу, и сверху, нужно решение МГК на этот счет, а решения не будет – не та, извините, номенклатура. Советую вам, и это вернее – Ваганьковское кладбище, иначе упустите сроки и на него не попадете, и вас таки загонят за город, куда-нибудь в Митино...»

Я знал, как трудно жить в столице, но мне еще предстоит убедиться каково-то умереть здесь и попасть в место упокоения, на кладбище. Организатор я никакой, толку от моего визита никакого не получилось, и ни от кого из нас толку не было. За дело взялась сама Наталья Федоровна, походка ее ускорила, голос окреп, на моих глазах воскресал и поднимался для сражения боец.

Но ничего существенного и она не добилась. Договорились было на праздники отвезти покойного в холодную часовню Ваганьковского, старушонки сторожихи и плату за это не брали, «грех с покойного». Макаровы уже домой направились, как одна старушонка, самая, видать, смекалистая и «политицки» подкованная, поинтересовалась: «А не коммунист ли покойник-то?» И ей с гордостью ответили: «Коммунист, да еще какой! Дорожил этим званием, стойко нес его по жизни!»

Старушки поджали губы и наотрез отказались принять покойного в часовню. «Нет-нет, тут божье место. Везите его в свою партийную организацию».

Наступили праздники. Писатели и всякое начальство разъехались на дачи, покинули свои кабинеты – надо было ждать рабочих дней. На улице заморозило, задождило, морок прошивало серыми полосами снега. Ночевать Аннета с Юрой ушли к себе на квартиру, прихватив кого-то из гостей. Наталья Федоровна увезла мать в ее комнату, где та жила уже много лет, то вымаливая, то требуя к себе внимания. Нас, несколько мужиков во главе с Толей, осталось на Хорошевском шоссе. Толя за вечер хорошо напощивался, плакал, рассказывая о последних днях брата, и уснул поздно, хлюпя мокрым носом. А я лежал рядом, стиснув зубы, и думал о том, чтобы как-то продержаться эти дни, не пить нисколько, чтобы не сорваться самому и не дать сорваться, впасть в истерику Толе.

После праздников гроб с телом покойного выставили в Центральном доме литераторов. Звучала музыка, были венки, много венков, в них утопал гроб с маленьким, как мне казалось, уже уставшим телом покойного. Не глядя на непогоду и глухой послепраздничный день, в ЦДЛ пришло довольно много, народу проститься с покойным – многим он успел сделать добро, давно работал в «литературном цехе» и, кажется, кроме покойного Ермилова, у него не было в литературе настоящих врагов. Или скорее – недругов.

Все было как обычно: шарканье ног, сдержанный говор, смена траурных повязок на рукавах, которые я вместе с кем-то надевал на послушно подставляемые рукава пиджаков. И только скребнуло меня несколько раз вопросом: «Ты что, специально



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

приехал на похороны?» Впрочем, чего же удивляться: у нас, как я уже писал, и детки не всегда приезжают хоронить родителей, тут же всего лишь друг.

И еще угнетала и прямо бесила эта нелепая, полусумасшедшая старуха, мать Натальи Федоровны – она ходила по залу, перекладывала венки и цветы у гроба и на гробе, что-то бормотала, а то и выкрикивала. Люди морщились, и кто-то спросил возмущенно: «Да чья это такая? Выведите ее отсюда!»

Было сказано несколько добрых, человеческих слов на прощанье, гроб вынесли на улицу, где уже не шел, сплошной кашей плыл, перемешивался на земле в жидкую грязь мокрый снег.

Долго и уныло ехали в крематорий.

Очередь. Стоим под дождем. Совсем поредели ряды провожающих. Родственники, калязинские друзья, сын погибшего шофера Юры, стиснутый горем и упорно не желающий надевать шапку; непривычно трезвый, съездившийся Толя в мокром пальтишке и всего несколько писателей. Я запомнил лишь Борщаговского Александра Михайловича и Павла Железнова – «Пашку», как его называл в письмах покойный, – бывший беспризорник и детдомовец, там и получивший такую выразительную фамилию, умел ценить дружбу и не забывать друзей: если б с неба валил не мокрый снег, а камни – он все равно был бы здесь...

Я иногда горжусь словом «детдомовец», как гордились нашим братом и командиры, на фронте – эти не предадут, не выдадут, и если идти в атаку, в окопе переждать не станут.

Наконец-то попали в здание крематория. Никогда я не был в нем, озираюсь, глазею – что-то от фантастической архитектуры, что-то и от церкви или от костела. Распорядительница, пожилая, строго одетая, предупредительная женщина, указала нам занести гроб в подобие кладбищенской ограды, поставить на подобие скамьи. Мы все это проделали. Нам указали расступиться, стать по бокам гроба. Заиграла музыка – виолончелист, несколько скрипок, альт и еще какие-то струнно-щипковые нежные инструменты заиграли древнюю торжественную мессу, и зарыдал Толя, закрывшись шапкой. Дрогнуло лицо у красивого парня сына покойного друга Александра Николаевича, и брызнули по нему слезы. Лицо Аннеты будто оплеснули из котелка – все оно было мокро от слез и снега, мокрые волосы выбились из-под темного, и тоже мокрого платка; с судорогой перекошенным ртом стояла Наталья Федоровна, ее поддерживали, утираясь рукавами, калязинские мужики.

Говорили прощальное Железнов и я – не помню ничего из того, что говорил Железнов, из своей речи застряли в собственной памяти слова: «Я вторично осиротел...»

И вот женщина-распорядительница вежливо, но настойчиво удалила нас за ограду, возникли откуда-то двое молчаливых мужчин, умело и быстро приколотили крышку к гробу, расступились. Послышалось жужжание, легкий шорох, точно такой же получился звук, какой издавал старый кинопередвижной аппарат – и гроб вместе с подставкой двинулся вниз, во все чернее и глубже открывающуюся дыру, и чем ниже, тем он быстрее исчезал, мчался, улетал...

И вдруг мягко хлопнули створки и закрыли яму, не могилу, не щель, не ровик, вот именно пустую, без стен, без дна яму, ведущую в преисподнюю.

И я, да и все провожающие стояли, оглушенные мгновенно свершившейся процедурой, все даже и плакать перестали. Как же это? Куда бросить горсть земли? Куда кинуть мокрые от слез платочки? И где то время, тот горестный момент, когда не родные, «чужие» мужики возьмутся за лопаты, и как ударятся первые комья о крышку гроба и донесется глухой, уже как бы не здешний звук, с новой силой, скорбью и отчаянием зарыдают родные и близкие, потом, словно бы искупая свою вину перед покойным, вспотевшие мужики грязными лопатами разровняют, старательно прихлопают бугорок, и кто-то упадет, зароется в могильную землю лицом, и долго не смогут его отнять от этой земли, увести от могилы...

Где все это? Куда делось? Что за спектакль, что за действие были тут и так быстро, так неожиданно закончились?..

Должно быть, не одни мы здесь такие случались, и распорядительница еще громче и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
настойчивее сказала: «Всё, всё, товарищи! Уходите! Послезавтра получите урну с прахом. Будьте любезны. У нас очередь...»

Я обернулся: по ту и по другую сторону холла, на специально для этого приготовленных скамьях стояло уже десятка полтора разномастных и разного достоинства гробов, во всех них бледнели лица покойников с заострившимися носами. На улице, куда я поспешно выскочил, – очередь из домовин, венков и маленьких, скорбных процессий продолжалась, – за праздник, пока не работали крематории, в огромном городе поднакопилось мертвых.

«Боже мой! Боже мой! – сидя в уголке автобуса, выделенного на похороны Литфондом, трясся я от плохих рессор, от холодной мокрети и все нутро обнявшего озноба, какой случался у меня лишь после ранений, в санбате или госпитале. – Боже мой! Как страшно жить-то...»

Поминки были немногочисленны и, слава богу, обошлись без эксцессов, говоря современно. Я просил Толю, умолял блюсти порядок, не срывать, и он, быстро упившись, дремал за столом, потом его и вовсе увели калязинские, очень сдержанные родичи и гости, угрюмо слушавшие Натальи Федоровны скорбные слова и с достоинством говорившие о покойном. Один из уцелевших друзей детства, работающий или работавший в райисполкоме, человек при галстуке, сказал, глянув на Наталью Федоровну с пристальной и неприязненной вежливостью:

– Он был трагичной фигурой, и жизнь его, в особенности в последние годы, была сплошной мукой...

– Да-да-да, – подтвердила Наталья Федоровна и подняла платок к глазам.

Мне хотелось домой, поскорей домой, но меня просили остаться до «похорон» – Наталья Федоровна все еще не теряла надежды добиться места на Новодевичьем кладбище и без конца звонила куда-то, особенно настойчиво Мелентьеву, занимавшему тогда какой-то важный пост, ныне сделавшемуся министром культуры РСФСР.

Место Александру Николаевичу досталось на Ваганьковском кладбище, на новом, только что раскорчеванном участке, возле железнодорожной линии, за которой гудело Хорошевское шоссе и белел домик, навсегда уже покинутый Александром Николаевичем.

Все бы и ладно. Однако Наталья Федоровна была недовольна местом.

– Эх вы, мужчины! Друзья! – попрекала она нас. – Ничего вы не можете! А я его перехорону! Обязательно перехорону!

«Кого – его?»

Пластмассовая или керамическая коробочка величиной со шкатулку, в какую бабы-хозяйки складывают «гумажье», нитки, тюрики, иголки, – мною совершенно не воспринималась как что-то, имеющее отношение к человеку вообще, к покойному в частности. И когда эту урну-шкатулку закопали не в могилу, в какую-то ячейку, подобную той, что на фронте выкапывалась для одинокого стрелка, установили временную табличку, и, дождавшись конца погребения, Наталья Федоровна рухнула лицом в грязь, я с неприязнью думал: «Спектакль продолжается...»

Может быть, и наверное, то был совсем не спектакль, скорее всего горе, помноженное на раскаяние, и оттого особенно тяжкое, но я уж как-то не очень близко к сердцу воспринимал все это, мне скорее было жаль кучку людей, понуро стоявших вокруг куцей могилки – в одном лице разом они теряли кормильца, дрсс, отца, мужа, брата, дядю, литература наша – заботливого радетеля и дворника своего.

Ночью я уехал домой, забился в Быковку – переждать горе. Мне хотелось быть одному, работа не шла на ум, и я до изнеможения шлялся по лесу, долбил лед на наконец-то замерзшей Быковке, дергал харюзков.

Дней через двадцать жена привезла мне с почтой письмо от Натальи Федоровны.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Дорогой Виктор Петрович! Милая моя Машенька!

Это всего только я... Пишу первое письмо в своей новой, постылой жизни. Вот уж и появились силы печатать.

Сидим с Аннетой в Малеевке уже десятый день. Сегодня двадцатый день, как мы осиротели. Приходил Баруздин, выпил водки, сказал доброе слово. В сущности, с его умного слова, как-то очень по-русски сказанного несколько дней тому назад, что-то и началось. Он сказал: «Чем умирать и выбирать способ умереть, надо издать Сашины произведения, а уж потом, глядишь, жизнь и подскажет, как с нею расправиться». Я еще нашла в Сашиной рецензии на сборник посмертных стихов Светлова такие строчки: «Он (Светлов) спасал их (своих героев) от худшего, чем от смерти, от забвения...»

Из всех моих силенок как-то, может, и сумею я хоть что-то сделать в этом спасении, хоть на какое-то более продолжительное время. Посоветовал мне Баруздин попросить издать Сашин сборник «Советский писатель», потом «Гослит», может, дадут двухтомник. Кроме того, посоветовал обратиться в издательство «Советская Россия» – предложить им его внутренние рецензии с чьей-то умной статьей о Сашиной манере помогать авторам, с воспоминаниями о нем и с его перепиской.

Вот такой смысл жизни вырисовался из мрака, клубящегося вокруг моего унылого существования. Чую, предстоят и борьба, и обиды, и новое отношение писателей – то жена Макарова, то его вдова! Во всяком случае, вот уже неделю работаю с утра до вечера над его рукописями, работаю до того, что над ними и засыпаю, а просыпаюсь – не даю себе минуты представления об ужасе моего одиночества, скорее берусь за них снова. Его рука, его слово, его ирония, его вставочка, им зачеркнуто, им вписано... Хожу по этим строкам, как слепой, и не вижу того, кто это делал, и не могу до него дотронуться...

Только что приехал Эдель. У него 4 декабря умерла жена от инфаркта, сидит в окружении молодых женщин, рассказывает. Господи! какой счастливый! дай ему бог забвенья. А мне забвенья не дал бог, да и не возьму, хоть пришлось бы мне ползать по земле и выть от боли воспоминаний.

Вот какая у меня к вам просьба: не хочу я ставить на Сашину могилку монументы, граненые и шлифованные. А хочется положить мне дикий камень, хоть без того креста из клена, о котором говорит Лермонтов. Только чтобы камень был диким, поросшим мхом, такой – из леса или с речки, где он ловил хариусов. Где Вы с Сашей ловили хариусов. Сумеете ли Вы найти такой камень и есть ли возможность переправить его в Москву? Чтобы только он не был гольшом, гладким, чтобы он не был круглым, а был бы, как Вам сказать, похожим на Сашу, – таким немного угластым и устремленным ввысь.

Все вспоминаю, как Вы были у нас и как бедственны были те дни. Все вспоминаю, сказали Вы мне или мне это пригрезилось: «Во все трудные минуты ты мне скажи. Я тебе друг. Я за тебя в ответе...» Только вот перед кем в ответе? Перед Богом? А где он, и спросит ли он у Вас ответа за меня? И почему Вы должны были это сказать? А может, это Машенька побранила Вас потом, что Вы не сказали? А на самом деле Вы не сказали, потому что ни я, ни Саша не были Вам так близки, чтобы Вы за его жену взяли на себя ответственность, то есть за меня.

Вот не сплю ночью, смотрю на Сашину карточку – он такой молоденький, улыбочивый стоит возле больничного окна в садике и все спрашивает – сказали Вы мне это или только вот так, до смерти хотелось, чтоб сказали.

Будем в Малеевке до второго. Потом попробуем помотаться по всем вдовьим делам в Москве, а с 15-го попытаюсь опять сюда уехать, здесь теплая комната, как берлога: заберешься – и тишина, и работать можно и поплакать на воле.

Милая Машенька, дай Вам бог миновать всякого горя. Люблю я Вас, Саша Виктора и Вас любил.

Ну, прощайте и простите меня, если что не так.

Ваша Наташа Макарова.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Если вы в силах написать что-то из воспоминаний о Саше и, может быть, с выдержками из писем, то и Чаковский, и «Лит. Россия» и, вероятно, журнал «Знамя» и «Дружба народов» это дадут.

Прошу Вас.

Может быть, это и будет зачином будущей книжки воспоминаний и разговоров о работе, об отношениях к людям и, главное, к литературе, которую он так преданно любил.

Ваша Наташа.

Потом было еще несколько писем человека, тяжело переживающего горе, оглушенного одиночеством.

Дорогой Виктор Петрович!

Вернулись ли Вы из-за границы?

«Литературная газета» очень ждет Ваших воспоминаний о Саше. Решили ли Вы их писать? Туда или в журнал? Напишите, пожалуйста.

Я все время живу в Малеевке.

Одной легче.

Аннеточка скоро собирается рожать.

Пока очень тяжело, что до сих пор никак не может решиться вопрос о переносе Саши на Новодевичье кладбище – Союз писателей хлопочет, да где-то у начальства застопорило.

Ничего не могу сделать и очень страдаю.

Пишу о Саше.

Болею стенокардией и вообще – все то же. Поэтому не хочу обременять Вас своим присутствием, хотя одинока и очень нуждаюсь в добром слове.

Напишите мне.

Целую Машеньку.

Всего доброго!

Ваша Наташа Макарова.

Дорогой Виктор Петрович!

Что же Вы забыли про меня?

Трудно мне, тяжело, невыносимо.

Что я сделала за это время?

Была несколько раз в Калязине. Будет там комната в библиотеке – музей памяти Сашиной. Сделали барельеф, готова часть экспозиций. Перехоронила Сашу, лежит он теперь в центре Ваганьковского кладбища, старого, между Суриковым, Есениным, Тимирязевым, Пукиревым, Архиповым. Под старыми кленами. Сделана временная мраморная доска и много цветов.

Словно новые похороны. Сделала все одна. Добивалась два месяца и только вмешательство ЦК партии и мои слезы помогли, наконец.

Что дальше?

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Надо доделать экспозицию. Надо делать сборник для «Гослита». Надо писать воспоминания о Саше. Надо готовить сборник воспоминаний. Надо выступать на радиий, надо делать мою книжку – у меня договор на ноябрь. А я? Все валится из рук, живу вдвоем с Караем. Толя совершенно спился, лишился прав, не работает, пропадает.

Аннеточка родила сына Сашеньку. Мальчик трогательный, похож на Сашу. Она вся в малыше, и мне никто не может помочь, хотя бы в том, чтобы толкать в спину и говорить: делай, делай, ты должна...

Боюсь свалиться под откос.

И вот еще что: надо бы собрать денег на памятник и на доделку музея. Я получила 60 % за Сашину статью о Николаевой, что идет в сборнике как предисловие, а у меня больше нет денег. Барельеф стоит 200 рублей, и все остальное еще двести. А еще надо, вероятно, столько же, потому что нужен еще портрет маслом. А за портрет берут 150 рублей. На памятник литфонд дал 500 рублей, обещает еще 500 – они больше не могут. А памятник стоит 2500. Что делать?

Говорят, надо собрать. Пойти с шапкой по писателям. Но ведь не мне же жене – идти: срамно. Но кто же это сделает?

Может, Вы подскажете? Хотя бы собрать еще 1500 рублей. Прошло восемь месяцев. Еще через четыре будет год. Может быть. Вы напишите что-то, так, как Вы думаете, как умеете, к этому сроку? «Литературная» ведь очень просит, да и любой журнал возьмет.

Не оставляйте меня, Виктор Петрович! Машенька, милая, пожалейте сироту.

Тянусь я изо всех сил, а сил-то мало. Сегодня такая тоска, что и деться некуда. Мечусь, мечусь, а не найду точки опоры. Но я должна, должна! Ведь ничего не собрано и не сделано как надо. Все еще только начато. Напишите мне. Вы, Виктор Петрович, проявите инициативу с деньгами?

Господи! Как далеко ушла наша прошлая жизнь, и только я могу как-то воскресить ее для людей. Где же почерпнуть силы?

Мне прислали для музея высказывания: Федин (очень сердечное), Тихонов, Исаковский, Антонов и другие. Очень прошу Вас написать одну страничку от руки. Это для музея. Будет портрет писателя и рядом сфотографированное его высказывание, его добрые слова о Саше как о критике и Человеке.

Сделайте это сразу, пожалуйста, это надо срочно. Карточка Ваша есть.

Целую Вас и Машеньку.

Простите за безобразное, жалкое письмо. Я вижу, какое оно, но мне худо сегодня и переиначивать его я не могу. Простите меня.

Ваша бедная сирота Наташа.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо! Впервые почувствовала, что Вы пишете мне, признали меня как какую-то реальность, – я ощущала только горькую обиду Вашу, что я вот жива... Я понимала Вас и вместе с тем не могла принять, что Вы отделяли меня от Саши. Я только осколок того, что были мы вместе, и вот теперь я почувствовала, что и Вы этот осколок увидели и что он неотделим от Саши. А просто когда все разбилось, его отогнало от волны, унесшей все главное, всю сущность. Быть может, все это только в моем воображении, но пусть хоть так.

Живу или не живу. Черт меня знает.

Вся моя жизнь от первой встречи с Сашей была страхом потерять это чудо, а теперь – ужас потери. Вероятно, так бывает со всеми, кто любит: и с любовью к сыну, и к мужу, и к другу. Но для меня-то мое горе – самое горькое на свете. И нет ему предела, и никто так не был наказан, как я. Учусь одиночеству, это невыносимо

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

трудно. Тридцать лет видеть этот ласковый взгляд, встречающий меня, и нет этого взгляда. Тридцать лет нести каждую мысль ему – и некому нести. Тридцать лет знать, что тебя поймут, и теперь все! Господи! Кому молиться?

Милый Виктор Петрович! В ночь, когда исполнилось полгода, как не стало Саши, Аннета родила маленького мальчика Сашу. Очень маленький, худенький, но сосет, и в родильном доме таких зовут цепкими и гвоздиками.

Аннета влюбилась в него. Ей было худо с сердцем. Все забегали вокруг. Отходили. Она не доносила около месяца. Словом, на таких страданиях замешанный, каков-то этот Саша, будет? Саша... Сначала я никак не воспринимала известий о его появлении. Оно было мне ни к чему. Саша? Родился? Кто это? Ну и что? И только сегодня, на третьи сутки, когда говорю САША – он двоится. А может быть, душа Саши моего перед гибелью исстрадавшейся физической оболочки нашла себе прибежище в этом существе? А почему я не могу в это верить?

Сегодня был перерыв. Ох, как я боюсь этих заатаившихся мук. Они потом воспламеняются со страшной силой, с удвоенной силой...

Вы второй, кто сказал о трагической Сашиной судьбе. Но «Знамя» предлагает мне писать очерк, мозаику воспоминаний. Как же будет? Ведь я-то трагедию эту знаю очень и очень, и тем более не могу о ней сказать? Но ведь что-то сказать надо! Иначе ни в коей мере не оправдано и немыслимое существование, и необходимость терпеть себя.

Как же быть? Как, например, объяснить провал с 1947-го по 1956-й? Или обойти все это и дать мазки, за которыми что-то будет и вместе с тем, не сказано.

Ведь всю жизнь мечтал написать то, что так и не написал, не смог. Нашла папку – повести 45-го года. Как безумно жаль, что он попал в когти Ермилова и не стал писать прозу.

Напишите мне, что Вы посоветуете. Пожалуйста, так же понятно, как в последнем письме. Я очень благодарна, что Вы постарались. Вижу, что это стоило Вам напряжения. Спасибо. Иначе я бы ничего не поняла. Только Саша, повернув листок как-то наискось, умел читать Ваши письма.

Пишу пером, потому что так-то ближе, чем на машинке.

Что же так мало сказали о Югославии? Впрочем, Саша тоже туда (за границу) не особенно рвался, хотя Болгарию очень любил.

Милая Машенька! Не грустите об Андрее – чудном, милом юноше. Он вернется. Ведь только два года теперь служат. А они пролетят, потому что его будете ждать. Он хорошо прослужит, он добрый, чуткий, такой милый Андрюша. Никогда не забуду, как он нас провожал, как вез в Быковку. А я спала в вагоне и проснулась оттого, что Саша тревожно вглядывался: не больна ли я? Когда человек чуток, то на это откликаешься тем, что становишься сам чутче и лучше, а так черствеешь, когда никому не нужен.

Я Вас очень люблю.

Вы были единственным другом среди литераторов у Саши. На печальный его закат пришла... дружба. Какое это было счастье, что мы поехали к вам.

Виктор Петрович, пустите в козлятник, на месяц, поработать, меня.

Эх, люди добрые, какая же тоска на свете!

Ваша Наташа.

Я, как мог и умел, отвечал на письма, пытаюсь утешить вдову, быть с ней в меру учтивым и даже ласковым. Но вот пошли письма настойчивые, содержащие требования писать воспоминания, развивать какую-то бурную деятельность, и я пояснил вдове, что быстро ничего писать не умею, тем более воспоминания, которых я никогда не писал, что мне нужно время успокоиться, «выносить замысел», чтоб я все знал и «видел» до конца, что она об этом знает, я не раз говорил.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

Ничего не помогало. Письма становились все настойчивей, деятельность вдовы возрастала, замелькали торопливые воспоминания в газетах, обширные публикации. Ничего не оставалось делать, надо было садиться и мне и что-то писать. Написались лишь несколько страниц, и я почувствовал лбом тупик ничего дальше не продвигалось. Удалось мне вымучить еще страницу или две для Калязинской квартиры-музея, и все. Заколodило.

Да и работа у меня не ладилась. Задумав «Пастуха и пастушку» на четырепять листов, и чтоб действие происходило в одну ночь, я растянул повесть до семи листов, действие в одну ночь не укладывалось, движение повести не получилось, она стояла из-за женщины, которой какую бы я биографию ни давал, сколь бы на нее грузу «ни вешал», все была анемична, мертва. Да и дома не все было хорошо, росли дети, учились в старших классах, дружно завалили экзамены в университет, сына проводили в армию, мучительные были проводы, предчувствия были тяжелые, и они оправдались – буквально с ходу, необученный, необстрелянный, начитавшийся книжек, он попал в чехословацкие события и вернулся оттуда каким-то надломленным; дочь болталась без дела, племянник жены, выросший у нас, кончил строительный техникум, по распределению уехал в Уссурийск, попал в качестве прораба на промышленное предприятие, которое, как у нас издавна ведется, начинали зэки, и хватил от них «науки и морали». А тут Наталья Федоровна – несчастная вдова – в письмах и по телефону терзала меня упреками за «неблагодарность», расписывала свое горе и одиночество.

Она, видимо, привыкла к нескольким иным отношениям: раз муж ее такой почтенный человек, раз он тебе помогал, а тем более был другом, то ты должен выстилаться перед ним и перед нею. Александр Николаевич этого не допускал, я не выстился, не лебезил, и это раздражало Наталью Федоровну, а потом и бесить стало (общение с литературной держимордой не прошло даром! Уроки громилы Ермилова незаметно, но усваивались на протяжении десятка лет), а главное – ей хотелось знать, что и сколько я знаю об их «семейных отношениях», хотелось заглянуть в письма покойного ко мне, и я их ей отослал.

Наталья Федоровна долго не возвращала письма. Я же просил вернуть мне письма Александра Николаевича и, не сдержавшись, написал, что бурная деятельность современных писательских вдов потрясает меня, коробит торопливая распродажа наследства покойного на литературном толчке.

В ответ я получил оскорбительные письма.

Я попросил свою жену написать вежливое письмо в Москву с просьбой оставить меня в покое, ибо, я тоже живой человек, тоже ношу в сердце горе, и не первое, и не последнее, и что я худо-бедно работаю.

Слава богу, на этом письма прекратились. Более я не бывал в доме Макаровых, и на захоронении урны с прахом Александра Николаевича тоже не был, но как эпитафию, на ней я бы высек слова Льва Аннинского, ученика А. Макарова: «Он многого не успел. Но и успел многое».

Для меня мой добрый, незабвенный друг исчез там, в крематории, в этой современной, передовой наукой сотворенной преисподней, не имеющей дна, захлопывающейся автоматической крышкой, без остатка, вместе с гробом, целиком и полностью его беззубо заглотившей и пожравшей.

И, побывавши в крематории, я не осуждал писателей, не поехавших туда прощаться с другом и товарищем по литературному труду, и сам более никогда туда не поеду. Это творение ума и рук человеческих пока еще не для нашего брата, родившегося на земле и вскормленного землей. Вот уж дальше, те, кто на асфальте и в камне да в саже, дыму и нефти вырос, может, и примут его, не содрогнувшись, привычно, буднично.

Связи мои с семьей Макаровых оборвались.

Я отлично помню ядовитое замечание Вяземского по поводу того, как один господин так много и так осуждающе говорил и писал о Наталье Гончаровой, что уж выходило Пушкину жениться не на Натали, а на этом самом благопристойном господине. Знаю и поговорку: «Муж да жена – одна сатана», да и сам Александр Николаевич, как видно из писем, нигде и ничем не давал повода к осуждению или хотя бы малейшему порицанию жены своей, но тем не менее дружеского расположения к ней я вернуть

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

уже не мог, и те несколько встреч, которые произошли у нас мимоходом, выглядели неловко и приводили меня в великое замешательство. Наталья Федоровна всякий раз приглашала заходить, посмотреть маленького Сашу – он «вылитый дедушка», говорила, что и как она сделала для изданий, для музея-квартиры в Калязине, умоляла приехать туда, сообщала, что она перехоронила Сашу – он теперь лежит почти рядом с Есениным...

Несколько раз в ЦДЛ я видел ее за столом, в компании каких-то строгих дам, изображающих на лицах минор, и Наталья Федоровна в строгой одежде, с седой и строгой прической с ними, за скромной бутылкой вина – они справляли поминки по Александру Николаевичу.

И вот уж не дано так не дано! Я считал и отстало считаю, что поминки дело тихое, интимное, и справлять их, ежели уж есть на то охота и средства, способней всего дома, в кругу близких, но не в заведении, подобном клубу литераторов, где шляются два-три всем надоевших алкаша, где молодые «гении» лениво тянут кофе или коктейль, стреляя глазом в мимо проходящих, взвинченных общим вниманием, хорошо кормленных и шикарно одетых дамочек; куда к вечеру нагрянет наш брат – провинциал, рыскавший быстрее борзого кобеля по столице, нагрянет усталый, голодный, с потными подмышками и распухшими ногами, и в один прихват выхлебает кислую похлебку, называемую здесь солянкой, и, наевшись мяса впросырь (так будто бы едят в Европе) и хватанув рюмку-другую водки и сразу же одурев от нее, начнет громко вещать, размахивая руками, о падении нравов в столице, о разрушении культуры вообще и нашей в частности, о народности современного русского языка, и какая сволочь засела в том-то и в том-то издательстве, сулила, понимаешь, договор и не дала. И все это, повторяю, громко, с остервенением, не замечая, что говорит и что вкушает...

И случалось, ох случалось и с автором этих строк – являлся он домой со зверским поносом по причине того, что ни жить, ни кушать на европейский манер не научен, и жене большого труда стоило привести в порядок своего «корифея», не воздержанного в словах, в питье и в еде...

Бог им теперь судья. Успокоилась и Наталья Федоровна, настрадавшись в одиночестве, и какие думы, какие раскаяния мучали ее бессонными ночами никому не дано узнать. Если и была ее вина перед мужем, она честно, даже чересчур порой истово пыталась ее искупить трудами, приводя в порядок архивы и бумаги покойного, делала, быть может, и с запозданием то, что следовало сделать еще при жизни его, целиком себя посвятив делам и судьбе мужа, не рыская по радиостудиям, не суется по каким-то пустяковым обязанностям, не рвась на части меж делом и никчемным домом, перед родными мужа и своими тоже.

Пусть хотя бы там, где «нет ни печали, ни стонов, ни вздыханья, а жизнь бесконечная», будет им обоим покойно, и земля под ними пусть будет пухом...

Шли годы, и терзала меня несделанная работа, угнетал не выполненный перед покойным другом долг, но я повторял, повторяю и не устану повторять завещанную нам древними мудрость: «Всему свой час...»

И дождался этого «часа», более свободно и, надеюсь, не так поверхностно смог написать об Александре Николаевиче Макарове, хотя и памятую слова Горького о том, что «говорить правду – это искусство сложнеее из всех искусств, ибо в своем «чистом» виде, не связанная с интересами личностей, групп, классов, правда совершенно неудобна для использования обывателя и неприемлема для него».

А это не для обывателя и пишется, а для тех, кто еще в состоянии понять, что любое слово лжи или умалчивания для дружбы и памяти порядочного человека, который сам столько перевидел, пережил и так от нее страдал, что и умер, наверное, по этой причине рано, – унизительно, оскорбительно и не нужно.

Я не раз бывал в Быковке, ездил туда уже и из Вологды, подолгу стоял на подмытом берегу реки, где потоптаны были купавы, вырваны марьины коренья, проложены так и сяк тропы, чернели язвы кострищ; запруды новоселов-бобров были порушены, кипун, где они делали тайные квартиры, более не мутился, ибо высох. Ушли бобры куда-то так же незаметно, как и появились. Может, и перебили их туристы или присосавшиеся к этим местам хваткие пенсионеры. И думал я, стоя возле речки Быковки, о том, что жизнь, как ни разводи руками, движется, многим из тех, кого я называл Александру Николаевичу для будущей книги «Во глубине России»,



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

перевалило за пятьдесят, и жизнь их приближается к последнему рубежу. Большинство из них работают достойно своего таланта, но есть и те, что замельтешили, засуетились или погрязли в сплетнях, пустопорожних спорах и уединились в гордом одиночестве. Многие, увы, многие, не выдержали, по остросовременному определению Юрия Бондарева, «испытания вещами», проще говоря, избарахлились. Есть и такие, которых утомили собственные успехи и достижения, и они изменили самим себе, начали ударяться в моду. Но самое главное и отрадное – появились в России новые таланты, которыми можно и нужно гордиться, поддерживать их: Валентин Распутин, Василий Белов, Вячеслав Шугаев, Виктор Лихоносков, Геннадий Машкин, Дмитрий Балашов, Владимир Крупин, Юрий Черниченко, Владимир Личутин, Николай Никонов, Анатолий Соболев, Петр Краснов, Ольга Фокина, Александр Филиппович, Николай Фотьев, Михаил Голубков, Виктор Потанин, Анатолий Василевский, Василий Юровских, Владимир Карпов, Валентина Ермолова. По-новому свежо засияли таланты Владимира Тендрякова, Федора Абрамова, Виктора Конечного, Юрия Гончарова, Анатолия Калинина, Гавриила Троепольского, Сергея Залыгина, Николая Шундика, Михаила Алексеева, Ивана Акулова, Леонида Решетникова, Бориса Ручьева, Анатолия Жигулина, Михаила Воронежского. Я пишу только о тех, кто жил в ту пору или живет «во глубине России». Увы, и горькие страницы пролистнула наша литература. Не войдя еще в зенит, угасли яркие звезды Василия Шукшина, Сергея Никитина, Алексея Фатьянова, Николая Рубцова, Виктора Курочкина, Алексея Прасолова, Александра Вампилова. Но, как говорится, они-то умерли, но дело их живет. Однако утешения от этого мало, больше горечи и недоумения – отчего, почему в России так повелось, что большие ее таланты часто покидают сей мир в расцвете сил, а то и до того расцвете?

Большое, скорее даже – обширное литхозяйство в литературе нынешней России. Нельзя сказать, чтоб его не замечали и не отмечали, но все это как-то кампаниями, мимоходом, часто парадно и вскользь, а литература эта давно уже нуждается во взгляде и осмыслении пристальном и глубоком, в определении сути ее не сиюминутном – с проглядом вдаль, и не только сути существования, но и дальнейшего развития – куда она идет? Как идет? С чем? И почему? Каковы ее недуги и где ее стрезень, которого надлежит держать? В одиночку, сам по себе каждый периферийный писатель гребется к этому стрезню, иногда достигает его и отдается на волю течения, либо, преодолевая его, выдыхается, но чаще возвращается к берегу, в заводь, и булькается там, в тихой парной водице, себе в удовольствие и людям не в беспокойство.

В нынешней литературе, откровенно говоря, я не вижу человека, которому такая работа была бы по силам.

Здесь мало одного таланта, нужно мужество, нужна самозабвенная любовь к той земле, которая родила всех нас, наградила силой воображения и жадой творчества. Нужен истинный патриот, который бы явился не просто работать или отбывать срок, но мыслить и страдать.

Течет речка, подмывает берега, спрямляет излучины, роняет кусты и деревья, опрядывает и ворочает камни, падает с них, журчит и наговаривает в перекатах и шиверах. Как бы ее ни мучили, ни мучили, ни мучили, ни разбирали на поливку личных огородов я на обливание тел в знойные дни, сколько бы из нее ни пили, сколько бы ни вытаптывали, она справляет свою работу и за ночь успеваешь растащить весь мусор, растереть грязь, унести муть, к утру высветляется до дна, течет и будет течь речка, пока живы родники, ее питающие, а они там гдето, в сумеречных оврагах, в распадках и рассохах, недоступные пока, слава богу, праздно шатающимся, жрущим и орущим существам. Они тихи, те роднички, их голос слышен только привычному уху, но их освежающие струи, пронзая тень земную, вырываются на свет, к нам – людям земли.

С годами общение с природой приносит какие-то другие, более пространственные, что ли, ощущения и мысли. Сидишь вот над речкой, слушаешь и начинаешь верить в вечность, в нескончаемость нашего бытия, и вяжутся на ум чьи-то слова и стихи, допустим, полузабытого поэта Минского, с виду и «на вздох» неуклюжие, неторопливые, написанные явно не в наш космический век скоростей и суеты, но как все-таки подвластны время и расстояние слову. Эти стихи и тронули-то меня своей «современностью», совпадениями с тем, чем в зрелом возрасте утешаешь себя – той сложной, спасительной верой и надеждой в то, что если не мы, то хотя бы дух наш, вера наша в нескончаемость жизни переживут нас. Модные это ныне мысли. Не от добра они – от тревоги за будущее.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
Как сон, пройдут дела и помыслы людей.  
Забудется герой, истлеет мавзолей  
И вместе в общий прах сольются.  
И мудрость, и любовь, и знания, и права.  
Как с аспидной доски ненужные слова,  
Рукой неведомой сотрутся.

И уж не те слова под тою же рукой  
Далеко от земли, застывшей и немой,  
Возникнут вновь загадкой бледной.  
И снова свет блеснет, чтоб стать добычей тьмы,  
И кто-то будет жить не так, как жили мы.  
Но так, как мы, умрет бесследно.

И невозможно нам предвидеть и понять,  
В какие формы Дух оденется опять,  
В каких созданных воплотится.  
Быть может, из всего, что будит в нас любовь,  
На той звезде ничто не повторится вновь...  
Но есть одно, что повторится.

Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном  
Тоска неясная о чем-то неземном,  
Куда-то смутные стремленья,  
Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет  
И жажда жгучая святынь, которых нет,  
Одно лишь это чуждо тленья.

В каких бы образах и где бы среди миров  
Ни вспыхнул мысли свет, как луч среди облаков,  
Какие б существа ни жили,  
Но будут рваться – вдали они подобно нам,  
Из праха своего к несбыточным мечтам,  
Грустя душой, как мы грустили.

И потому не тот бессмертен на земле,  
Кто превзошел других в добре или во зле,  
Кто славы хрупкие скрижали  
Наполнил повестью, бесцельною, как сон,  
Пред кем толпы людей – такой же прах, как он,  
Благоговели иль дрожали,

Но всех бессмертной тот, кому сквозь прах земли,  
Какой-то новый мир мерещится вдали  
Несуществующий и вечный,  
Кто цели неземной так жаждал и страдал,  
Что силой жажды сам мираж себе создал  
Среди пустыни бесконечной.

Течет речка. Жизнь продолжается. Продолжаются добрые и недобрые дела людей.

Я как-то был на Череповецком металлургическом заводе, в цехе, где производят колючую проволоку, и поразился: как ее еще много требуется! Ведь не стали бы ее без надобности делать. Я ощущаю кожей железный нерв с остро заточенными колючками, который денно и нощно течет змеистым потоком на изгородь людей друг от друга. Будем верить, что это ограждение зла во имя сохранения добра, во имя той самой благодной жизни, к которой так стремится человечество и никак не может достичь желаемого?

Течет речка, и в пережатом речном говорке слышится не только лязг колючего железа, но и звон серебра, и чуть картавенький, всегда веселый говор радетеля всего живого, заботника и работника родной литературы, хорошего человека, которых еще не устала рожать российская земля.

Разумеется, я ждал замечаний, или, точнее сказать, – предложений по поводу того,  
Страница 138

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

что вот распространяюсь о таланте критика, о его владении словом, но не привожу ни одного конкретного примера. Я считал, что примерами могут быть сами письма Александра Николаевича, вставленные в рукопись, однако замечания последовали от первых же читателей рукописи, к ним необходимо было прислушаться и «проиллюстрировать» книгу выдержками из работ Макарова, тем более что критику у нас читают очень немногие читатели, чаще всего и знают критиков профессионально заинтересованные в ней, есть даже литераторы, которые не заглядывают в «хвостовую» часть журналов и трату бумаги на публицистику считают бесполезной.

Мне бы хотелось целиком вставить в книгу статью А. Н. Макарова о Чехове, все статьи о Твардовском, Симонове, о военной лирике, цикл статей о так называемом «четвертом поколении» и многое-многое другое, но я неуверен, что и таким способом приучу читать критику тех, кто ее не читал, да и размеры моей книги ограничены. За последние годы во многих центральных издательствах напечатано почти все, что написал Александр Николаевич, и при желании книги его всегда можно прочесть. Я лишь воспользуюсь случаем и пролистну «заметки» критика и приведу, как мне кажется, наиболее характерные для стиля и формы их автора кусочки и некоторые мысли, выраженные посредством слова.

«Мне, как критику, просто иногда кажется странным, что мы тратим уйму сил на выяснение того, как точнее и лучше назвать то, что было сто лет назад, и прилагаем слишком мало усилий к тому, чтобы исследовать живую литературу, если термин «революционно-демократический реализм» правомочен, то правомочен и «либерально-дворянский реализм» и «мелкобуржуазный реализм» и т. д., и в конце концов окажется, что наиболее крупные художники вообще окажутся за пределами какого-либо из реализмов, или для них придется придумывать специальные термины...» (Как в воду глядел покойный критик! Уже после его смерти возникло на свет и доползает до нового десятилетия наименование целого направления в нашей литературе – «деревенщики»! Кто следующий? Что следующее? – и далее совершенно все совпадает с развитием нашей критической мысли». – В. А.) «В социалистическом реализме так же можно до одури разглагольствовать не столько о единстве, об определяющих признаках метода, сколько о различии между, например, революционным социалистическим реализмом и бытовым соцреализмом».

И здесь все в точку! В «Литературной газете», вслед за путаной, на тормозах, или точнее – на шелковых вожжах спущенной дискуссии о «деревенской прозе», последовали дискуссии о прозе «быта» и далее ей подобные. Эти дискуссии и статьи, в них явившиеся, – есть самый яркий пример ухода на ту самую «обочину», против которой выступали зачинатели дискуссии, от насущных вопросов развития литературы. В статьях бойко пишут; разбирают и «подвергают» любители словесности и публичных выступлений, лениво, чаще всего вовсе не работающих в литературе или бодро начавших и скоро бросивших хлопотное дело, ибо говорить всегда было и есть легче, чем дело делать.

«Вопросы мастерства, как правило, рассматриваются в отрыве от содержания: всем бы хороша книга о рабочих, только плохой, серый язык. Но ведь если герои говорят серым языком, значит, автор не знает рабочей (народной) среды, и верить тому, что им написано, вряд ли можно. Если он не знает, как говорят, значит, не знает и что думают и как мыслят».

«И радость художника все-таки в создании образа, который становится вдохновляющим образцом и примером. Что бы ни говорили, но это всегда высшая радость. Это создание эстетического идеала, то есть воплощение в образе этих лучших качеств человека своего времени – человека, который посмотрел вперед».

«Нельзя писать о том, что ты вычитал в других книгах. И нельзя научиться понимать, что такое искусство – по учебникам, да еще по нашим и вузовским учебникам, сплошь переполненным цитатами».

«Любые элементы художественной формы – лишь способ наиболее действенного и эмоционального выражения мысли».

«Из года в год мы повторяем, что наше искусство должно стать первоклассным по мастерству и, однако, в течение добрых двадцати лет (Ах, Александр Николаевич! Кабы двадцати! – провинциальной, неряшливой, наскоро сляпанной, «злободневной» литературы не убыло, а прибыло после твоего ухода, и писателей значительно прибыло, скорее даже членом Союза, но «воз и ныне там», если не скатился на полгоры по сравнению с шестидесятыми годами. Литература в массе своей лишь обрела более пробивную ловкость и подражательность ближним «образцам». – В. А.) нет, по существу, никакой практической заботы об этом» Горький не случайно бил все время в эту точку, предчувствуя падение культуры писательского труда. Молодые литераторы плохо знают, да и мало их интересует техника ремесла. И дело не в том, что негде учиться, а в том, что нет убежденности, что таская учеба нужна, что без нее не проживешь, что самые поиски художественного решения составляют необходимый элемент наслаждения творческим процессом».

«...Эстетическое воспитание начинается со школы, и надо обратить серьезное внимание на то, что наши учащиеся выходят из средней школы в большинстве своем, получая на всю жизнь отвращение к русской литературе» и тянутся к литературе западной, которую им, «к счастью», не преподают. Ни радости, ни восхищения творениями русских писателей в учебниках нет. Понятие красоты изгнано из них вообще. Учителя же сами воспитаны в духе этих учебников».

«Надо обратить серьезное внимание на внешкольную систему художественного воспитания. Из программы эстрадных и телевизионных концертов совершенно изгнано художественное чтение (кроме специальных концертов). Эстрадный концерт означает пение, пляска, акробатика, процент которой растет с каждым годом. В лучшем случае вам инсценируют раннего Чехова, редко-редко стыдливо прочтут Маяковского. Но вы нигде не услышите Пушкина, Некрасова и т. д., разве только в юбилейные даты. Вот те и «слово – полководец человеческой силы». Современных же поэтов и прозаиков в концертах вообще не читают, их в лучшем случае поют. А так как на слова Тихонова музыку не пишут, Тихонова у нас куда меньше знают, чем Фатянова. Мы учим молодежь смотреть, а не думать...»

«...Большая советская литература всегда противостояла по духу своему как теории «винтиков», так и изображению трудового коллектива, как аморальной толпы, ради спасения которой происходило явление некоего героя, единым мановением руки налаживающего хозяйство и, кстати, благоустраивающего личные судьбы».

На этом я кончу «иллюстрации» – и по коротеньким выпискам из «заметок», полагаю, видно, как остро, современно мыслил и писал критик Макаров, и чтобы убедиться в том, что слово его, заботы и раздумья не утратили ни глубины, ни злободневности, я снова и снова отсылаю читателей к его книгам, нужным каждому культурному человеку, озабоченному проблемами не только литературными, но и нравственными вопросами развития нашего общества, процессами, происходящими не только внутри литературы, но и в горниле самой жизни.

«Задача, взятая им на себя, была почти непосильной. Конечно, он делал ошибки в конкретных оценках, шел на компромиссы с материалом, считал себя обязанным откликаться на многое такое, что не пережило литературного момента. Но я думаю, что нет и в природе не было критика, который не делал бы таких «ошибок», – это я опять цитировал Льва Аннинского, и не только потому, что статья его блистательно написана, но и потому, что мысли и чувства во многом совпали с мыслями и чувствами критика, высказанными по случаю юбилея, годные не только в литературной, но и житейской повседневности».

Когда рукопись книги «Зрячий посох» была доведена до того, чтобы ее можно было читать не только жене, но и другим «заинтересованным» лицам, я решил попросить прочесть ее Константина Михайловича Симонова: и потому, что в книге он присутствует неоднократно, и потому, что учился вместе с Александром Николаевичем, и потому, что опыт его работы в литературе, в том числе и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

документальной, неизмеримо больше моего. Следовательно, надеяться можно было и на добрые советы, и на поправки каких-либо неточностей, и просто мне давно хотелось встретиться и поговорить с Константином Михайловичем, к которому я со всей душевной симпатией относился еще с фронтовых юношеских лет, и пребывание мое в одном с ним литературном цехе не только не убавило этой симпатии и уважения, но и преумножило их, ибо очень уж большое число писателей, считавшихся даже «значительными», скурвилось на моих глазах или лезут вон из кожи, чтобы поскорей скурвиться. Но потому я и выделил слово «значительные», что уважающий себя, значительный по характеру и дарованию человек, в том числе и писатель, не может скурвиться, сколько бы его ни побуждали к этому обстоятельства и люди.

Я запомнил отчетливо тот год, когда Константина Михайловича неблагородно и неблагодарно вышвырнули из «Нового мира», и он по какому-то поводу, вроде бы опять о войне, выступал по телевидению. До этого мне почти не доводилось видеть его «вживе», кажется, видел у гроба Фадеева, но в отдалении, и не задержался на нем взглядом. Потом в редакции журнала «Знамя». В 1959 году у меня печатали там рассказ, первый! – в толстом журнале. А у Симонова – роман. И вот я сидел на старом, впившемся в зад пружинами кожаном диване, жмясь поближе к обласкавшему меня работнику отдела прозы, милому человеку – Виталию Сергеевичу Уварову, дожидаясь очередных поправок от очень капризной, начисто подавившей меня своим всезнанием и интеллектом редакторши. И в это время возник в редакции маленький переполох – редакция размещалась тогда в Гнездиновском переулке, в тесном, захламленном помещении, и большому переполоху там негде было подняться. Прочастила каблучками какая-то дама, юркнула под лестницу уборщица, распахнул перед кем-то двери лучающийся светозарной улыбкой секретарь журнала Катинов (давно работает он в журнале хорошо усвоил, кому и как улыбаться, а кого и без улыбки встречать), задвигались, закружились какие-то люди с сигаретами и без сигарет, и в этом людском водовороте и дыму вдруг тоже закружилась комочком пены седая-седая голова. У головы оказалось довольно смущенное лицо Симонова. И хотя говорила про меня бабушка: «Приметлив! Ох приметлив, язви его!» – я все же его с трудом узнал, ибо Симонов все еще мне представлялся чернявым, густоволосым, с усами почти гусарскими и с трубкой в зубах – истинный поэт!

В руках у него были цветы – большой букет роз, который он нес, уверенно выставив перед собою, раскланиваясь на ходу, кому-то улыбаясь, и, гортанно вскрикнув что-то Катинову, исчез за дверьми незнакомого мне кабинета.

Впоследствии Александр Николаевич, выслушав всю эту картину в словах и в лицах, разрешая мое недоумение: «Неужто Кожевникову цветы?» – уничижительно усмехнулся:

– Деревня! Кожевникову?! Да если Кожевникову начнут дарить цветы благодарные авторы – он не выберется из вороха цветов. Он задохнется от ароматов. У него будет болеть голова и некогда ему будет сочинять щиты и мечи. Это Людмиле Ивановне! Ей, ей, прелестнице нашей, волок Костя цветы. Много, говоришь? Дорогие? Тогда ей. Маленький букетик она не возьмет и на автора не посмотрит. Ах баловница! Ах баловница! Но и Костя – фрукт! Ах ты Костя, Костя! «Каким ты быв, таким остався!» – передразнил он Симонова. И ко мне: Ну, а вы-то, вы-то что? – и черненькие глазки Александра Николаевича засветились искоркой перевозбужденного любопытства.

– Ну, че я? Я Уварову, Виталию Сергеевичу, говорю со всей непосредственностью озлившегося провинциала, которому терять нечего и в Москве негде жить: «Дак мне че, тоже букет нести?»

«Тебе не надо, – сказал Уваров. – Ты еще молодой, и у тебя денег нету. Вот уж когда роман выдашь – раскошелишься...»

Роман я так до сих пор и не выдал, букеты по редакциям носить не научился. И зря! Есть в редакциях и издательствах люди, которым я последнюю рубаху с тела отдам, кусок хлеба разделю пополам, кровь, сердце, а вот с цветами...

Впрочем, всяк должен делать то, что у него хорошо получается.

Мне кажется, и я убедился в этом впоследствии, что у Константина Михайловича была врожденная способность делать людям приятное, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с обстоятельствами, которые нам часто мешают делать людям добро, товарищески жать друг другу руки.

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

И вот, несколько лет спустя, увидел я Константина Михайловича по телевизору, погасшего, усталого, совсем белоголового, без усов – или телевизор у меня был такой, что не все предметы различались?

Говорил он тихо, как-то особенно проникновенно, печально, и под конец прочел несколько стихов из фронтовых тетрадей. У меня слезы навернулись на глаза, жена, слышу, носом зашмыгала – мы с ней весь вечер проговорили о поэзии Симонова, о том влиянии, которое она на нас оказала в свое время; жена, хотя и была далеко от передовой, тоже помнит по фронту лишь стихи Симонова, Суркова, прозу Шолохова и позднее – «Василия Теркина», до них, работников военного тыла, мало чего доходило, что уж говорить о нас – окопных землеройках? Иногда принесут ворох газет, пыльных, мятых, старых – тут же их курцы расхватывают, порвут.

Лишь в длительной обороне лета сорок четвертого года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали иногда приносить газеты, один раз показали кино. Тогда мы очень зачитывались главами из «Теркина» и, чтобы досталось всем, стали наклеивать газетные вырезки на картонки и передавать их из взвода во взвод.

Когда я, единственный раз, беседовал с Твардовским и сказал ему о картонках, на которые мы наклеивали газетные вырезки, он как-то по-особенному заинтересовался моим сообщением, спросил – не сохранилась ли у меня хоть одна картонка? И когда я развел руками – сам-де едва сохранился, мне показало лось – поэт даже погрузился или огорчился, да и я вместе с ним, что нет у меня с собой такой редкостной, да и вообще никакой окопной реликвии.

Конечно же, фронт, да и передовая – не совсем оторваны от мира, идет передвижение людей туда-сюда: раненые – с передовой, пополнение – на передовую, хотя и худо, но работали рации, хоть совсем никудашные – тянулись к фронту и по фронту провода; хоть и реденькие – добивались до передовой письма, и в них часто песни, стихи, цветочки, карточки. Попав на передовую, песня или стих простыми или сложными путями распространялись по окопам. Так, песню «Бьется в тесной печурке огонь» я сам переписал и в ночное, время целую неделю орал по телефону своим телефонистам, и один, прибывший к нам из какойто особой части солдат, услышав слова: «До смерти четыре шага», сказал: «Ну ее, эту песню! Я и переписывать не буду – еще посадят!»

Командир дивизиона молодой был, щеголеватый (умер 2 января 1981 года в Ленинграде), услышал как-то мое пение, а я, напугавшись, прервался – нельзя ведь пустяками полевой телефон занимать, сказал мне:

– Ну что, что ты? Пой! Хорошая песня, и у тебя получается. – И потом, когда у него случались небольшие офицерские сборища с выпивкой, приказывал: А ну, давай «Землянку»! – И я затягивал, а офицеры подпевали...

Так, с моего голоса, и пошла по нашей части замечательная песня, и я об этом тоже имел удовольствие совсем недавно, во время последнего съезда, рассказать нашему старейшему поэту Алексею Александровичу Суркову. Мне показалось, он выслушал мой рассказ не без душевной приятности.

А тогда вечером, растроганные воспоминаниями, мы с женой надумали было написать письмо Симонову, но, будучи во природе деликатным человеком, жена подсказала мне:

– Пошли-ка ты ему свою книжку и напиши сам.

– Нужна ему книжка какого-то очусовелого автора?

– Нужна не нужна, а ты пошли! Книжка с хорошим картинками, да и письма ты под настрой писать умеешь.

Иногда жен надо слушаться. Я это давно понял. И написал письмо Константину Михайловичу, в котором рассказал о том, как однажды пришел к нам, в почти полностью выбитый взвод, молоденький лейтенант и читал нам его стихи, вроде бы не к поре и не к селу, и не к городу – о любви стихи, а мы как раз жрали недоваренную конину. И все-таки струнулось что-то в наших онемелых душах. Вскоре этот командир тоже погиб, но вот память сохранила и его, и как он читал стихи.

И книжку послал я Симонову, первую «толстую» книжку, изданную в Москве, да еще и

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

с картинками. Ответ, как я уже упоминал в этой книге, не заставил себя ждать. Пришло письмо, обстоятельное, без высокомернопокровительственного тона, письмо старшего товарища по работе, в котором были и ободряющие слова, и замечания о прочитанной книге.

А вот встретиться и поговорить нам удалось лишь однажды. Так уж вбитая в меня наука – не быть навязчивым – действовала и действует до сих пор.

Когда я работал над «Зрячим посохом», один писатель, бывший на юге в Доме творчества, передал мне привет от Симонова и сообщил о том, что ему понравились заключительные главы «Последнего поклона», и он желал мне всяческих успехов. Признаюсь, я не думал, что эта книга «ляжет на сердце» Симонову – очень уж, казалось мне, далека она от его творческого направления, да и жизнь, в ней рассказанная, ему, городскому человеку, должна быть совершенно чужая и неинтересная. Но шло время, и почта приносила письмаотклики на «Поклон», и, как ни странно – больше от людей городских и не только бывших селян, что вполне объяснимо, а от людей, в деревне никогда не живших.

Меж тем работа над «Зрячим посохом» продолжалась. Я давал ее читать друзьям по труду и тем, кто так или иначе в ней заинтересован и «отражен».

Когда рукопись прочла Анкета Александровна, дочь Макарова, и приободрила меня своим к ней добрым отношением, я попросил у нее совета – дать ли рукопись для прочтения Симонову, поскольку о нём в книге кое-что сказано и сказанное нуждается в уточнении, да и знал он Александра Николаевича давно и близко.

– Непременно! – сказала Аннета Александровна. – Он, думаю, обрадуется этой книге. Вот только слышала – тяжело болен Константин Михайлович.

В тот же приезд в Москву, буквально через несколько дней после разговора с Аннетой Александровной, по приглашению моего любимого артиста Михаила Александровича Ульянова, был я в театре им. Вахтангова на премьере «Степана Разина» – и увидел там Симонова. Он сидел чуть впереди меня, справа, в теплой рубашке и надетой на нее меховой безрукавке. Тяжкий кашель давил его весь спектакль, и, сдерживая кашель, он часто доставал из кармана широкогорлую коричневую склянку и сплевывал в нее мокроту, умело подтирая губы горлышком склянки.

Пневмония! Знакомая мне болезнь, которая хуже тихой и злой тещи. Не знаю, мой ли пристальный взгляд или что другое заставило Константина Михайловича обернуться, и я увидел впалое, землистое лицо, худую шею с туго натянутыми от трудного дыхания жилами, усталые глаза в темном, почти угольном обводе, с как бы прилипшей к ним пленкой загустелых слез.

Я какое-то время ничего не мог различить на сцене – слишком много дорогого и светлого связано у нашего поколения с этим писателем, слишком он был нам необходим и привычен, и привычен молодым, деятельным, романтичным, удачливым, у всех и всегда на виду.

Он не создавал себе такого «портрета» – это время и мы, читатели, создали его – и у меня разбитый болезнью, худющий, усталый человек вызвал не столько чувство горести, сколько растерянности, сознания и собственной уже изработанности, немощей, прошедшей молодости. Ведь часто в других жалеешь утраченного себя – и это единственный эгоизм, который можно оправдать в нас людях.

«До рукописи ли ему?» – махнул я рукой, но вот повидаться мне с Константином Михайловичем захотелось – наитие, что ли, сработало? – можно и не увидеть, не успеть – не хочу об этом судить задним числом.

При еще одной встрече Аннета Александровна спросила, послал ли я рукопись Симонову, и сообщила, что разговаривала с ним по телефону, что он очень тепло отозвался обо мне и рад был, что именно я решил нависать книгу о Макарове.

Я написал коротенькое письмо Симонову и скоро получил ответ с разрешением прислать рукопись.

Прочел он ее очень быстро, как потом сказал, «за одну ночь», и попросил меня побывать у него и поговорить о будущей книге. «А поговорить есть о чем», –

добавил он в письме.

Опыта работы в документальной прозе у меня почти нет, с воспоминаниями, да еще такого вот литературного порядка, я и вовсе не имел дела, и потому робел, собираясь к Симонову.

Позвонил ему от друга, слышу – кашляет беспрерывно, хрипит даже, и я сказал, что, может, не надо? Может, потом?

– Нет-нет! Немедленно приходите, а то я скоро уеду и многое забудется, надо поговорить сейчас, по горячим следам..

Он был совсем болен, выглядел еще хуже, чем в театре, но при моем появлении поднялся, вышел в коридор, видимо, чтобы приободрить меня и как-то оградить от укорных взглядов близких своих, ведь ночью, как выяснилось, была неотложка и совсем недавно сестра сделала укол – простудился в довершение ко всему, а простудиться-то, получить обострение хроническому пневмонику – раз плюнуть: спина все время сырая, дунет в дверь или в форточку – и готов.

Я чувствовал себя скованно и неловко.

– Да не переживайте вы, – махнул он худой и слабой в кисти рукой. – Вы что думаете, лежать вот тут, на диване и смотреть в потолок – легче, что ли? Правда, я пробовал читать. Вы «Сашку» Кондратьева читали, с моим предисловием?

Я сказал, что читал и что повесть мне понравилась, и Симонов, откашлявшись и отдышавшись, сказал, что как раз Кондратьева новую вещь и читал и она ему кажется слабее «Сашки», а автор ждет звонка, и он никак не решится, не может – всегда не хочется огорчать людей.

– Хвалить лучше и легче, что бы там ни говорили, – через силу улыбнувшись, заключил он.

Заговорив о литературе, Константин Михайлович оживился, и мы с ним повспоминали военное время, он мне упомянул про бои под Могилевом, и я ему сказал» что мир очень кругл я узок, и что, прочитавши в его дневниках о самолете-кукурузнике, сидящем на крыше, вспомнил и место, и городок – это было на окраине городка Зборова, на Львовшине, ныне по новому административному делению отошедшему в Тернопольскую область.

– Да что вы говорите?! Н-ну, знаете!.. – рассмеялся и закашлялся Константин Михайлович. – Вот и еще одна страничка войны разгадана!

– Я был молод, – говорю, – по бабушкиному заключению, «приметлив», да и стояли мы в Зборове несколько дней. А вы небось промелькнули на корреспондентской машине?!

– Да уж помелькал, поездил, полетал! – протяжно вздохнул Константин Михайлович. – Чаю, водки, Виктор Петрович?

– Какая уж нам, пневмоникам, водка? – отмахнулся я. – Спина вон и без нее мокра...

– Тоже, значит? Не запускайте эту проклятую болезнь. Вымотает. Вот, говорят, и Шукшина она доконала.

– Да, будто с нее началось...

Принесли чаю, крепкого, горячего, и под чаек мы с Константином Михайловичем о многом переговорили. Я знал об его истовой работоспособности, посетовал на себя, разбросанного, работающего лихорадочно, наскоками.

– А как вырываете вы время для такого объема работы, чтения, служб? поинтересовался я и тут же с восхищением отозвался о его телевизионной работе «Шел солдат» и даже сказал растроганно: – Если б не были вы так худы, обнял бы я вас от имени всех нас – солдат живых и погибших, да боюсь – задавлю.

Он очень засмутился, покашлял, спрятал свою склянку и сказал, что в пятницу, субботу и воскресенье всегда уезжает на дачу – и уж эти дни его, уж тут он



Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru  
работает с упоением, работает и старается никого к себе не пускать.

«Стараюсь», – сказал он, но тут же, узнавши, что я собираюсь писать роман о войне, о быте войны, о солдатах, об окопной жизни – если это можно назвать жизнью, пригласил меня обязательно побывать у него в Пахре, на даче, пожить там и посмотреть, вернее, просмотреть богатейшую его фототеку.

– Вы знаете, – сообщил он, – я всю войну снимал и собирал фото: на дорогах, в окопах, в заброшенных избах, маленькие, большие, с документов, парадные, семейные, и ох как вам необходимо это все посмотреть. Уверен очень и очень – вам поможет моя фототека в работе. Приезжайте в любое время. Я вам дам ключ, садитесь и действуйте. Вот я съезжу в Крым, подлечусь, поработаю...

Я робко возразил – не надо бы в Крым-то. Два раза я там был и оба раза дело оборачивалось обострениями.

– Да вот знаете, в Гурзуфе, такое удобное место для работы, в военном санатории...

Я сказал, что сушиться нашему брату-пневмоннику, наверное, следует все же в сухом месте, где-нибудь в Туркмении или в Таджикистане.

– Или вот, – вспомнил я, – в Узбекистане. Вы же его обжили, перевели на русский...

– Да, обжил, – согласился он, – наверное, туда и поеду, когда-нибудь. Но сейчас вот собрались уж... И нравится мне в Гурзуфе. Да, секретарша моя принесет вам все, что я успел сказать о вашей рукописи. Извините, что на диктофон – но так скорее, да и руки у меня что-то дрожат последнее время. Мы с вами потом обязательно еще встретимся. Вот я подлечусь, отдышусь – и поговорим, непременно поговорим. Нам есть о чем поговорить, и не только по рукописи, нам говорить и не переговорить о войне. Беритесь. Пишите. Мы, газетчики, уже «свою» войну написали. Вы правы – по количеству написанного выходит, что мы – главная ударная сила были на войне... – Он опять слабо махнул рукой, закашлялся и долго, мучительно хрипел.

Я поднялся.

– Все-таки мне надо уходить, Константин Михайлович. Я и так злоупотребил вашим вниманием и гостеприимством.

– Да что вы там такое... говорите... Господь с вами! – с перерывом произнес Константин Михайлович. Но он очень утомился и сам, верно, почувствовал это, надписал мне на память несколько книжек, в том числе особенно мне дорогую как бывшему окопнику – «Шел солдат», и мы стали прощаться. В коридоре, подав мне руку, Константин Михайлович слабо коснулся щекой моей щеки, и меня чуть уколола редкая щетина.

«Симонов – и не бритый! Да что же это такое?» – на глаза навернулись слезы.

Я поклонился всем домашним и вышел, осторожно притворив дверь.

Более Константина Михайловича я не видел, ни живым, ни мертвым. Звонил ему еще раз и по стонущему голосу понял – в Крыму ему стало хуже и разговаривает он со мною лежа.

А потом раздался, уже в Вологду, телефонный междугородный звонок, и Константин Михайлович сообщил, что звонит из больницы, что тут его хорошо подлечили, что он работает, непременно хочет со мной встретиться, показать фототеку. И я решил, как он выпишется из больницы, отдохнет маленько, одолеет писательскую текучку, сразу же и поеду к нему, хоть на недельку.

Но вскорости прилетел, приехал ли откуда-то, и прямо у дверей жена моя, Мария Семеновна, дрожа голосом и утирая слезы, сообщила:

– Ты знаешь, беда-то какая!.. Константин Михайлович скончался.

Вот и все, что я вспомнил и смог вспомнить и написать о человеке и писателе, к которому всю жизнь привязан как читатель, уважал его как гражданина, воина и труженика, такого, каких, к сожалению, ныне очень мало в нашей литературе, вялой от лени и самодовольства.

А все, что успел надиктовать Константин Михайлович о рукописи «Зрячий посох», всего за несколько часов до отхода поезда в Крым, будучи совершенно больным, разбитым – пусть станет послесловием к этой книге, и уроком нам, в сущности, физически здоровым людям, частенько проживающим часы и дни в пустопорожней суете, болтовне и прекраснотушии.

И еще несколько строк, подтверждающих его постоянное, какое-то неудержимострастное стремление помогать людям, и не только литераторам, а всем-всем, кто встречался на его непростом жизненном пути, в особенности тем, с кем он воевал.

Мысль моя, родившаяся после чтения дневника Константина Михайловича и личной встречи с ним, мысль летучая, мимоходная, о том, что он, как и все мы – фронтовики, чувствовал вину перед погибшими и рано потерянными друзьями, получила неожиданное подтверждение. После того как отрывок о встрече с Симоновым был напечатан в «Советской культуре», мне пришло из Москвы письмо от Карины Савельевой, в девичестве – Трошкиной, первой, кстати, когда-то откликнувшейся на мой «Звездопад» в газете «Литературная жизнь».

«Вчера мама дала мне газету с Вашими воспоминаниями о Симонове. Велела прочесть, сохранить: она будет беречь вырезку. Дело в том, что с Константином Михайловичем нас связывает давняя, очень давняя близость. Вместе с моим отцом, фотокорреспондентом газеты «Известия» Павлом Трошкиным, он воевал на Халхин-Голе и несколько лет в Отечественную. Он писал, папа снимал. Они дружили, и я с детства помню его в нашем доме. Когда в 1944 году папа погиб под Станиславом (он похоронен на холме Славы во Львове), первым поддержал маму Константин Михайлович. И с тех далеких времен никогда не забывал нас. Более чуткого товарища у нас не было. Брат потом часто с Симоновым работал по линии документального кино (он режиссер), и не раз он приезжал к нам, рылись в папиных архивах, подбирали снимки для его книг. О папе он писал часто и много. Может быть. Вы читали в последней книге «В разные дни войны» – там почти целая глава посвящена. Константин Михайлович любил отца и был верен памяти его всю жизнь. А со мной он собирался готовить альбом о Халхин-Голе. У меня много еще не разобранных снимков, несколько десятков (в негативах). Он хотел написать предисловие и договориться с издательством. Я все ждала, когда он немного разгрузится, и не беспокоила зря. А все так быстро и трагически кончилось. Для нас это было потерей родного человека. Он был для нас продолжением отца в жизни, с ним он и умирал».

Константин Симонов

Москва

В. П. Астафьеву

Дорогой Виктор Петрович!

Очень жаль, что обстоятельства у нас обоих складываются так в обрез. Попробую надиктовать, чтобы не ушло из памяти, хотя бы часть пришедшего в голову в связи с Вашим «Зрячим посохом». Только часть – всего заведомо не успею.

Простите за такую вынужденную, странноватую форму переписки. Сейчас сяду за диктофон – не судите строго эту направленную запись.

18. 5. 79 года

Ваш Константин Симонов.

Дорогой Виктор Петрович!

Продолжаю диктовать начатое от руки. Простите за небрежности, потому что из-за отъезда не смогу уже этого прочесть и поправить.

Буду писать разрозненно, пометок я, так же, как и выписок, читая рукопись, не делал. Сейчас жалею, но виною тому было увлечение рукописью.

Начну с самого Александра Николаевича. Ваши отношения с ним были намного короче, чем мои. Вы с годами стали друзьями с ним – в истинном смысле, самом серьезном смысле этого слова, а я остался его товарищем по Лит. институту, знавшим его, ценившим и стремившимся в связи с разными своими литературными должностями по возможности делать ему хорошее, а не худое, в меру моих сил. Вот и все, пожалуй. Поэтому Вы знаете о нем бесконечно больше вглубь, чем я, но может быть, длительность моего знакомства с Александром Николаевичем и некоторые, связанные с этим, соображения будут Вам не бесполезны.

Познакомился я с ним в 1934 году, когда был второй набор в вечерний рабочий литературный университет, ставший впоследствии Лит. институтом. Отделение было тогда только вечернее, так что почти все работали.

Помнится, что Саша Макаров пришел в институт не только как критик, но и как поэт, во всяком случае – не то он посещал одновременно и критический, и поэтический семинары, но поэтический, наш семинар он довольно долго посещал, во всяком случае какие-то месяцы на протяжении первого года.

Руководителем нашего семинара в ту пору был Илья Докор, по профессии своей основной – врач-психиатр, и в то же время критик, очень любивший поэзию и, на мой взгляд лично, неплохо разбиравшийся в ней. Во всяком случае, он сумел создать у нас атмосферу искренности и нелицеприятного говорения правды друг другу в глаза, а это одно уже было очень важно. Стихи, на мой тогдашний вкус и мои тогдашние представления, у Макарова были слабые, подражательные, нежные, есенинские – не вообще есенинские, а именно – нежные есенинские, мне кажется, что ему был близок нежный Есенин, более ранний, более искренний и не надрывно деревенский. Стихи Саша Макаров показывал, помнится, обсуждали его стихи на одном из семинаров, особого одобрения они не заслужили, но к своему неуспеху он отнесся с какой-то мягкой иронией, как человек, сам хорошо понимавший, что его дело – не эти стихи, а что-то другое.

У меня совершенно стерлось в памяти, когда он перешел на критическое отделение, народу у нас было очень много на первом и на втором курсе, отсеивание началось позже, и Макаров был замечен в институте не как поэт и не как критик, – я, например, не помню, печатал ли он тогда свои критические статьи или не печатал, во всяком случае, ни одна из них мне с того времени не запомнилась, – а вот ум его в разговорах – запомнился: его тонкие суждения, умные, деликатные, но и твердые в основе своих оценок, о чужих стихах, в том числе о моих стихах того времени – мне запомнились. Вообще мы знали, что самый умный у нас человек на первых двух и на последующих курсах, когда начались последующие курсы, – это Саша Макаров. Были более правильные, более голосистые, заметные, но он был, самый умный и самый много знавший. К тому времени он, по сравнению со мной, например, – не берусь судить-говорить о своих товарищах – знал необыкновенно много, и читал чрезвычайно широко.

Был он одно время секретарем нашего комсомольского комитета. Делал он это дело по-деловому, а в то же время с какой-то мягкой улыбкой, с пониманием человеческой слабости и в то же время – с верой в то, что ребята его не подведут – что и оправдывалось в большинстве случаев.

Лично я за четыре года занятий в Литинституте приучился ценить мнение Макарова о своих стихах, которому они чаще не нравились, особенно в первый период, а потом нравились больше, может быть, отчасти потому, что он увидел мое упорство и работоспособность и как-то переменял отношение ко мне на более серьезное, чем сначала. Не столько ценил стихи – еще очень плохие, сколько серьезность моих намерений на будущее.

Но гораздо чаще я, так же, как, наверное, и большинство моих товарищей других, разговаривал с Сашей Макаровым не о собственных стихах, а вообще – о всяких тогдашних литературных проблемах, о его оценках того или другого произведения, поэта, события, – в сущности, он в оценках своих был решителен при всей своей мягкости. Эта мягкость еще дополнительно смягчалась юмором, но решительность при этом не исчезала.

Казалось мне, если говорить в личном плане, что есть в нем какая-то надорванная струнка. Понять ее я не мог, но чувствовал: что-то было в жизни не так, как хотелось, или страдал от того, о чем не мог говорить. И думаю, что это не

Астафьев Виктор Зрячий посох stafevvictor.ru

сводилось только к личному, а может быть, и вовсе не сводилось к личному, просто опиралось на личный опыт, а надрыв был связан с чем-то более существенным, с каким-то душевным разочарованием – не в каком-то одном человеке, а в чем-то таком, что происходило в жизни. Боюсь, что я не очень ясно выражаюсь, но именно так это вспоминается.

В личном же плане, сугубо личном, в конце наших занятий в Литинституте мы привыкли видеть Сашку с худенькой сутулой девушкой, легкой и болезненной, знали, что она болеет туберкулезом, это – Наташа Перинго, на которой Саша женился. Когда именно женился – не помню. Помню, что ходить начал с нею где-то во вторую половину своих занятий в университете. Потом обстоятельства жизни раскидали нас в разные стороны: я пошел учиться в аспирантуру, проучившись год, попал на Халхин-Гол, потом на курсы при Военно-политической академии; Саша попал, помнится, на действительную, а в войну я его встретил в Москве, уже в военно-морской форме – где-то зимой, наверное, сорок первого сорок второго года, может, чуть позже, секретарем журнала «Краснофлотец», так, кажется, если не путаю.

В войну мы почти не встречались – не то, чтобы было какое-то отталкивание друг от друга, а просто занимались разными делами, и пути редко сходились.

После войны Макарова-критика очень поддержал Фадеев. Поддерживал сразу, с сорок шестого года, когда пришел вновь руководить Союзом, а может быть, еще раньше – но этого я не помню, а тут я помню: удивлялся и даже сердился, если выяснялось, что мы не читали статьи Макарова, тыкал носом в эти статьи. Словом, в тот период относился к Саше очень и очень хорошо. Так это виделось мне. С этой точки зрения, в частности, один из эпизодов, приведенных Вами в письмах Макарова, кажется мне плодом частичного недоразумения: не мог Фадеев по его натуре и по отношению к Макарову, вот так его несколько часов выдерживать в машине где-то подле своей дачи, было это не в характере Фадеева. Может быть, тут сыграла роль щепетильность самого Александра Николаевича, а скорее всего – собачий характер Ермилова, который мог просто напросто не сказать, что у него человек сидит в машине, или сказать это только под конец. Не знаю, может, я несправедлив к Ермилову, но я считаю его одним из самых дурных людей, которых я встречал где бы то ни было – не только в литературе, но и вообще в жизни. Дурных по-дурному, по-злему талантливых и готовых на все. Студенты Лит. института написали на заборе его дачи, где красовалась надпись: «Осторожно, здесь злая собака», между словами «злая» и «собака» – еще слово – «беспринципная», «злая и беспринципная». Это было близко к истине. Я-то лично никогда не миг простить Ермилову того, как он, буквально как цепная собака, бросился на первый после войны, напечатанный в первом, выпущенном мною, как редактором, номере «Нового мира» рассказ Андрея Платонова «Возвращение» – кинулся на него с остервенением, целую полосу – и во многом предопределил этим последующую судьбу Платонова, которая, может быть, могла быть и другой после войны и его работы в «Красной звезде».

Это я уклонился как будто в сторону, но, в сущности, не совсем, потому что Макарову было не место в «Литгазете» рядом с Ермиловым, он был редактором раздела «Литература и искусство», но Ермилов имел своих подручных, через которых делал то, что хотел делать. А так как Макаров оставался редактором раздела, то это как бы покрывалось его честным именем. И из-за такого положения, продолжавшегося несколько лет, работа для Саши в «Литературной газете» стала тягостной, и когда я пришел в нее, я почувствовал, что люди там, внутри газеты – потеряли к нему уважение, как к человеку хорошему, но неспособному отстаивать свое мнение в газете, настоять на своем, как к человеку, помимо которого и прикрывшись которым Ермилов ведет свою политику, иногда грязную политику в «Литературной газете».

Не знаю, может быть, я поступил неправильно, но тогда мне казалось, что я делаю верно. Поговорив с Сашей по душам, я посоветовал пойти ему работать в другое место, в журнал, и в меру своих сил помог ему перейти в «Знамя». А «Литературную газету» очистил от некоторых, особенно ретивых сателлитов Ермилова, позаботившись, разумеется, чтобы они не остались вообще без работы, чтобы получили работу в других местах – время-то было не из тех, когда легко было найти работу. Но кулачок этот, созданный Ермиловым, я раскассировал.

Насчет личных дел Александра Николаевича я кое-что знал – не столько от него, сколько помимо него, от общих друзей, жаловаться он не любил, а был я у него раз или два, и быть там меня не тянуло, предпочтительнее было видеть его одного, а

не там.

Начиная с работы в «Знамени», он как-то в наибольшей мере нашел себя как критик и деятель литературы. Статьи его становились все решительнее, захватывали все более серьезный и новый для многих круг явлений – впрочем, что я Вам пишу, когда об этом так хорошо сказано у Вас.

Думаю, что назвав свою вещь «Зрячий посох», Вы, в сущности, дали ей двойное название: в чем-то критик Макаров был посохом нескольких хороших, многое определивших с годами в нашей литературе писателей. В чем-то они сделались посохом в его жизни, он на них оперся в своих жизненных взглядах, в своих жизненных утверждениях, в какой-то крепости, которой ему не хватало, почувствовал плечо, средю дорогих ему и важных в литературе людей, а шире говоря – и в жизни.

Ваше повествование – повторяю то, что уже говорил, – обещает стать замечательной книгой, единственной в своем роде – об этом двойном посохе. В этом, между прочим, ее дополнительный секрет.

Вот мы обращаемся назад, в XIX век, говорим, там – Белинский или Чернышевский, или называем другие имена – все так. А о том, что это были посохи двойные, и в этом их двойном значении состояла сила литературы, как-то иногда забываем.

Кое-что оставляю для личного разговора все-таки, но на это время еще будет. Посмотрите, пожалуйста, те места, где Александр Николаевич резко, вернее, без огибания углов, говорит о некоторых людях, ныне продолжающих присутствовать в литературе. Думаю, что при решении вопроса смягчить сие...» (Конец пленки.)

Книгу эту мне почему-то хочется закончить словами летописца Игумена Сильвестра, собравшего и написавшего «Повесть временных лет»: «А кто читает книгу сию – помяни меня».

И не столько меня – автора – помяни, но прежде всего тех, кого нет уже с нами и кто достоин наших добрых слез, светлых воспоминаний и неугасимой памяти.

1978–1982

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!